

Юрий Колкер

ЭПИСТОЛЯРНЯ
ВОКРУГ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПИСЕМ
том первый

UROBOROS
LONDOB
2026

Книга Юрия Колкера — род автобиографии, построенной на его переписке с литераторами, редакциями, издательствами, друзьями и знакомыми. Каждой группе писем предпослано предисловие, объясняющее обстоятельства, при которых она возникла, и воссоздающее атмосферу времени её возникновения. Книга охватывает годы с 1972-го по 1997-й.

ISBN

Текст и оформление © Юрий Колкер, 2026
Фотографическая панорама Невы © Tanya Kostina, 2000

1. ЖУРНАЛ *ЮНОСТЬ*

В 1971 году я начал рассылать мои стихи по редакциям советских более-или-менее литературных журналов, каковых на всю страну имелось меньше полусотни. На дворе стояла безрассветная и бездыханная брежневская ночь, в человеческом море вокруг — мёртвый штиль, но мне было 25 лет, я был полон сил, писал много — и надеялся выжить. Почему выжить значило пробиться в печать, этот вопрос отлагаем. Не верю в добросовестность тех, кто его ставит. Человек, не затронутый магией гутенбергова пресса, — не писатель.

Два-три раза в месяц я садился за пишущую машинку, выбирал один из 46 журналов моего списка — «от Москвы до самых до окраин» — и наשלёпывал стандартное письмо: «Уважаемая редакция! Посылаю вам несколько новых стихотворений. Буду признателен, если вы напечатаете их на страницах вашего журнала. Всего доброго. Ю. Колкер». Мой девиз был: вода камень точит. Система дряхла. Правая рука не знает, что делает левая. Сбои неизбежны — и я пробуюсь.

Отчасти — при всей серьёзности и насущности моих намерений — это была игра, весёлая игра. В 25 лет человек может быть весел и в пустыне. Писалось мне легко, звуки переполняли меня, в классики я не лез, — вот и верил, что «перешibu их», при моей-то плодовитости, при моём весёлом нраве. Получив хамский отказ из какого-нибудь никогда мною не виданного зауральского журнала, я опять садился за машинку. Следующее письмо тоже было стандартным: «Уважаемая редакция! Благодарю вас за доброжелательный отзыв о моей работе. Посылаю несколько новых стихотворений...» И система-таки дала сбой: в 1972 году меня начали печатать.

Так строились и мои отношения с московским журналом *Юность*, в ту пору весьма престижным. Но я быстро выросл, неудачи копились, моё общественное положение всё рельефнее обрисовывалось, всё больше налагало на меня ответственности — и в 1972 году моё веселье было уже не прежней пробы, а в 1973 году оно постепенно сменяется раздражением и просто бешенством. Свидетельство этой перемены — два моих последних письма в *Юность*, одно из которых было направлено не кому-нибудь, а боярину советской литературы, главному редактору *Юности* Борису Полевому, теперь прочно забытому.

Не странно ли? Зачем было мне писать человеку столь явно чужому, в стихах смыслившему ещё меньше, чем в прозе, выражавшему самую суть режима, мною презираемого? Почему я отступил от моего принципа не брать *их* всерьёз, не портить себе нервов? А вот почему: я доверился совету доброжелателя. Написать Полевому меня надоумил некто В. В. Афанасьев, некоторое время носившийся с моими стихами, редактор из ... — странно вымолвить! — из *Молодой гвардии*, московского антисемитского издательства. Афанасьев сам нашёл меня и отличил в сонме ленинградских сочинителей, пробивал мои стихи в Москве (и в одном случае даже пробил), а в частных доверительных письмах называл меня сложившимся мастером. На лесть я не клюнул; но в искренность Афанасьева поверил и советам его последовал (кроме Полевого написал ещё в поисках поддержки Межирову и Антокольскому, тоже впустую).

— Дозированный конформизм, — говорил я себе, — в обществе неизбежен; последовательному нонконформисту место в тюрьме.

По поводу *Юности* Афанасьев писал мне 4 апреля 1973 года: «О Злотникове [из отдела поэзии журнала] скажу Вам — не питайте больших надежд, его вежливость далеко не обязательна. Пошлите лучше стихи (побольше) на квартиру гл. ред. "Юности" [то есть Полевому] с самым красноречивым письмом. Такие посылки иногда дают плоды...»

Видно, моё письмо вышло не достаточно красноречивым. Зато уж полученный мною ответ красноречив. Написан он, естественно, не самим боярином. В ту пору я полагал, что его автор — Натан Злотников. Теперь допускаю, что правильнее сказать: «слова народные». Литературных чиновников, на зарплате и на подхвате, кормилось при *Юности* предостаточно.

Что до *Молодой гвардии*, то могут спросить: зачем этим антисемитам потребовался еврей, да ещё из Ленинграда? Для советской литературной Москвы не было худших характеристик, чем эти две. Не подозреваю в дурном Афанасьева, верю, что антисемитом он (в ту пору) не был, наоборот, думаю, что как раз в этом своём качестве честного человека он и пришёлся кстати молодогвардейцам типа Кожинова и Куняева, на словах всегда усиленно доказывавшим, что они не антисемиты. У каждого антисемита есть в друзьях свой домашний еврей. Должно быть, именно такую роль зонтика начальство *Молодой гвардии* мне и предназначало.

Всего у меня сохранилось девять писем из переписки с *Юностью*:

пять оттуда и четыре туда. Это любопытные документы эпохи. Их оригиналы — в петербургском архиве ЦГАЛИ и в Hoover Institution Archives.

ЮНОСТЬ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Москва, ул. Воровского, 52

18 августа 1972 г.

[Юрию Колкеру

Гражданский проспект д. 9 кв. 20

Ленинград 194220]



Уважаемый тов. Колкер!

Мы вынуждены возвратить Вам стихи, которые были одобрены отделом поэзии и оставлены в портфеле журнала.

К сожалению, наша надежда использовать их не оправдалась. Не огорчайтесь. Мы предполагаем продолжать наше общение и надеемся, что судьба новой Вашей подборки будет благоприятнее.

С уважением

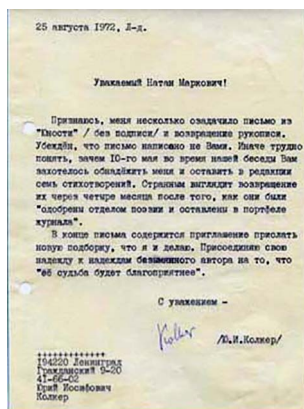
[подпись отсутствует]

Отдел поэзии

Н. М. Злотникову
журнал Юность
ул. Воровского 52
Москва
25 августа 1972, Л-д

Уважаемый Натан Маркович!

Признаюсь, меня несколько озадачило письмо из «Юности» (без подписи) и возвращение рукописи. Убеждён, что письмо написано не Вами. Иначе трудно понять, зачем



10-го мая [1972 года] во время нашей беседы Вам захотелось обнадёжить меня и оставить в редакции семь стихотворений. Станным выглядит возвращение их через четыре месяца после того, как они были «одобрены отделом поэзии и оставлены в портфеле журнала».

В конце письма содержится приглашение прислать новую подборку, что я и делаю. Присоединяю свою надежду к надеждам безымянного автора на то, что «её судьба будет благоприятнее».

С уважением —

Ю. Колкер

194220 Ленинград

Гражданский 9-20

41-66-02

Юрий Иосифович Колкер

5 сентября 1972 г.

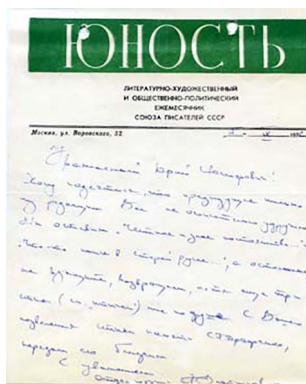
Уважаемый Юрий Иосифович!

Хочу надеяться, что предыдущее письмо из редакции Вас не окончательно удручило. Мы оставили «Честное и злое постоянство», «Что-то нынче в Старой Руссе...» [безошибочный выбор! оба опуса — ремесленные поделки, написанные специально для советской печати], а остальные, не взыщите, возвращаем, хотя ещё три стих. (см. «птички»)

мне по душе. С Вашего позволения стихи памяти С. П. Дрофенко передаю его близким [одно из двух стихотворений памяти Дрофенко, «Мой напев оттого и аляпист», вошло в 1985 году в мою книгу *Послесловие*, напечатанную в Иерусалиме].

С уважением

Отдел поэзии



Н. Злотников

21 апреля 1973 г.

Уважаемый Юрий Иосифович!

К сожалению, из этих стихов ничего для публикации отобрать не смогли. Простите, что стихи возвращаем, а не следуем Вашей просьбе.

Всего Вам хорошего.

Л. Латынин



После этого письма я и решил последовать совету В. В. Афанасьева и написать главному редактору *Юности* Борису Полевому.

[Борису Полевому]

31 августа 1973, Ленинград

Глубокоуважаемый Борис Николаевич!

Решаюсь побеспокоить Вас вот по какому поводу. Моя рукопись — несколько одобренных Н. М. Злотниковым стихотворений — дожидается публикации с марта 1971 г. Имея в виду всякого рода редакционные сложности, обилие авторов и лестницу предпочтений, я всё же недоумеваю, каким образом ожидание могло затянуться на два с половиной года. При всём том в ответ на мои деликатные напоминания приходят уверения в моём высоком профессионализме и доброжелательном отношении к моей работе. С момента принятия моей рукописи «Юность» опубликовала 18.000 строк стихов; трудно понять, каким образом в этой лавине в восемнадцать тысяч строк не нашлось места для коротенькой публикации в 40-60 строк, которые освидетельствованы как профессиональные.



Моя решимость обратиться к Вам через голову Златникова продиктована полной безвыходностью — это решимость отчаяния. Вам, без сомнения, известно, каково теперь приходится молодым авторам. В Ленинграде книга молодого поэта может пролежать в издательстве с положительными рецензиями десять лет и более. Это и моя судьба. Публикуюсь я редко; публикация, хотя бы и небольшая, в «Юности» могла бы сильно укрепить мои позиции в издательствах. Посылаю Вам на рассмотрение несколько своих стихотворений в полной уверенности, что Ваш приговор будет окончательным. Если Вы найдёте, что я дилетант или что предлагаемые стихи ниже уровня публикуемых в «Юности», мне нечего будет возразить. Конечно, даже и в этом случае я горячо заинтересован в Вашей критике.

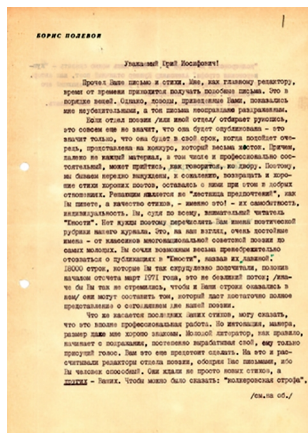
Как бы ни сложились мои дела на этот раз, Вашим должником остаётся

Ю. Колкер

194219 Ленинград

Смирнова 20-1-46

Юрий Иосифович Колкер



[Оттиснуто типографским способом:]
БОРИС ПОЛЕВОЙ

Уважаемый Юрий Иосифович!

Прочёл Ваше письмо и стихи. Мне, как главному редактору, время от времени приходится получать подобные письма. Это в порядке вещей. Однако, доводы, приведённые Вами, показались мне неубедительными, а тон письма неоправданно раздражённым.

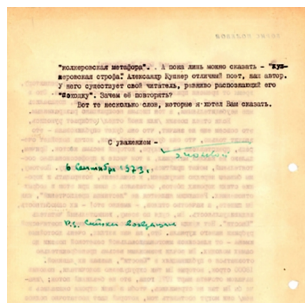
Если отдел поэзии (или иной отдел) отбирает рукопись, это совсем ещё не значит, что она будет опубликована — это значит только, что она будет в свой срок, когда подойдёт очередь, представлена на конкурс, который весьма

жесток [было: *жесток*; исправлено от руки].

Причём, далеко не каждый материал, в том числе и профессионально состоятельный, может прийтись, как говорится, ко двору. Поэтому, мы бываем нередко вынуждены, к сожалению, возвращать и хорошие стихи хороших поэтов, оставаясь с ними при этом в добрых отношениях. Решающим является не «лестница предпочтений», как Вы пишете, а качество стихов, — именно это! — их самобытность, индивидуальность. Вы, судя по всему, внимательный читатель «Юности» [здесь классик ошибся]. Нет нужды поэтому перечислять Вам имена поэтической рубрики нашего журнала. Это, на наш взгляд, очень достойные имена — от классиков многонациональной советской поэзии до самых молодых. Вы сочли возможным весьма пренебрежительно отозваться о публикациях в «Юности», назвав их «лавиной». 18000 строк, которые Вы так скрупулезно подсчитали, положив началом отсчёта март 1971 года, это не безликий поток; (иначе бы Вы так не стремились, чтобы и ваши строки оказались в нём) они могут составить том, который даст достаточно полное представление о сегодняшнем дне нашей поэзии.

Что же касается последних Ваших стихов, могу сказать, что это вполне профессиональная работа. Но интонация, манера, размер даже мне хорошо знакомы. Молодой литератор, как правило, начинает с подражания, постепенно вырабатывая свой, ему только присущий голос. Вам это ещё предстоит сделать.

На это и рассчитывали редакторы отдела поэзии, ободряя Вас письмами, ибо Вы человек способный. Они ждали не просто новых стихов, а других — Ваших. Чтобы можно было сказать: «колкеровская строфа», «колкеровская метафора». А пока лишь можно сказать — «кушнеровская строфа». Александр Кушнер отличный поэт, наш автор. У него существует свой читатель, ревниво распознающий его «походку». Зачем



её повторять? Вот те несколько слов, которые я хотел Вам сказать.

С уважением —

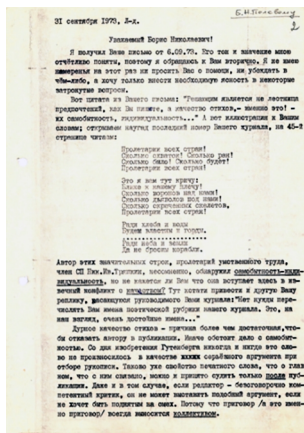
Б. Полевой

6 сентября 1973 г

Р. С. Стихи возвращаю.

Борису Полевому
ул. Горького 32/1
Москва

30 сентября 1973, Л-д



Уважаемый Борис Николаевич!

Я получил Ваше письмо от 6.09.73. Его тон и значение мною отчётливо поняты, поэтому я обращаюсь к Вам вторично. Я не имею намерения на этот раз ни просить Вас о помощи, ни убеждать в чём-либо, а хочу только внести необходимую ясность в некоторые затронутые вопросы. Вот цитата из Вашего письма: «Решающим является не лестница предпочтений, как Вы пишете, а качество стихов,— именно это! — их самобытность, индивидуальность...» А вот иллюстрация к Вашим словам; открываем наугад последний номер Вашего журнала, на 45-й странице читаем:

Пролетарии всех стран!
Сколько схваток! Сколько ран!
Сколько было! Сколько будет!
Пролетарии всех стран!
Это я вам тут кричу:
Ближе к нашему плечу!
Сколько воронов над нами!
Сколько дьяволов под нами!

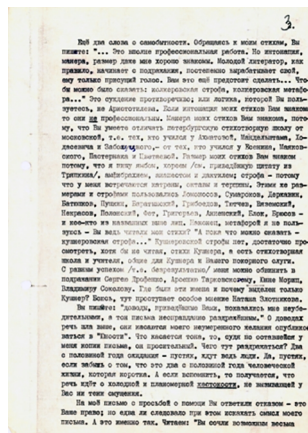
Сколько скрюченных скелетов,
 Пролетарии всех стран!
 Ради хлеба и воды
 Будем властны и горды.

 Ради неба и земли
 Да не бросим корабли.

Автор этих значительных строк, пролетарий умственного труда, член СП Ник. Ив. Тряпкин, несомненно, обнаружил самобытность-индивидуальность, но не кажется ли Вам, что она вступает здесь в извечный конфликт с качеством? Тут кстати привести и другую Вашу реплику, касающуюся руководимого Вами журнала: «Нет нужды перечислять Вам имена поэтической рубрики нашего журнала. Это, на наш взгляд, очень достойные имена...»

Дурное качество стихов — причина более чем достаточная, чтобы отказать автору в публикации. Иначе обстоит дело с самобытностью. Со дня изобретения Гутенберга никогда и нигде это слово не произносилось в качестве серьезного аргумента при отборе рукописи. Таково уж свойство печатного слова, что о главном, что с ним связано, можно и принято судить только *после* публикации. Даже и в том случае, если редактор — безоговорочно компетентный критик, он не может выставить подобный аргумент, если не хочет быть поднятым на смех. Потому что приговор (а это именно приговор) всегда выносится коллективом.

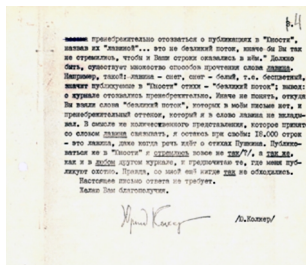
Ещё два слова о самобытности. Обращаясь к моим стихам, Вы пишете: «...Это вполне профессиональная работа. Но интонация, манера, размер даже мне хорошо знакомы. Молодой литератор, как правило, начинает с подражания, постепенно вырабатывая свой, только ему присущий голос. Вам



это ещё предстоит сделать... Чтобы можно было сказать: колкеровская строфа, колкеровская метафора...» Это утверждение противоречиво; или логика, которой Вы пользуетесь, не Аристотелева. Манера моих стихов Вам знакома потому, что Вы умеете отличать петербургскую стихотворную школу от московской, т. е. тех, кто учился у Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича и Заболоцкого, — от тех, кто учился у Есенина, Маяковского, Пастернака и Цветаевой. Размер моих стихов Вам знаком потому, что я пишу ямбом, хореем (см. приведённую цитату из Тряпкина), амфибрахием, анапестом и дактилем; строфа — потому, что у меня встречаются катрены, октавы и терцины. Этими же размерами и строфами пользовались Ломоносов, Сумароков, Державин, Батюшков, Пушкин, Баратынский, Грибоедов, Тютчев, Вяземский, Некрасов, Полонский, Фет, Григорьев, Анненский, Блок, Брюсов — и кое-кто из названных выше лиц. Наконец, метафорой я не пользуюсь — Вы ведь читали мои стихи? «А пока что можно сказать — кушнеровская строфа...» Кушнеровской строфы нет, достаточно просмотреть, хотя бы не читая, стихи Кушнера, а есть стихотворная школа и учителя, общие для Кушнера и Вашего покорного слуги. С равным успехом (т. е. безрезультатно) можно меня обвинить в подражании Сергею Дрофенко, Арсению Тарковскому, Юнне Мориц, Владимиру Соловьёву. Где были эти имена и почему выделен только Кушнер? Боюсь, тут проступает особое мнение Натана Злотникова.

Вы пишете: «доводы, приведенные Вами, показались мне неубедительными, а тон письма неоправданно раздраженным». О доводах шла речь выше, они касались моего неумеренного желания опубликоваться в «Юности». Что касается тона, то, судя по оставшейся у меня копии письма, он просительный. Чего тут раздражаться? Два с половиной года ожидания — пустяк, ждут ведь люди. Да, пустяк, если забыть о том, что это два с половиной года человеческой жизни, которая коротка. А если вспомнить, то получается, что речь идёт о холодной и планомерной жестокости, не вызывающей у

Вас ни тени смущения.



На моё письмо о помощи Вы ответили отказом — это Ваше право; но едва ли следовало при этом искажать смысл моего письма. А это именно так. Читаем: «Вы сочли возможным весьма пренебрежительно отозваться о публикациях в «Юности», назвав их «лавиной»...

это не безликий поток, иначе бы Вы так не стремились, чтобы и ваши строки оказались в нем.» Должно быть, существует множество способов прочтения слова лавина. Например, такой: лавина — снег, снег — белый, т. е. бесцветный, значит публикуемые в «Юности» стихи — «безликий поток»; вывод: о журнале отзывались пренебрежительно. Иначе не понять, откуда Вы взяли слова «безликий поток», которых в моём письме нет, и пренебрежительный оттенок, которого я в слове лавина не вкладывал. В смысле же количественного представления, которое принято со словом лавина связывать, я остаюсь при своём: 18.000 строк — это лавина, даже когда речь идет о стихах Пушкина. Публиковаться же в «Юности» я «стремлюсь» вовсе не «так» (?), а так же, как в любом другом журнале, и предпочитаю те, где меня публикуют охотно. Правда, со мной ещё нигде *так* не обходились.

Настоящее письмо ответа не требует.

Желаю Вам благополучия.

Ю. Колкер

Даю точную ссылку на место хранения моей переписки с Полевым: Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), Шпалерная ул., 34; коллекция В. В. Рольник, фонд № 394, оп. 1, д.36.

8 октября 1973 г.

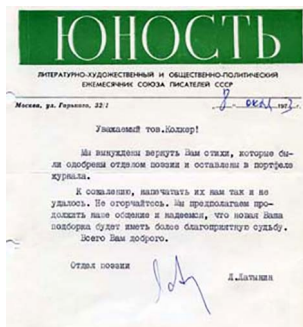
Уважаемый тов. Колкер!

Мы вынуждены вернуть Вам стихи, которые были одобрены отделом поэзии и оставлены в портфеле журнала.

К сожалению, напечатать их нам так и не удалось. Не огорчайтесь. Мы предполагаем продолжить наше общение и надеемся, что новая Ваша подборка будет иметь более благоприятную судьбу.

Всего Вам доброго.

Отдел поэзии



Л. Латынин

Москва

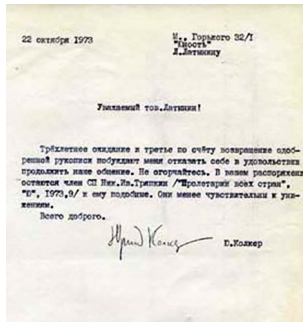
ул. Горького 32/1

«Юность» Л. Латынину

Уважаемый тов. Латынин!

Трёхлетнее ожидание и третье по счёту возвращение одобренной рукописи побуждают меня отказать себе в удовольствии продолжить «наше общение». Не огорчайтесь. В вашем полном распоряжении остаются член СП Ник. Ив. Тряпкин («Пролетарии всех стран», «Ю», 1973, 9) и ему подобные. Они менее чувствительны к унижениям.

Всего доброго.



Ю. Колкер

2. АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

Александр Межиров — это о Некрасове: вот его главная любовь, его судьбоносная тема. При большевиках, в послесталинские годы, на своей любви к Некрасову он, честный человек и еврей, стал *выездным*. В сентябре 1973 года, в первом своем (ответном) письме ко мне, Межиров уходит от разговора о моих стихах, заслоняется от него разговором о Некрасове; косвенно говорит мне: вы не совсем хороши, потому что не похожи на Некрасова. В 1991-1992 годах, — спустя семнадцать с половиной лет, в течение которых мы с Межировым не вспоминали друг о друге, — Некрасов опять действующее лицо в его письмах ко мне. Межиров и о других поэтах говорит в этих письмах; вообще о поэзии судит веско, парадоксально и умно, а разговор при этом ведёт самый демократический, ко мне, младшему на поколение, не снисходит, учительного тона не принимает.

В 1973 году, в письме из Ленинграда, я обращаюсь к Межирову как начинающий и безвестный к маститому и именитому; обращаюсь, хоть и расшаркиваясь, за поддержкой в литературном мире, в журналах и издательствах, не за поддержкой творческой; обращаюсь по подсказке доброжелателя, изменяя (о чём тут же пожалел) моему принципу пробиваться в печать своими силами, «с улицы».

Советский режим в 1973 году я уже презираю вполне, но об эмиграции ещё не помышляю; ищу возможности сосуществования. Межирова к 1973 году я не прочёл, только заглянул в него; помню наизусть и люблю одно его стихотворение, что немало, но ещё тверже помню, что он советский человек и москвич, то есть чужой. В письмах 1973 года я подчёркиваю эту чуждость декоративной, барочной вежливостью. Что Межиров — еврей, я не догадываюсь.

В январе 1991 года мы с Межировым случайно встречаемся в рабочих комнатах русской службы Би-Би-Си в Лондоне, где он гость, а я штатный сотрудник; встречаемся впервые. Я называю себя; Межиров уверяет, что помнит наш обмен письмами в 1973 году и мои стихи (память у него была клинописная). Разговор о поэзии и поэтах, увлекший обоих, мы продолжаем у меня дома. Межиров остаётся ночевать и проводит у нас два дня. По его просьбе я делаю нотариальное приглашение его

дочери Зое (которая в июле 1991 года приезжает к нам в гости на три недели).

Приём поэту мы оказываем радушный, но, в общем, совершенно такой же, как многим другим симпатичным людям, хлынувшим из, казалось, освободившейся России. Отношения между нами, между моей семьей и Межировым, устанавливаются самые тёплые, даже сердечные, но с поправкой на стихи, с поправкой по умолчанию, которую мы оба, он и я, не выговариваем до конца, стараясь не обижать друг друга. Мне не нравятся новые стихи Межирова, которые он, не скупясь, читает у нас за столом; ему, наоборот, как будто бы нравятся стихи моей первой книги (*Послесловие*, 1985), прочитанной им у нас в доме, а затем и книги *Далека в человечестве* (1993), прочитанной им в Москве, но они опять, по его словам, не в достаточной мере учитывают достижения Некрасова.

Разумеется, это несходство в отношении к стихам было лишь проекцией несходства наших характеров, тотчас сказавшегося в нашей неожиданной дружбе. Мы, вероятно, в одинаковой мере дорожили этой дружбой, но при чтении писем кажется, что с его стороны сердечности было гораздо больше. В них, и не раз, он обращается к нам: «родные», «родной»; ответить ему тем же мы не смогли.

Ни на минуту не ставя под сомнение искренность дружбы Межирова, я, однако, допускаю, что в его преувеличенной теплоте присутствует политика. Думающая Россия, отвыкшая от свобод, пребывала в те годы в растерянности, во все глаза смотрела на русскую эмиграцию, в каждом эмигранте видела победителя, носителя восторжествовавшей правды и чуть ли не пророка. (В ещё большей растерянности пребывала власть; кремлёвские воры какое-то время боялись возмездия; им грезилось, что эмигранты сейчас вернутся и будут править культурой, а то и страной.) При всей самостоятельности Межирова он не мог вовсе остаться нечувствительным к этим атмосферным явлениям.

Наша с Межировым переписка обрывается в 1992 году по моей вине. Я оставил без ответа два его последних письма с вложенными в них стихами, страшными по наполнению и жалкими по исполнению. Страшна запечатлённая в них картина тогдашней униженной бесхлебной России, где за доллар дают триста рублей, а власть через общество *Память* подстрекает чернь к еврейским погромам; страшна растерянность верхнего слоя советской интеллигенции, у которого почва уходит из-под ног; са-

мая свобода в этих стихах страшна — как лицо, искажённое криком на картине Эдварда Мунка. А стихи — плохи.

Межиров, вместе со многими, упивается тем, что слово еврей перестало быть запретным в печати, что наконец-то можно не стыдиться еврейской крови, но вместе с тем совершенно не знает, как ему распорядиться своим еврейством, — ведь на протяжении всей своей жизни он был евреем по одному-единственному признаку: по русско-советскому антисемитизму, в остальном же — русским из русских. Хотя это уже и сказано мною не раз, а тут к месту повторить: в XX веке лучшими русскими, истинными продолжателями высокой России XIX века, были выходцы из евреев; всюду были лучшими: и в университетах, и на фронтах.

Жалкими же эти стихи Межирова показались мне в смысле собственно поэтическом. Поэзии, как я её понимал и понимаю, в них не больше, чем в худших стихах Некрасова вроде *Кому на Руси жить хорошо*, то есть нет вовсе; это компот из послужного списка, жалобной книги и фельетона. Мысль, хоть и не ею жива поэзия, в них бедна, незначительна — и в целом такова, что невольно приводят на ум эпиграмму Боратынского: «всё это к правде близко, а может быть и ново для него».

В 1991-1992 годах я всё ещё называю себя толстовцем; вменяю себе в долг отзывчивость, готовность помочь каждому, кому плохо, не говоря уже о простой вежливости, для меня совершенно обязательной. Как же я мог не ответить Межирову? Что заставило меня отпрянуть от этого незаурядного человека? Ведь он тянулся ко мне — старший к младшему...

Сейчас, давно уже не толстовец, перечитываю его письма с горечью, ругаю себя, а вместе с тем вижу, что выхода у меня не было; и не потому, не только потому, что его поздние стихи плохи.

В присланных Межировым стихах была машинопись в 17 страниц под названием *То, чему названья нет* — о черносотенных настроениях в московских литературных кругах. Сам Межиров в письме ко мне от 21 марта 1992 года жалеет, что в 1991 году послал мне это сочинение, называет его «грязным и фальшивым предчерновиковым наброском», что, конечно, суровость совершенно излишняя, чрезмерная. В «наброске» сказано много верных слов: о том, что на войне честные люди чувствовали себя свободнее и даже счастливее, чем после войны; о том, что открытый антисемитизм побеждённых нацистов стал скрытой, воровской идеологией победивших большевиков, и т. п. Споткнулся я не на этом, а вот где:

Да и мало кто заранее,
Победив на поле брани,
Понял, что в его сознании
Побежденный победил, —
И такое началось,
Что в конце концов пришлось
Нам с тобой проститься, Коля
Тряпкин — истинный поэт,
Потому что получилось
То, чему названья нет.

Я споткнулся и поперхнулся на «Коле Тряпкине». Дело в том, что в 1973 году, в моей переписке с Борисом Полевым (был такой советский вельможа от литературы), я, подыскивая примеры бездарности советских стихоплетов, открыл наугад журнал *Юность* и наткнулся на стихи этого самого Тряпкина. Ни прежде, ни после я этого автора ни при какой погоде, конечно, не читал, имени его не слышал, но тот фрагмент меня так поразил, что я процитировал его в письме к Полевому и запомнил на всю жизнь. Не могу побороть искушения привести его ещё раз:

Пролетарии всех стран!
Сколько схваток! 7Сколько ран!
Сколько было! Сколько будет!
Пролетарии всех стран!
Это я вам тут кричу:
Ближе к нашему плечу!
Сколько воронов над нами!
Сколько дьяволов под нами!
Сколько скрюченных скелетов,
Пролетарии всех стран!
Ради хлеба и воды
Будем властны и горды.
Ради неба и земли
Да не бросим корабли. (...)

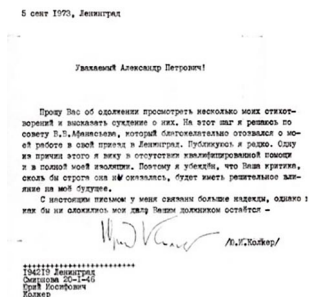
Что вчерашний оголтелый марксист, каков он в этих стихах, в новую эпоху оказался, по свидетельству Межирова, оголтелым православным черносотенцем, у меня только усмешку вызвало: вот новость! а то мы не

знали! Но прочтя «Коля Тряпкин — истинный поэт», я понял, что моё доверие к Межирову иссякло, дружба с ним кончилась, и отвечать ему нечем.

Была и ещё одна причина, по которой я не смог продолжать переписку и дружбу с Межировым; быть может, главная причина; поважнее «Коли Тряпки» и иных расхождений: моё ужасающее состояние, моя изматывающая и ненавистная работа на проклятых бибсиях. Межиров не знал принудительного труда. Ему, жизнелюбу (картёжнику и снукеристу!), всю жизнь кормившемуся от стихов, работа на радио могла казаться развлечением. Ему и в голову не шло, что моя жизнь — каторга под дамокловым мечом увольнения, что земля уходит у меня из-под ног, что завтра я могу остаться без куска хлеба и крыши над головой, имея на руках больную жену и недоучившуюся дочь. Год 1993 был вообще худшим в моей жизни. Одним мазком обозначаю владевший мною ужас: за три года 1991-1993 я едва ли написал три стихотворения, а ведь и для меня, как и для Межирова, стихи были главным содержанием жизни.

Привожу нашу переписку. Начинается она ещё в Совдепии, где проблемы у меня были не лондонские, но тоже нешуточные. Не разделяю в XXI веке некоторых моих тогдашних суждений (и мало где соглашаюсь с Межировым). Советская часть переписки хранится в ЦГАЛИ СПб, коллекция В. В. Рольник, фонд № 394, оп. 1, д.36., постсоветская — в Hoover Institution Archives, 12323051, IUrii Kolker papers.

5 сент 1973, Ленинград



Уважаемый Александр Петрович!

Прошу Вас об одолжении просмотреть несколько моих стихотворений и высказать суждение о них. На этот шаг я решаюсь по совету В. В. Афанасьева, который благожелательно отозвался о моей работе в свой приезд в Ленинград. Публикуюсь я редко. Одну из причин этого я вижу в отсутствии квалифицированной помощи и в полной моей изоляции. Поэтому я убеждён,

что Ваша критика, сколь бы строга она ни оказалась, будет иметь решительное влияние на моё будущее.

С настоящим письмом у меня связаны большие надежды, однако как бы ни сложились мои дела, Вашим должником остается —

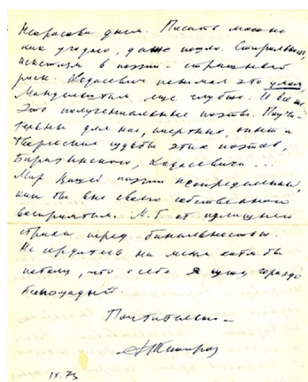
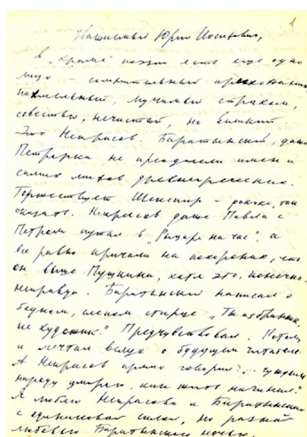
Ю. И. Колкер

194219 Ленинград

Смирнова 20-1-46

Юрий Иосифович Колкер

Уважаемый Юрий Иосифович, в «храме» поэзии есть ещё одно лицо — сомнительный прихожанин, похмельный, мучимый страхом, совестью, нечистый, но великий. Это Некрасов. Баратынский, даже Петрарка не преодолели имён и самих мифов древнегреческих. Торжествует Шекспир — рококо, так сказать. Некрасов даже Павла с Петром путал в «Рыцаре на час», а всё равно кричали на похоронах, что он выше Пушкина, хотя это, конечно, неправда. Баратынский написал



о бедном, слепом старце: «Ты избранник, не художник.» Пред-чувствовал. Потому и мечтал вслух о будущем читателе. А Некрасов прямо говорил: «чуждым народу умираю, как жить начинал.» Я люблю Некрасова и Баратынского с одинаковой силой, но разной любовью. Баратынского ночью, Некрасова днём. Писать можно как угодно, даже пошло.

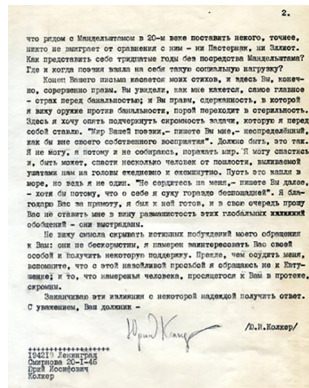
Стерильность, аскетизм в поэзии — страшный риск. Ходасевич понимал это умом, Мандельштам

без Чехова, так он современен и человечен; при всём том он едва ли был природным гением. И можно не сомневаться, человек Ходасевич переживёт дурных наших современников, одержимых манией величия, как он пережил уже сверхчеловека Владимира Маяковского. Только сдержанность и честное отношение к своей работе могут служить серьёзной основой творчества и щитом от дешёвой популярности (эти качества я вижу в Ваших стихах и потому обращаюсь к Вам).

Вы назвали несколько важных для меня имён. Да, Некрасов не выше Пушкина, но скажите, кто в мировой литературе выше или хотя бы равен Пушкину? Гёте, Дант? Едва ли. Я тоже люблю Некрасова, но думаю, что он не гениален и даже среди своих современников не был первым поэтом. Тютчев, которого сам же Некрасов легкомысленно причислил к второстепенным поэтам, выше своего критика. А что касается выкриков на похоронах, то Вы ведь знаете, чего они стоят. Вспомните, кто сегодня срывает овации, и вспомните, что Пушкина начиная с 1828 никто не понимал; Катенин и даже Баратынский [в ту пору, как и многие, я писал это имя через а] считали его поэтом средней руки, с тем он и умер, — вот Вам суд современников.

Хочу возразить Вам ещё в одном. Да, Ходасевич и Мандельштам имеют общие корни, но разве это соизмеримые фигуры? Ходасевич мой любимый поэт и мой первый пример, но надо дать себе отчёт, что рядом с Мандельштамом в 20-м веке поставить некого, точнее, никто не выиграет от сравнения с ним — ни Пастернак, ни Эллиот. Как представить себе тридцатые годы без посредства Мандельштама? Где и когда поэзия взяла на себя такую социальную нагрузку?

Конец Вашего письма касается моих стихов, и здесь Вы, конечно, совершенно правы. Вы увидели, как мне кажется,



самое главное — страх перед банальностью; и Вы правы, сдержанность, в которой я вижу оружие против банальности, порой переходит в стерильность. Здесь я хочу опять подчеркнуть скромность задачи, которую я перед собой ставлю. «Мир Вашей поэзии, — пишете Вы мне, — неопределённый, как бы вне своего собственного восприятия». Должно быть, это так. Я не могу, а потому и не собираюсь, поражать мир. Я могу спастись и, быть может, спасти несколько человек от пошлости [под это определение подпадала у меня и советская власть], выливаемой ушатами нам на головы ежедневно и ежеминутно. Пусть это капля в море, но ведь я не один. «Не сердитесь на меня, — пишете Вы далее, — хотя бы потому, что о себе я сужу гораздо беспощадней». Я благодарю Вас за прямоту, я был к ней готов, и в свою очередь прошу Вас не ставить мне в вину размашистость этих глобальных обобщений — они выстраданы.

Не вижу смысла скрывать истинных побуждений моего обращения к Вам: они не бескорыстны, я намерен заинтересовать Вас своей особой и получить некоторую поддержку. Прежде, чем осудить меня, вспомните, что с этой назойливой просьбой я обращаюсь не к Евтушенке; и то, что намеренья человека, просящегося к Вам в протезе, скромны.

Заканчиваю эти излияния с некоторой надеждой получить ответ. С уважением, Ваш должник —

Ю. И. Колкер

Ответа не последовало; быть может, из-за моей непочтительности к Евтушенке. В ту пору (и позже) я считал Евтушенку не только пошляком, но и бездарностью, чем поразил Межирова в январе 1991 года. Это отношение лежало в русле моих представлений о глубинном родстве этики и эстетики, с чем Межиров тоже не соглашается в своих последующих письмах ко мне. Я сказал Межирову: Евтушенко потому бездарен, что маленький человек не может быть поэтом. Мы в этот момент прогуливались по одной из улиц Бoremвуда. Услышав мои слова, Межиров в изумлении остановился и принялся уверять меня, что Евтушенко — громадный талант.

Приведённая ниже записка прислана почтой из Москвы в Британию в подтверждение внезапной дружбы, возникшей между нами в январе 1991 года, когда Межиров два дня гостил у нас в Боремвуде, графство Хартфордшир.

[А. П. Межиров,
Красноярская ул. 21-96,
Москва 125319]
март 1991

[Юрию Колкеру,
58 Milton Drive,
Borehamwood,
Herts WD6 2BB, UK]

Родные,
пользуюсь оказией, [чтобы] сказать
вам, что навеянная вами благодать
— на мне. И сегодня и всегда теперь
будет. И дом ваш и лица Татьяны,
Лизы, Юрия радуют меня как оправ-
дание жизни, как обрётённая вдруг
способность верить снова во Что-то.

Преданный вам —

А. Межиров

3.91

Москва

Родные,
пользуюсь оказией, сказать
вам, что навеянная
вами благодать — на мне.
У сегодня и всегда теперь
будет. И дом ваш и
лица Татьяны, Лизы,
Юрия радуют меня
как оправдание жизни,
как обрётённая вдруг
способность верить снова
во Что-то.

Преданный вам —
А. Межиров

3.91
Москва

А.П. Межиров

Здесь у Межирова слово *Что-то* означает совесть, долг; подразумевает мой отказ от голого себялюбия. На Межирова произвело сильное впечатление то обстоятельство, что мы, не сионисты, а толстовцы, все упования которых были связаны с русским языком и с возрождением России, добившись в 1984 году (после десяти лет борьбы) разрешения на эмиграцию, поехали не в Америку, Германию или Францию, где нам были обещаны работа и жильё, а в Израиль, в нищету и неизвестность (там у нас не было ни родственников, ни друзей), в полном сознании того, что жить нам будет труднее. Проехать мимо Израйля не позволяла не только благодарность к этой маленькой, но великой стране, вернувшей нам свободу и человеческое достоинство, но и долг по отношению к оставшимся в Совдепии отказникам, каковых в ту пору были многие тысячи, — ведь

ния, рекомендации), а похвалы — всё менее ясно, и вот-вот вообще перестану в них верить. Так что напишите, пожалуйста (разумеется, не только похвалы: а общее Ваше отношение); в моем уединении поддержка мне необходима; а Ваша — бесценна. Вниманием я не избалован. Быть может, Вы найдёте возможным предложить что-нибудь в московские журналы?

Как дела у Зои [дочери Межирова, которая в июле 1991 придет к нам в гости по нашему нотариальному приглашению]? Собирается ли она к нам? Мы по-прежнему были бы рады видеть её у нас в гостях — как и Вас, разумеется.

У нас — всё без перемен. Лиза сдаёт [выпускные школьные] экзамены. Таня только что вернулась из Израиля, где провела 10 дней. Обе шлют Вам сердечный привет. Я — служу [то есть работаю на русской службе Би-Би-Си, которую ненавижу]. На этом прощаюсь, обнимаю Вас.

Ваш

Ю. Колкер

[26 июня 1991]

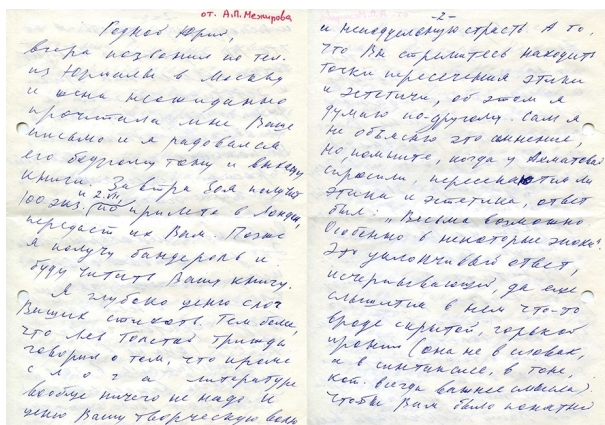
Родной Юрий,

вчера позвонил по тел. из Юрмолы в Москву и жена неожиданно прочитала мне Ваше письмо и я радовался его бодрому тону и выходу книги. Завтра Зоя [дочь Межирова] получит 100 экз. и 2.VII, по прилёте в Лондон [к нам в гости], передаст их Вам. Позже я получу бандероль и буду читать Вашу книгу.

Я глубоко ценю слог Ваших стихов. Тем более, что Лев Толстой трижды говорил о том, что кроме слога литературе вообще ничего не надо. И ценю Вашу творческую волю и неподдельную страсть. А то, что Вы стремитесь находить точки пересечения этики и эстетики, об этом я думаю по-другому.

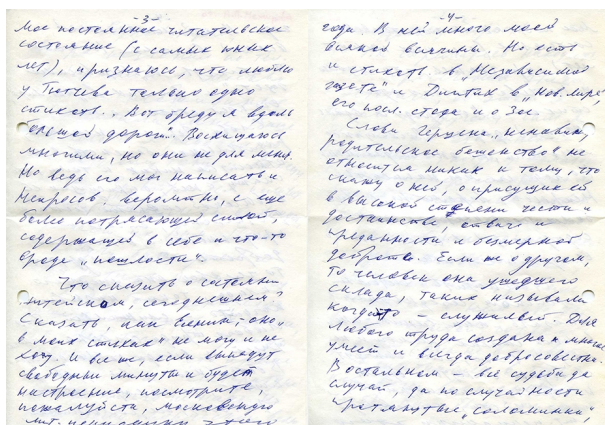
Сам я не объясню это сомнение, но, помните, когда у Ахматовой спросили, пересекаются ли этика и эстетика, ответ был: «Весьма возможно. Особенно в некоторые эпохи». Это

уклончивый ответ, исчерпывающий, да ещё слышится в нём что-то вроде скрытой, горькой иронии (она не в словах, а в синтаксисе, в тоне, кот. всегда важнее смысла). Чтобы Вам было понятней моё постоянное читательское состояние (с са-



мых юных лет), признаюсь, что люблю у Тютчева только одно стихотв. «Вот бреду я вдоль большой дороги...». Восхищаюсь многими, но они не для меня. Но ведь его мог написать и Некрасов, вероятно, с ещё более потрясающей силой, содержащей в себе и что-то вроде «пошлости».

Что сказать о состоянии житейском, сегодняшнем? Сказать, как Есенин, — оно «в моих стихах» не могу и не хочу.



И всё же, если выпадут свободные минуты и будет настрое-

ние, посмотрите, пожалуйста, московскую лит. периодику этого года [удивительные слова! Межиров полагает, что эта периодика мне доступна — и что у меня есть силы и время для чтения!]. В ней много моей всякой всячины. Но есть и стихотв. в «Независимой газете» и Диптих в «Нов. мире», его посл. стофа [строфа?] и о Зое.

Слова Герцена «ненавижу родительское бешенство» не относятся никак к тому, что скажу о ней, о присущих ей в высшей степени чести и достоинстве, отваге и преданности и безмерной доброте. Если же о другом, то человек она ушедшего склада, каких называли когда-то — служилый. Для любого труда создана и многое умеет и всегда добросовестна [эта служебная характеристика не случайна; Зоя надеялась найти работу в свободном мире; Межиров подводит меня к мысли помочь Зое]. В остальном — всё судьба да случай, да по случайности протянутые «соломинки», хотя они и есть соломинки. Ничего не предскажешь.

Передайте, пожалуйста, мой привет Татьяне и Лизе и скажите, напомниме им опять, что я полюбил их.

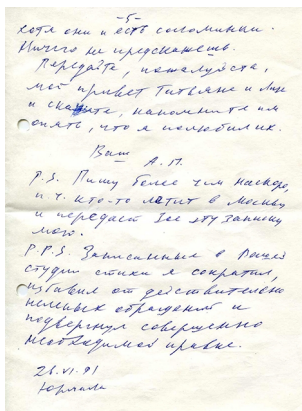
Ваш

А. П.

P.S. Пишу более чем наскоро, п. ч. кто-то летит в Москву и передаст Зое эту записку мою [для передачи нам в Лондоне]. P.P.S. Записанные в Вашей студии [на русской службе Би-Би-Си] стихи я сократил, избавил от действительно нелепых обращений и подвергнул совершенно необходимой правке.

26.VI.91

Юрмола



— 5 —
 Когда они и есть соломинки.
 Ничего не предскажешь.
 Передайте, пожалуйста,
 мой привет Татьяне и Лизе
 и скажите, напомниме им
 опять, что я полюбил их.
 Ваш А. П.
 P.S. Пишу более чем наскоро,
 п. ч. кто-то летит в Москву
 и передаст Зое эту записку
 мою.
 P.P.S. Записанные в Вашей
 студии стихи я сократил,
 избавил от действительно
 нелепых обращений и
 подвергнул совершенно
 необходимой правке.
 26.VI.91
 Юрмола

Следующее письмо от Межирова получено в начале октября 1991 года;

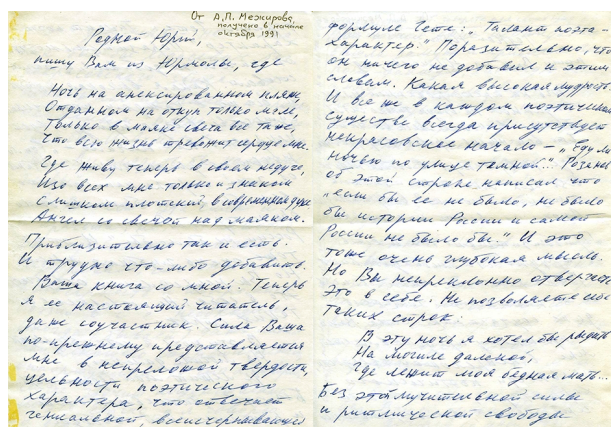
оно — из Латвии, которая стала независимой 21 августа 1991 года.

Родной Юрий,
пишу Вам из Юрмолы, где

Ночь на аннексированном пляже,
Отданном на откуп только мгле,
Только в маяке свеча все та же,
Что всю жизнь тревожит сердце мне.

Где живу теперь в своём недуге,
Изо всех мне только и знаком
Слишком плотский, в современном духе,
Ангел со свечой над маяком.

Приблизительно так и есть. И трудно что-либо добавить.

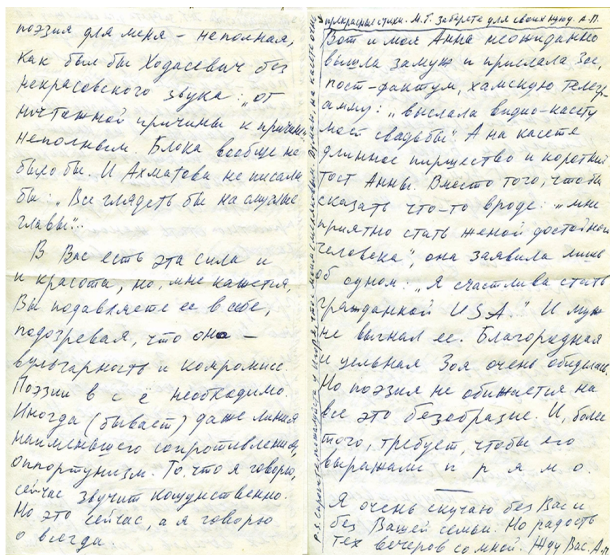


Ваша книга со мной. Теперь я её настоящий читатель, да-
же соучастник. Сила Ваша по-прежнему представляется мне
в непреложной твёрдости, цельности поэтического характера,
что отвечает гениальной, всеисчерпывающей формуле Гёте:
«Талант поэта — характер». Поразило, что он ничего не
добавил к этим словам. Какая высокая мудрость. И всё же в
каждом поэтическом существе всегда присутствует некра-
совское начало — «Еду ли ночью по улице темной...». Розан-
ов об этой строке написал, что «если бы её не было, не было
бы истории России и самой России не было бы». И это тоже

очень глубокая мысль. Но Вы непреклонно отвергаете это в себе. Не позволяете себе таких строк:

В эту ночь я хотел бы рыдать
На могиле далёкой,
Где лежит моя бедная мать...

Без этой мучительной силы и ритмической свободы поэзия для меня — неполная, как был бы Ходасевич без некра-



совского звука: «от ничтожной причины к причине...» неполным. Блока вообще не было бы. И Ахматова не писала бы: «Все глядеть бы на смуглые главы...».

В Вас есть эта сила и красота, но, мне кажется, Вы подавляете её в себе, подозревая, что она — вульгарность и компромисс. Поэзии всё необходимо. Иногда (бывает) даже линия наименьшего сопротивления, оппортунизм. То, что я говорю, сейчас звучит кощунственно, но это сейчас, а я говорю о всегда.

Вот и моя Анна [внучка Межирова, дочь Зои, в шестнадцать лет уехавшая в США] неожиданно вышла замуж и при-
слала Зое, пост-фактум, хамскую телеграмму: «выслала ви-

део-кассету моей свадьбы». А на кассете длинное пиршество и короткий тост Анны. Вместо того, чтобы сказать что-то вроде: «мне приятно стать женой достойного человека», она заявила лишь об одном: «Я счастлива стать гражданкой USA». И муж не выгнал её. Благородная и цельная Зоя очень обиделась. Но поэзия не обижается на всё это безобразие. И, более того, требует, чтобы его выражали прямо.

Я очень скучаю без Вас и без Вашей семьи. Но радость трех вечеров со мной. Жду Вас. А. П.

P.S. Спросите, пожалуйста, Игоря [то есть Игоря Померанцева, сотрудника лондонского отделения радиостанции *Свобода*; Межиров не хочет верить, что с я Померанцевым не знаю], что с моим Смеляковым. Думаю, на кассете очень прекрасные стихи. М. б. заберёте для своих нужд. А. П.

14.10.91,
Лондон

14.10.91,
Лондон

Дорогой Александр Петрович,

Большое спасибо-мне Зина (телеграфическое) писало из Иркутска, которое мы получили в начале октября. Вы сказали и Вам признателен за то, что Вы, по Вашим словам, "настоящий читатель" моей книги и даже не "читатель", Читатель у меня вообще немного - а о том, что Вы станете моим читателем, я не мог даже и помышлять. Наконец, благодаря Вам и за письма мои стихи, - пожалуй, преувеличенные. Я, Вы знаете, на свой счёт не обольщаюсь и вот уже лет тридцать не считаю себя гением. Между прочим, отсюда и моя ритмическая несвобода, которую Вы совершенно справедливо у меня отмечаете: я именно «подавляю» (пользуясь Вашим словом) в себе далеко идущие порывы, которые у гения вылились бы в шедевры; я

У нас - все серьезно. Зина очень всё время рада, сейчас - моя родная сестра из Ленинграда (что-то на Санкт-Петербурге и всё же сохранила), Ты казался и пришла в Иркутск, от одного отъезда - не только в этот раз, но и в последующие: ты поехала из Ленинграда, но и больше всего было болями, чем сейчас. Стихи, разумеется, не стихи. Зина была со стихами в Ленинградском клубе, от друзей, - в последнюю раз невозможно брать на себя роль поэта, когда не пишешь. В Ленинград мне уверяла, что я нахожусь в состоянии предельного творческого беспомощия. Зина была в Ленинграде, и что она даже была в Ленинграде. Зина всё что писала (я ведь пишу, она всё что писала) - не стихи, но, быть может, мы скоро увидимся - о чем мечтаю.

На этом прощание, обоим Вас. Зина Вас

Дорогой Александр Петрович,

большое спасибо за Ваше (недатырованное) письмо из Юрмалы, которое мы получили в начале октября. Еще больше я Вам признателен за то, что Вы, по Вашим словам, — «настоящий читатель» моей книжки и даже её «соучастник». Читателей у меня вообще немного — а о том, что Вы станете моим читателем, я не мог даже и помышлять. Наконец, благодарю Вас и за похвалы моим

стихам, — пожалуй, преувеличенные. Я, Вы знаете, на свой счёт не обольщаюсь и вот уже лет тридцать не считаю себя гением. Между прочим, отсюда и моя ритмическая несвобода, которую Вы совершенно справедливо у меня отмечаете: я именно «подавляю» (пользуясь Вашим словом) в себе далеко идущие порывы, которые у гения вылились бы в шедевры; я

знаю своё место. Другая причина — та, что Муза — редкий гость в моём доме: я всю жизнь тяну лямку, жить только стихами мне не посчастливилось. Сложись моя жизнь удачнее, может быть, из меня и вышел бы большой поэт, — но теперь об этом можно говорить только в гадательном наклонении.

Не знаю, как принимать Вашу американскую новость: радоваться за Аню [внучку Межирова, вышедшую замуж в США]? Наверное, да, ведь она «счастлива стать...»!

У нас — без перемен. В доме почти всё время гости, сейчас — моя родная сестра из Ленинграда (что-то на Санкт-Петербурге я всё ещё спотыкаюсь). Три недели я провел в Израиле, от службы отвлёкся — но только в этом смысле и отдохнул: тотчас по приезде простудился, да и вообще суеты было больше, чем отдыха. Стихов, разумеется, ни строки. Выступал со стихами в Иерусалимском клубе, но, думаю, — в последний раз: невозможно брать на себя роль поэта, когда не пишешь. В Иерусалиме меня уверяли, что я внесён в списки участников предстоящего весной фестиваля *Белые Ночи* в Ленинграде, и что мне даже билет оплатит Аэрофлот. Если всё это правда (и если решусь ещё раз изображать из себя поэта), то, — быть может, мы скоро увидимся — о чём мечтаю.

На этом прощаюсь, обнимаю Вас. Всегда Ваш Юрий

[Следует письмо от 21 декабря 1991; к нему были приложены раздосадовавшие меня стихи Межирова.]

Дорогой Юрий,
спасибо за письмо, непреклонное и твёрдое. В нём тон меняется и многое можно услышать, многое, вплоть до обиды. Не обижайтесь на меня, Юрий родной. Я действительно глубоко полюбил Вас и Вашу семью. Мне понятны Ваши слова от том, что

из письма

*Вернулся Юрий,
спасибо за письмо, непреклонное и
твёрдое. В нём тон меняется и
многое можно услышать, многое,
вплоть до обиды. Не обижайтесь
на меня, Юрий родной. Я действительно
глубоко полюбил Вас и Вашу семью.
Мне понятны Ваши слова от том, что*

Приглаждён Вами и Вашей семьёй

— Юрий

21/12/91
Москва

"Да, Юрию да, пожалуй, много
слова, но надо."

именно не позволяете Вы себе. Но я не умею, не могу согласиться с этими словами. Убеждён, что об этом не надо, нельзя думать. Я не умею выразить эту убежденность на бумаге и, вопреки всему, надеюсь на встречу в Москве, на беседу, на радость дружеского общения.

Преданный Вам и Вашей семье

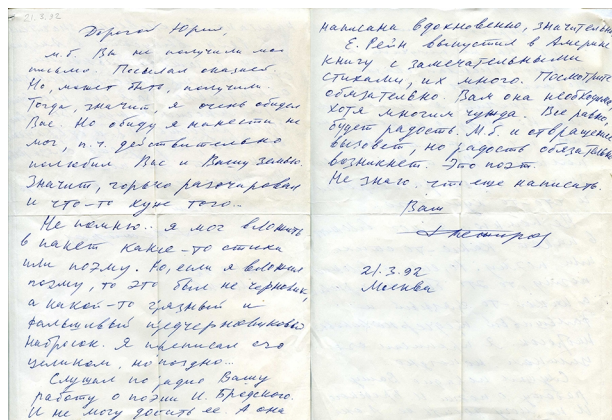
А. Межиров

21.XII.91

Москва

Мне была бы радостна любая весть, два слова.

[21 марта 1992]



Дорогой Юрий,

м. б. Вы не получили мое письмо. Посылал оказией. Но, может быть, получили. Тогда, значит, я очень обидел Вас. Но обиду я нанести не мог, п. ч. действительно полюбил Вас и Вашу семью. Значит, горько разочаровал и что-то хуже того...

Не помню... я мог вложить в пакет какие-то стихи или поэму. Но, если я вложил поэму, то это был не черновик, а какой-то грязный и фальшивый предчерновиковый набросок. Я переписал его целиком, но поздно...

Слушал по радио Вашу работу о поэзии И. Бродского [характерно, что мою статью о Бродском читали не на волнах

русской службы Би-Би-Си, а на волнах мюнхенской радиостанции *Свобода*]. И не могу достать её. А она написана вдохновенно, значительно.

Е. Рейн выпустил в Америке книгу с замечательными стихами, их много. Посмотрите обязательно. Вам она необходима, хотя многим чужда. Всё равно, будет радость. М. б. и отвращение вызовет, но радость обязательно возникнет. Это поэт.

Не знаю, что ещё написать.

Ваш

А. Межиров

21.3.92

Москва

На последние два письма, как уже сказано, я не стал отвечать — по причинам, названным в предисловии. К ним добавлю ещё две: досадное для меня повторное упоминание Померанцева, человека мне совершенно чуждого, и — то, что мне «необходимы» «замечательные» стихи Евгения Рейна, — вот уж промашка! О какой обиде говорит Межиров, неясно. В его письмах обидного не нахожу, в моих — обиды не высказываю. Но невысказанная обида — да, она тут; повторюсь: баловень судьбы Межиров, всю жизнь кормившийся от стихов, думал что русская служба бибиси — что-то вроде клуба весёлых и находчивых, где люди собираются для взаимного удовольствия. Он совершенно не понимал, хоть я и говорил ему об этом открытым текстом, как тяжела, мучительна и беспросветна моя жизнь на проклятых бибисях, как ненавистная мне эта каторжная работа, не оставлявшая сил ни для чего, даже — для дружбы и переписки, уж не говорю: о стихах, и как велик мой ужас завтра оказаться на улице, без копейки денег и крыши на голове. Разве истинный друг мог не заметить этого моего состояния, не выказать мне сочувствия, не войти в моё положение? Дорого ли стоит обращение *родной* — без такого участия?

3. ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Кажется, именно Павлу Антокольскому русская поэзия обязана ещё одной рифмой к слову *солнце*, солнечной и атомной, по представлениям XX века — почти точной:

Было ж солнце, как солнце,
И луна, как луна.
Ни плутоний, ни стронций
Не тревожили сна.

Я услышал эти стихи в отрочестве в ленинградском дворце пионеров, в поэтическом семинаре Н. И. Грудиной, которая знакомила нас, школьников, замороженных рифмой, с творчеством Антокольского; услышал и запомнил на всю жизнь... Может быть, не безупречно запомнил; в книге я этих строк так и не прочёл, в последующие годы в Антокольского не заглядывал.

Грудина читала из Антокольского, перелистывая страницы солидного тома в тканевом переплёте с твёрдой обложкой и перемежая чтение комментариями.

— Поэма Антокольского *Сын*, — сказала она среди прочего, — побудила некоторых из нас, — тут она перечислила ничего не значившие для меня тогдашнего фамилии авторов её поколения, — стать профессиональными поэтами.

Мы, желторотые сочинители, слушали наставницу в царских покоях, в бельэтаже Аничкова дворца, за длинным, резным, красного дерева, столом с забранной зелёным сукном серединой. При чтении Грудина курила толстые папиросы, а безобразные, смятые окурки неряшливо складывала на бумажку слева от книги — и прямо передо мною, отчего на меня волнами накатывала тошнота. По сей день вижу пепел на дворцовом сукне и не могу побороть отвращения.

Поэма Антокольского мне тогда не понравилась, показалась какой-то слишком советской. Комментарии Грудиной тоже были не в моем духе. Её слова «стать поэтами», да еще «профессиональными», показались мне дикостью; как это: писать стихи — и считать поэзию профессией, не главным содержанием всей твоей жизни?!

Имя Антокольского, звонкое и поэтическое, я тоже крепко запомнил. Поэма, я чувствовал, отдавала нехотя усвоенным большевизмом, но само Антокольский — в этом была его главная для меня притягательная сила — захватил в свои юные годы, а значит, и представлял в нашей убогой провинциальной Совдепии не что-нибудь, а Русскую Литературу.

Понятно, эти формулировки пришли потом; тогда я только чуял неладное, не понимал, что Страна Советов — глухая провинция, окраина цивилизованного мира. Не вполне понимал я и то, чем влечёт меня Антокольский, а вместе с тем чувствовал: он уже классик, он уже причислен к сонму избранных, к лику святых. Это и осталось в подсознании подростка, — дело извинительное.

Подсознание сработало и в 1973 году. Предположительно взрослым, на самом же деле всё ещё зелёным юнцом (взрослели в ту пору катастрофически медленно), я в письме обращаюсь к Антокольскому с умопомрачительным, уродливым советским словечком *глубокоуважаемый* (а не просто *уважаемый*, как в тот же день и по той же нужде в письме к советскому поэту Межирову). Стыжусь, но не отрекаюсь: было. Отчасти тут ещё сработала инерция: тем же словечком, но уж там-то совершенно обязательным, я начал моё письмо к советскому литературному сатрапу Борису Полевому.

Ко всем трём названным я обращаюсь небескорыстно, по делу: в надежде получить протекцию, — и, конечно, ни от кого ничего не получаю. Стыжусь ли этого? Не очень. Частичную ответственность перелагаю на доброхота, подсказавшего мне этот ложный шаг: на В. В. Афанасьева, сотрудника московского антисемитского издательства *Молодая гвардия*, человека доброго, почему-то кинувшегося мне помогать. Не до конца стыжусь потому, что я обращаюсь всё-таки к писателям, пусть и в очень разной степени заслужившим это имя.

В 1973 году советский режим я презираю вполне, но выхода из него не вижу, жить без стихов не могу, всеми силами стараюсь пробиться в печать и тоже стать писателем, советским писателем. Но если положить дело под микроскоп, то стыд всё-таки тут: я отступаю от моего коренного, через всю жизнь пронесённого принципа нигде ни в чём не искать протекции у сильных мира сего, всюду всего добиваться своими силами. Тогдашнего моего редкого отступничества — стыжусь.

Испытываю неловкость и от моей цветистой, прямо-таки рококош-

ной вежливости в этих письмах, но документ есть документ, и деваться некуда, таков уж я был в годы моего запоздалого литературного становления, моего недолгого и неуклюжего конформизма. Приискать апологику было бы нехитро и здесь; например, такую: подчёркнутой вежливостью мы обыкновенно отгораживаемся от чужих; такая вежливость — двухпроцентный раствор лицемерия, созданный цивилизацией как раз для этого: чтобы отгораживаться и, тем самым, облегчать отступление. Человеческая улыбка, неизвестная в животном мире, той же природы.

Остаётся добавить, что из этих трёх в очень разной степени советских писателей, к которым я, с подсказки Афанасьева, обращаюсь по нужде в 1973 году, — Антокольский был мне тогда, при всём только что сказанном, наиболее близок, наименее чужд.

Привожу моё первое письмо к советскому классику. (Оригинал этого письма и последующей нашей переписки — в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), коллекция В. В. Рольник, фонд № 394, оп.1, д.№28.)

[П. Г. Антокольскому:
Москва Г-34,
ул. Щукина 8а кв 38,
119034 Москва]
5 сент 1973, Ленинград

Глубокоуважаемый Павел Григорьевич!

Заручившись рекомендацией В. Афанасьева («Молодая Гвардия»), обращаюсь к Вам с просьбой посмотреть несколько моих стихотворений. Виктор Афанасьев был в Ленинграде в этом году, благожелательно отозвался о моей работе и посоветовал обратиться к Вам. Ясно давая себе отчёт в том, как Вы заняты, я всё же решаюсь последовать его совету, так как остро заинтересован в Вашей критике. Публику-

5 сент 1973, Ленинград

Глубокоуважаемый Павел Григорьевич!

Заручившись рекомендацией В. Афанасьева «Молодая Гвардия» обратился к Вам с просьбой посмотреть несколько моих стихотворений. Виктор Афанасьев был в Ленинграде в этом году, благожелательно отозвался о моей работе и посоветовал обратиться к Вам. Ясно давая себе отчёт в том, как Вы заняты, я всё же решаюсь последовать его совету, так как остро заинтересован в Вашей критике. Публикуюсь и редко. Одна из причин сидит мне в полной изоляции и отсутствии квалифицированной помощи. Поэтому и убеждён, что Ваше суждение о моей работе, сколь бы строгим оно ни оказалось, будет иметь реальное влияние на мой будущий.

Конечно, пролистав мою подборку, Вы лично добавляете /это отсылка к В. Афанасьеву/, что у меня есть некоторые основания считать себя Вашим учеником. Впрочем, на это, очевидно, претендуют многие молодые поэты моего поколения, и само по себе это ничтожно или о чём на горизонте совсем недавно оно подкрепляет мне решимость писать Вам.

С настоящим письмом у меня связаны большие надежды. При этом вы, как бы не переключая зло, Ваши дальнейшие ответы —

В. В. Рольник

194119 Ленинград
Сентябрь 10-14-83
Письмо Писателю
Рольник

юсь я редко. Одна из причин видится мне в полной изоляции и отсутствии квалифицированной помощи. Поэтому я убеждён, что Ваше суждение о моей работе, сколь бы строгим оно ни оказалось, будет иметь решительное влияние на моё будущее.

Конечно, пролистав мою подборку, Вы легко догадаетесь (это отмечал и В. Афанасьев), что у меня есть некоторые основания считать себя Вашим учеником. Впрочем, на это, очевидно, претендуют многие молодые авторы нашего поколения, и само по себе это качество ни о чём не говорит; однако именно оно подкрепляет мою решимость писать Вам.

С настоящим письмом у меня связаны большие надежды. При всём том, как бы ни повернулось дело, Вашим должником остается —

Ю. И. Колкер

Ленинград

Смирнова 20-1-46

Юрий Иосифович Колкер

[12 сентября 1973, условно (штемпель на конверте: 130973)]

Уважаемый Юрий Иосифович!

Простите, что отвечаю Вам с опозданием[м] почти в неделю: я и хворал, и занят был, и люди разные были и прочее. Так что только сегодня внимательно прочёл Ваши стихи. Они интересны и в целом, в общем, в основном сочинены не зря — за ними стоит личность и судьба.

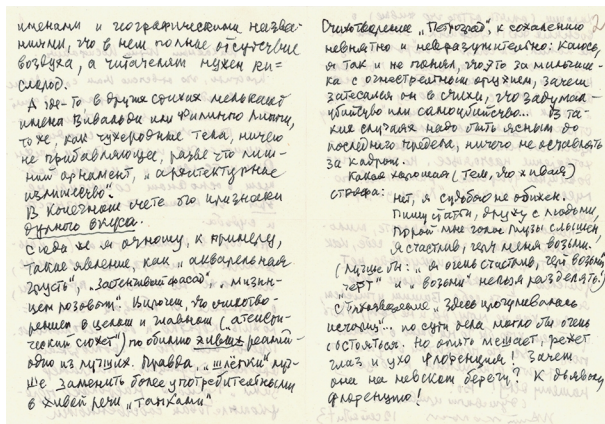
Но есть в Ваших стихах (в большинстве их) некоторые досадные, если даже не опасные, признаки, о которых я обязан Вам доложить коротко и без недомолвок. Прежде всего это — громоздкая, вредная эрудиция. Например цикл «Фукидид» настолько переукомпле[к]тован

Уважаемый Юрий Иосифович!

Кстати, что касается Ваш творчество, то в целом: и и хворал, и занят был, и люди разные были и прочее. Так что только сегодня внимательно прочёл Ваши стихи. Они интересны и в целом, в общем, в основном сочинены не зря — за ними стоит личность и судьба.

Но есть в Ваших стихах (в большинстве их) некоторые досадные, если даже не опасные, признаки, о которых я обязан Вам доложить коротко и без недомолвок. Прежде всего это — громоздкая, вредная эрудиция. Например цикл «Фукидид» настолько переукомпле[к]тован

собственными именами и географическими названиями, что в нём полное отсутствие воздуха, а читателю нужен кислород.



Какая хорошая (тем, что живая) строфа:

Нет, я судьбою не обижен,
Пишу стихи, дружу с людьми,
Порой мне голос музы слышен,
Я счастлив, черт меня возьми.

(лучше бы: «я очень счастлив, черт возьми», «черт» и «возьми» нельзя разделять!)

Стихотворение «Здесь прогуливалась история»... по сути дела могло бы очень состояться. Но опять мешает, режет глаз и ухо Флоренция! Зачем она на невском берегу? К дьяволу Флоренцию!

Хорошие (опять оттого что живые) стихи о военных фотографиях. «Эдварда» я не понял: его связь с Байроном, нужность такого сопоставления не проявлена: ваш ап[п]арат не сработал, он не наведён на фокус. И наконец — последнее «Дождик на проспекте Смирнова». За одну строчку о журнальном болване Вам простится многое. И вообще это стихотворение настоящее. Но что за чудовищное ударение — «римлянка»: по русски [sic!]: римлянка. Лучше уж «рижанка».

Наконец, последнее. Бросьте, милостивый государь, говорить о себе, как о чем-то ученике. В искусстве нет учителей и учеников. Меньше всего я могу считать себя Вашим учителем, равно как не могу (да и не хочу) быть учителем кого бы то ни было в нашей поэзии. Все это пережитки другой эпохи, другого отношения к общему нашему делу! Во!

С душевным приветом

П. Антокольскийц

12 сентября 73

Хорошие (опять оттого что живые) о военных фотографиях. «Эдварда» я не понял: его связь с Байроном, нужность такого сопоставления не проявлена: ваш ап[п]арат не сработал, он не наведён на фокус. И наконец — последнее «Дождик на проспекте Смирнова». За одну строчку о журнальном болване Вам простится многое. И вообще это стихотворение настоящее. Но что за чудовищное ударение — «римлянка»: по русски [sic!]: римлянка. Лучше уж «рижанка».

наконец, последнее. Бросьте, милостивый государь, говорить о себе, как о чем-то ученике. В искусстве нет учителей и учеников. Меньше всего я могу считать себя Вашим учителем, равно как не могу (да и не хочу) быть учителем кого бы то ни было в нашей поэзии. Все это пережитки другой эпохи, другого отношения к общему нашему делу! Во!

Милостивый государь
12 сентября 73

6 октября 1973, Л-д.

Глубокоуважаемый Павел Григорьевич!

6 октября 1973, Л-д.

Глубокоуважаемый Павел Григорьевич!

Искренне благодарю Вас за письмо от 12.09.73 и доброе отношение к моим стихам. Не только словами, но и Ваш критика поставила мне глубокое удовлетворение — именно потому, что в Ленинском издательстве я никак не могу опубликовать. Я хочу отметить, что *Вы* только в одном, Вы пишете: "... в стихах мелькают имена Вивальди или Бетховена...". Или чужеродные тела, ничего не прибавляющие, разве что лишний орнамент...". На самом деле для меня эти имена означают нечто большее, это — мировоззренческие символы. В Ленинском счёте для меня важно противопоставление: Вивальди и Моцарт противопоставляются Бетховену, Филиппо Липпи и Боттичелли — Рафаэлю и Микеланджело, а в поэзии, чтобы не углубляться, — Ходасевич — Маяковскому. В своей позиции я не одинок. Другое дело /я никак и не могу с Вами спорить/, что в стихах моя задача мне не удалась.

Ваша доброжелательность поощряет меня вновь обратиться к Вам с просьбой. Не жалко, потому приходится теперь молодым авторам. В Ленинском первая книга стихов может пролежать в издательстве десятилетия и более того. Это и моя судьба. Я положительно потерял надежду увидеть когда-либо титульный лист со своим именем. В будущем году и дальше кончатся счастье в московских издательствах. Могу ли я надеяться на Вашу поддержку? Ваш ответ мог бы решить дело.

Ещё раз благодарю Вас за участие и прощаюсь. Ваш —

194219 Ленинград, пр. Смирнова 20-1-46

Искренне благодарю Вас за письмо от 12.09.73 и доброе отношение к моим стихам. Не только похвалы, но и Ваша критика доставили мне глубокое удовлетворение — именно потому, что с Вашими замечаниями нельзя не согласиться. Я хочу возразить Вам только в одном. Вы пишете: «...в стихах мелькают имена Вивальди или Филиппе Липпи... как чужеродные тела, ничего не прибавляющие, разве что лишний орнамент...».

На самом деле для меня эти имена означают нечто большее, это — мировоззренческие символы. В конечном счёте для меня важно противопоставление: Вивальди и Моцарт противопоставляются Бетховену, Филиппо Липпи и Боттичелли — Рафаэлю и Микеланджело, а в поэзии, чтобы не углубляться, Ходасевич — Маяковскому. В своей позиции я не одинок. Другое дело (и здесь я не могу с Вами спорить), что в стихах моя задача мне не удалась.

Ваша доброжелательность поощряет меня вновь обратиться к Вам с просьбой. Вы знаете, каково приходится теперь молодым авторам. В Ленинграде первая книга стихов может пролежать в издательстве десятилетия и более того. Это и моя судьба. Я положительно потерял надежду увидеть когда-либо титульный лист со своим именем. В будущем году я намерен искать счастья в московских издательствах. Могу ли я надеяться на Вашу поддержку? Ваша рецензия могла бы решить дело.

Ещё раз благодарю Вас за участие и прощаюсь. Ваш —

Ю. Колкер

194219 Ленинград, пр. Смирнова 20-1-46

[10.10.73]

Дорогой Юрий!

Вы наивный чудак и фантазер, если предполагаете, что мое или чье нибудь [sic] еще предстательство может сразу изменить Вашу литературную судьбу в той или другой редакции, московской или ленинградской, это все равно. Чудес не бывает. Волшебные палочки фей отменены у нас давным давно. Да ведь и Вы хорошо знаете, как обстоит дело, какие очереди претендентов стоят годами почти без движения. Внимание к молодым — это фикция. Впрочем, и то сказать, — само количество этих молодых недаром удручает редакторов и прочих кому ведать надлежит. Незачем удивляться, если эти деятели в подавляющем большинстве мало компетентны, а то и совсем ни в ухо, ни в рыло. Но разве среди поэтической молодежи нет таких же олухов? Вот они и находят, как говорится, общий язык между собою, а берут при этом количеством, большинством. Процесс необратимый. Бывают, но редко, эпохи двадцатых годов XIX и XX века. Но бывают и другие, когда посредственность берет верх. Это сказывается в новом искусстве. А в поэзии, поскольку [sic] на первый взгляд, она доступна каждому, научившемуся рифмовать, для посредственности наше время лафа!

С этим трудно мириться даже такому старику, как я [в 1973 году Антокольскому (1896-1978) 77 лет]. Но я не знаю способов[,] каким бороться с таким положением вещей.

Вот отчего, однажды похвалив и этим обнадежив Вас, я

3
Дорогой Юрий!
Вы наивный чудак и фантазер, если предполагаете, что мое или чье нибудь [sic] еще предстательство может сразу изменить Вашу литературную судьбу в той или другой редакции, московской или ленинградской, это все равно. Чудес не бывает. Волшебные палочки фей отменены у нас давным давно. Да ведь и Вы хорошо знаете, как обстоит дело, какие очереди претендентов стоят годами почти без движения. Внимание к молодым — это фикция. Впрочем, и то сказать, — само количество этих молодых недаром удручает редакторов и прочих кому ведать надлежит. Незачем удивляться, если эти деятели в подавляющем большинстве мало компетентны, а то и совсем ни в ухо, ни в рыло. Но разве среди поэтической молодежи нет таких же олухов? Вот они и находят, как говорится, общий язык между собою, а берут при этом количеством, большинством, лаф —

3
мистифицированием. Процесс необратимый. Бывают, но редко, эпохи двадцатых годов XIX и XX века. Но бывают и другие, когда посредственность берет верх. Это сказывается в новом искусстве. А в поэзии, поскольку [sic] на первый взгляд, она доступна каждому, научившемуся рифмовать, для посредственности наше время лафа!
С этим трудно мириться даже такому старику, как я. Но я не знаю способов[,] каким бороться с таким положением вещей.
Ваш Пётр Антокольский
10 октября 73

на этом вынужден остановиться. Поймите меня правильно. Сказанному в Вашу пользу я не изменяю.

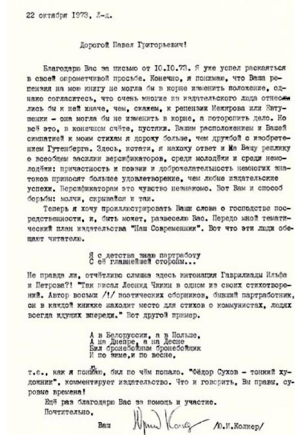
Ваш

П. Антокольский

10 октября 73

22 октября 1973, Л.-д.

Дорогой Павел Григорьевич!



Благодарю Вас за письмо от 10.10.73. Я уже успел раскаться в своей опрометчивой просьбе. Конечно, я понимаю, что Ваша рецензия на мою книгу не могла бы в корне изменить положение, однако согласитесь, что очень многие из издательского люда отнеслись бы к ней иначе, чем, скажем, к рецензии Межирова или Евтушенки — она могла бы не изменить в корне, а поторопить дело. Но всё это, в конечном

счёте, пустяки. Вашим расположением и Вашей симпатией к моим стихам я дорожу больше, чем дружбой с изобретением Гутенберга. Здесь, кстати, я нахожу ответ и на Вашу реплику о всеобщем засилии версификаторов, среди молодёжи и среди немолодёжи: причастность к поэзии и доброжелательность немногих знатоков приносят большее удовлетворение, чем любые издательские успехи. Версификаторам это чувство незнакомо. Вот Вам и способ борьбы: молчи, скрывайся и тай.

Теперь я хочу проиллюстрировать Ваши слова о господстве посредственности, и, быть может, развеселю Вас. Передо мной тематический план издательства «Наш Современник». Вот что эти люди обещают читателю.

Я с детства знаю партработу
С её главнейшей стороны...

Не правда ли, отчётливо слышна здесь интонация *Гаврилады* Ильфа и Петрова?! «Так писал Леонид Чикин в одном из своих стихотворений. Автор восьми (!) поэтических сборников, бывший партработник, он в каждой книжке находит место для стихов о коммунистах, людях всегда идущих впереди.» Вот другой пример.

А в Белоруссии, а в Польше,
А на Днепре, а на Десне
Бил бронбойным бронбойщик
И по зиме, и по весне,

т. е., как я понимаю, бил по чём попало. «Фёдор Сухов — тонкий художник», комментирует издательство. Что и говорить, Вы правы, суровые времена!

Еще раз благодарю Вас за помощь и участие.

Почтительно,

Ваш

Ю. И. Колкер

На это моё письмо ответа не последовало.

Л. Г. СЕРГЕЕВА

Всю мою жизнь я хранил как реликвию письмо — не от возлюбленной или друга, а от чиновницы, советской чиновницы Л. Г. Сергеевой, ни разу мною в глаза не виданной. Это письмо, отправленное из Москвы в Ленинград 21 июля 1977 года, — в числе событий моей жизни. И бумагу этого письма хранил (а потом отдал в архив Гугеровского института при Станфордском университете), и удивительный звук сказанных Сергеевой слов несу в душе, их тепловой удар. Другие письма от этой женщины тоже сохранились.

Конечно, Людмила Георгиевна Сергеева была чиновницей совершенно особенной, из учреждения элитарного, единственного в своём роде (и в истории человечества); да и я, клиент с улицы, почти с улицы, со слабой рекомендацией в зубах, был клиентом не совсем обычным.

Сергеева служила «редактором Литконсультации при Правлении Союза писателей СССР»; литературной, стало быть, консультации, — служила в заведении строгом, казённом, всесоюзном и «всемирно-историческом», в «столице всего прогрессивного человечества». А я был молодым подающим надежды провинциальным стихотворцем... — на самом-то деле никаких надежд не подававшим и прямо безнадёжным в контексте места и времени (худшего места, чем Ленинград, не было для писателя на всём пространстве двадцати двух миллионов квадратных километров отдельно взятой суши), да и молодым с той же оговоркой, не числом прожитых лет я был молод, тут я уже почти сравнился с Лермонтовым, а некоторой детскостью (взрослели под отеческой опекой большевистского Кремля катастрофически поздно), — зато уж автором самонадеянным и, не стану отрицать, в ту пору счастливым, по глупости и несколько по-детски счастливым. Пространство вокруг меня начало раздвигаться, мне стал мерещиться какой-то *Lebensraum*, клочок независимой земли, выгороженный во враждебном окружении. Я чувствовал себя таким Ильёй Муромцем, слезшим с печи и рвавшимся помериться силами с татарвой.

Моя переписка с Сергеевой началась в 1973 году бодрым письмом от меня, началась как переписка самая деловая и тоже казённая. Я проби-вался в субсидируемую литературу, Сергеева, по должности и на жалованьи, обязана была ответить соискателю социал-реалистических лавров. Она и ответила. Но в её ответе, в первых двух её ответах, наряду с крити-

кой, подчас резкой, которая человека менее самонадеянного и менее счастливого, пожалуй, и обидела бы (а у меня, игравшего мускулами, только ухмылку вызвала), промелькнуло тогда нечто удивительное: *человеческое отношение*.

Я к тому времени уже достаточно нахлебался советчины и в чиновниках — в советской татарве — людей не видел, защищён был от них внутренней ухмылкой и кукишем в кармане («я их перешибу»), — оттого я и удивился.

Но это была только верхушка айсберга. В своём последнем письме ко мне, письме уже сугубо частном, а не деловом (им-то я и дорожу!) Сергеева оказалась не просто человеком без оговорок, без советчины и казённости, — она оказалась *несостоявшимся другом*. О несостоявшейся дружбе с нею я сокрушался десятилетиями.

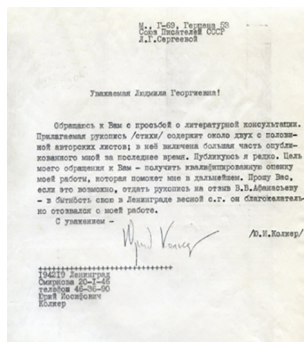
Вот моё первое письмо к ней, написанное в начале сентября 1973 года (оригиналы этого письма и последующих писем хранятся в Гуверовском институте в Калифорнии):

М., Г-69, Герцена 53
Союз Писателей СССР
Л. Г. Сергеевой

Уважаемая Людмила Георгиевна!

Обращаюсь к Вам с просьбой о литературной консультации. Прилагаемая рукопись (стихи) содержит около двух с половиной авторских листов; в ней включена большая часть опубликованного мной за последнее время. Публикуюсь я редко. Цель моего обращения к Вам — получить квалифицированную оценку моей работы, которая поможет мне в дальнейшем. Прошу Вас, если это возможно, отдать рукопись на отзыв В. В. Афанасьеву — в бытность свою в Ленинграде весной с. г. он благожелательно отзывался о моей работе.

С уважением —



Ю. И. Колкер

194219 Ленинград
Смирнова 20-1-46
телефон 46-36-90
Юрий Иосифович Колкер

Отмечаю любопытное: адрес в моём первом письме к Сергеевой — не мой, а тётшин. В январе 1973 года я женился, но нам с женой ни одного дня не позволили прожить у моих родителей, где было не в пример просторнее, чем у тётщи.

Упомянутый в этом письме Виктор Васильевич Афанасьев свалился на меня с неба: приехал из Москвы весной 1973 года отбирать стихи молодых ленинградцев для нового всесоюзного альманаха *Родники* (при антисемитском издательстве *Молодая гвардия!*), — и хотя гениями в Ленинграде буквально панели были устланы (панелями называли там тротуары; гениев было много; одно только перечисление их имён заняло бы страницу), он, из всех писавших в столбик, не посмотрев даже на мою неблагозвучную фамилию, отличил меня. Этот Афанасьев, вот чудо, принялся пробивать мои стихи в «столице всего прогрессивного человечества»; вообще, опекать меня; среди прочего дал, как принято было в стране Советов, несколько советов: написать, в поисках поддержки чисто практической, Павлу Антокольскому и Александру Межирову (двум евреям; что Межиров — еврей, я не подозревал, зато Афанасьев знал, что посоветовать!), а также литературному боярину Борису Полевому и — неведомой мне Сергеевой. Всем им я и написал в начале сентября 1973 года; Полевому в первую очередь, Сергеевой — в последнюю очередь. Ни от кого не ждал «квалифицированной оценки моей работы», всем, счастливый самонадеянный олух, хотел навязаться...

Сергеева послушалась: отдала присланную мною рукопись Афанасьеву. Тот, «по поручению Литературной консультации СП СССР», незамедлительно написал (в форме письма ко мне) целый трактат о моих стихах, предпослав ему записку к Сергеевой:

Людмила Георгиевна!

Мне кажется, что Колкер — очень способный поэт [словечко *способный* — с душком; я уже в ту пору повторял за Вяземским: «Способный человек бывает часто глуп, / А люди умные как часто неспособны!»]. Я считаю, что его рукопись

стоит передать в изд-во «Советский писатель» (может быть, предварительно, поработав с автором над ее составом). Моя консультантская практика показывает, что такие авторы в общем потоке начинающих встречаются крайне редко. Наш долг помогать им. Передача рукописи в изд-во не помешает и устройству его стихов в журналы (если есть возможность, конечно).

Если будет хоть какая-нибудь возможность напечатать Колкера в московской периодике, то я предлагаю два списка — две подборки (с возможностью выбора) по десять стихотворений из его рукописи.

[Следуют два списка; названия стихотворений опускаю.]

В. Афанасьев

25 сент. 73 г.

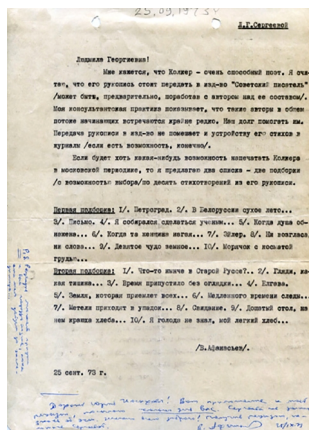
А для меня добрый человек Афанасьев приписал от руки:

«Дорогой Юрий Иосифович! Вот приложение к моей рецензии, посылаю только для Вас. Сергеева не должна знать об этом. Желаю всего доброго! Получив рецензию, напишите Сергеевой. В. Афанасьев 25/IX.73

P.S. Рецензия может придти к Вам гораздо позже, пока она там дойдет до экспедитора...»

До экспедитора! С какой нечеловеческой солидностью было поставлено в Москве это писательское дело!

Из двадцати отобранных Афанасьевым стихотворений — вот характеристика меня тогдашнего, но и он тут характеризуется, — восемь были так называемые *паровозы* (стихи, рассчитанные на советского редактора) или стихотворные упражнения — потому что я в ту пору осваивал нечто новое для меня: усиленно опрощался. Некоторых из этих стихотворений след простыл; даже в черновиках не отыскать. Моё хождение в народ не затянулось. К 1974 году с ним было покончено.



В октябре 1973 года Сергеева откликнулась короткой запиской под пышной «всемирно-исторической» шапкой титулов... *вероломной* запиской: ломавшей мою веру в то, что все советские москвичи не совсем люди, и говорить с ними по-человечески не стоит:

ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»
ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Москва, Г-69, ул. Воровского, д. 52,

Тел. 291-78-64

№ 1178

„ 29 “ X 1973 г.

194219, Ленинград, Смирнова,

20-1-46.

— КОЛКЕРУ Ю. И.

Дорогой

Юрий Иосифович!

Пишу это короткое письмо только для того, чтобы Вы не думали, что мы не получили Вашу рукопись или забыли о Вас. Просто мы с Виктором Васильевичем внимательно (и с удовольствием!) читаем рукопись (вернее, он только что прочел, а я на середине чтения). Как только закончу, сразу вышлю Вам все наши соображения.

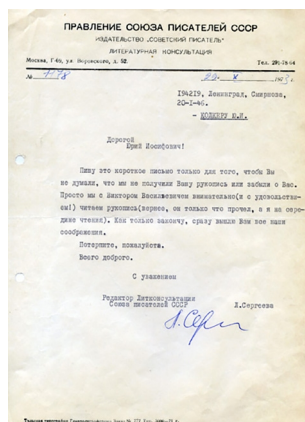
Потерпите, пожалуйста.

Всего доброго.

С уважением

Редактор Литконсультации

Союза писателей СССР



Л. Сергеева

Никогда я не получал таких писем от чиновников и сановников. «Потерпите, пожалуйста!»! Слыханное ли дело?! Устои моей вселенной дрогнули; встретить человека в самом вертепе большевизма было для меня

неожиданностью. Второго, заметьте, человека: потому что уже и Афанасьев вёл себя по-человечески. Если нашлось уже два человека, то, может, зря я их всех за татарву держу? До этого моей твёрдой установкой было: вести себя с ними, как если б я был один из них, говорить с ними (сколько сил хватит) на их языке, уступать им сколько позволит совесть, не принимать близко к сердцу ни одного из их слов, ни хулы, ни хвалы. Я дрогнул. Мои надежды приняли другой тон... Я не вовсе переменялся, нет; мои последующие письма, подчёркнуто вежливые и по-прежнему уступчивые, отступательные, они показывают, что не вовсе я потерял бдительность, не до конца поверил советским москвичам. Но уже и тень этой новой веры — что мне удастся жить среди людей в этой нечеловеческой стране — была, как показало будущее, губительна, гибельна.

Возвращаюсь к хронологическому порядку.

Ровно через месяц Сергеева прислала мне критические замечания на шести страницах, доброжелательные, но и жёсткие. Спасибо ей за эту жёсткость. Не в шутку, а всерьёз вслушивался я в ту пору в каждое критическое замечание, от кого бы оно ни исходило; наоборот, похвалы пропускал мимо ушей — потому что не выставлял перед посторонними лучшего и главного; более того, ещё не написал — я знал это — самого лучшего, самого главного. Такова была моя установка. Горький опыт убедил меня: чтобы найти хоть какое-то понимание, нужно обуздывать мысль и воображение, сдерживать лучшие порывы, высокое — откладывать, беречь для себя.

Какая жалость, что — при полностью сохранившемся тексте — полностью прочесть письмо-рецензию Сергеевой невозможно! Архивный червь плачет во мне. Причина же в том, что её критика, для краткости, построена следующим образом: «на стр. такой-то неясно начало... на стр. такой-то смазан конец», — но страниц этих нет в природе, рукопись не сохранилась, да и составлена была кое-как, наскоро, ни на секунду не воспринималась мною как моя настоящая книга стихов.

Тем не менее вот это письмо Сергеевой полностью, со всеми похвалами и критическими замечаниями, включая те, что человека хуже защищённого недоверием, пожалуй, и обидели бы. Перечитываю его с оторопью... Если всю правду сказать, то не только с оторопью: читаю без тогдашней усмешки, куда внимательнее, с интересом несопоставимо большим, чем в 1973 году. Даже и в стихи заглядываю, чего тогда не делал.

Привожу с купюрами это письмо-рецензию, в оригинале — на шести страницах, от 29 ноября 1973 года.

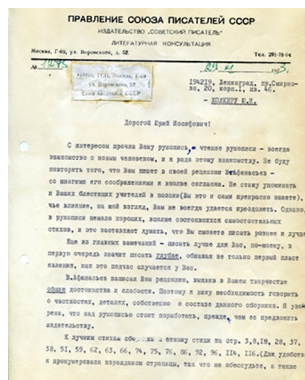
Дорогой Юрий Иосифович!

С интересом прочла Вашу рукопись, чтение рукописи — всегда знакомство с новым человеком, и я рада этому знакомству. Не буду повторять того, что Вам пишет в своей рецензии В. Афанасьев — со многими его соображениями я вполне согласна. Не стану упоминать и Ваших блестящих учителей в поэзии (Вы это и сами прекрасно знаете), чье влияние, на мой взгляд, Вам не всегда удастся преодолеть. Однако, в рукописи немало хороших, вполне состоявшихся самостоятельных стихов, и это заставляет думать, что Вы сможете писать ровнее и лучше.

Еще из главных замечаний — писать лучше для Вас, моему, в первую очередь значит писать глубже, обнажая не только первый пласт явления, как это подчас случается у Вас.

[Как она здесь права! И как тяжело было мне переучиваться в течение двух предшествовавших лет: заставляя себя *не* писать глубже! Ничего человек не поймёт о природе советского режима; ни всепроницающая ложь большевизма, ни самый ГУЛАГ не дадут ему ясного представления о тамошней тогдашней жизни, если он упустит из виду этот пу-
стычок: поэта, преодолевающего себя, чтобы писать *проще, площе, мельче*. Но только с простыми и плоскими текстами можно было ходить по редакциям. Сергеева оказалась не-советским человеком! Не совсем советским. Она продолжала:]

В. Афанасьев написал Вам рецензию, выявив в Вашем творчестве *общие* достоинства и слабости. Поэтому я вижу



необходимость говорить о частностях, деталях, собственно о составе данного сборника. Я уверена, что над рукописью стоит поработать, прежде, чем ее предложить издательству.

К лучшим стихам сборника я отношу стихи на стр. 3, 8, 18, 28, 37, 38, 51, 59, 62, 63, 66, 74, 75, 76, 86, 92, 96, 114, 116. (Для удобства я пронумеровала карандашом страницы, так что не обессудьте, а также оставила кое-какие пометки для наглядности на полях, при желании их легко стереть ластиком).

Мне кажется, что Вам больше удаются начала стихотворений (речь идет не о самых лучших и законченных, энергичные и сразу о сути, вроде «прощай, не моя дорогая», или «метели приходят в упадок»), а дальше идет спад, иногда — многословие, и стихотворения рассыпаются. Подумайте над этим, ведь многим поэтам как раз не даются начала, стало быть, Вы в более выгодном положении.

А теперь о тех стихах, в которых что-то меня смущает. [Идут критические замечания Сергеевой, непонятные без стихотворений, на которые она указывает лишь номерами страниц; оставляю в её письме только фразы, смысл которых не зависит от текстов отсутствующих стихотворений.]

В «Петрограде» последняя строфа не является собственно финалом, эту строфу можно (и нужно, мне кажется) снять, стихотворение ничего не потеряет от этого, а только выиграет. [Это стихотворение, написанное 28 мая 1972 года, стоит привести, оно в числе важнейших для меня-тогдашнего:

Мальчишка, поэт и скиталец,
От счастья волнуясь слегка,
Кладёт указательный палец
На тонкое тело курка.

За веру — счастливое свойство —
И ясный мальчишеский лоб
Ему выпадает геройство
И смерти весёлый озноб.

Французских наслушавшись басен,

Неапольским солнцем облит,
Не знал он, что подвиг напрасен
И будет так скоро забыт...

Балтийское море дымилось,
Сияло, текло на закат,
Но что-то во мне надломилось,
И я говорю невпопад...

Сергеева, человек культурный и, как потом выяснилось, не вполне советский, могла бы догадаться, что эти стихи — о Леониде Каннегисере, застрелившем начальника питерской ЧК Урицкого. Не заметила она и того, что стих «Балтийское море дымилось» — прямая и рискованная в ту пору цитата из эмигранта Георгия Иванова, по моей догадке указывающая на Каннегисера. Всё это оправдывает последнюю строфу. «Надломилась» же во мне — вера в то, что я смогу ужиться с тупой и бездарной советской властью.]

(...)

На стр. 13 Вы пишете «красиво», но неубедительно:

Чайки, словно в стакане чаинки,
Оседая, плывут над тобой.

[Тут Сергеева права, это красиво, однако ж неприязнительная и допустимая — кто без греха? Подчёркивание — серГеевой.]

(...)

...строка «для потомства оставить анналы», по-моему, плоховато звучит [не согласен; это — из стихотворения *На возвращение друга*. Вполне пристойные были стихи:

Там, где память приходит в себя,
В сентябре, на излучине года,
Как вернешься, застолье с тебя,
А с меня причитается ода:

«Леденящий глоток высоты,
Полоса на армейском погоне,

Два костра по бокам — две звезды,
И одна — на крутом небосклоне...»

Обещаю без лишних прикрас
Для потомства оставить анналы —
Напишу... но потом, а сейчас —
Мы за дружбу подыдем бокалы!

За студенчество наше — о нём
Мы вспомянем с тобой, как умеем,
И о прошлом без грусти вздохнем,
Как однажды Гораций с Помпеем*.

* Помпеем Варом]

В «Подружках» на стр. 24 боюсь, что Ваши «древние старушки», которым шила «довоенная портниха» не сапожки носили, а боты или войлочные ботинки. [Тут Сергеева права, спору нет. Стихотворение *Подружки* я никогда никуда не включал. Оно — типичная литературная поделка эпохи моего упрощенчества. Самое время вспомнить эти стихи, написанные 31 октября 1971 года:

Идут по переулку две подружки,
Две бабушки, две древние старушки,
По лужам ковыляют не спеша.
Погода нынче выдалась сырая.
На фоне потемневшего сарая
Идут, сапожками перебирая...
И в чём тут только держится душа?

Жакетки плохи — не было бы лиха!
(Должно быть, довоенная портниха.)
Две палочки постукивают тихо,
Почти неразличимы голоса,
Две сумочки. Одни воспоминанья.
И облака над ними в ожиданьи
Стоят тугие, точно паруса.]

«Девочка с колечком на уме» на 31 стр. воспринимается буквально, а нужный Вам смысл уходит за строку. [Перечи-

тываю и это стихотворение (16.03.72) — и придирки Сергеевой не понимаю:

Девочка с колечком на уме,
Зябкое прощанье в полутьме
Таллинского зимнего вокзала.
Узелок на память завязала,
Растворилась в медленной зиме,
О любви ни слова не сказала.

В Таллине, где тысяча простуд,
Дуют нескончаемые ветры,
Ежятся деревья, не растут...
Проглотить бы эти километры,
Возвратиться, поселиться тут...].

...стих. на 38 стр. «Время припустило без оглядки» (хорошее, достойное) просто опровергает стих. на 35 стр. Если тут у Вас самоирония, то Вы слишком милостивы к себе, а если об общем явлении говорите, то тоже очень безгневно и спокойно рассуждаете. [Из симпатии к Сергеевой соглашаюсь с нею, хоть и не знаю, что было на стр. 35. А «достойное» стихотворение (1973) — вот оно:

Время припустило без оглядки.
Пятницы мелькают, точно пятки.
Не успеешь дух перевести —
Тут суббота: пол хозяйка просит
Натереть; косясь, ведро выносит.
Глажка, стирка. Месяц позади.

Выстраданы дни — и тем отрадны.
Путеводной нитью Ариадны
Вьётся жизнь — и так всегда вилась:
В строчках путалась, узлы давала,
За сучки и руки задевала.
Тощ клубок, а не перевелась.

Ладно! Только бы не дать слабинку,
Не свернуть, не потерять тропинку,
Только б честь на часть не променять,

Быть с тобою рядом, быть собою,
Не дружить с покладистой судьбою,
Знающей, что некому пенять.

На стр. 50 последняя строфа синтаксически перегружена и неосмотрительна в отношении местоимений:

С полос, еще сырых, читает мать седая
Движеньем сытый день, сумятицу вестей.
А он глядит с небес и, боли сострада,
Из нелюбви к себе не помогает ей. (...)

[Тут Сергеева права на все сто процентов. «Неосмотрительность в отношении местоимений» — национальная беда русских сочинителей. Эту строфу я, спасибо Сергеевой, переделал. Замечу, что местоимение *он* нельзя было в ту пору написать с прописной буквы. Стихотворение *Атеистический сюжет* (21.05.71) характерно для той поры, когда я, преодолевая себя, писал как можно проще и приземленнее:

Ей снилось в эту ночь, что к ней вернулось тело:
Что стоит только сон мучительный стряхнуть —
И можно встать, зевнуть и потянуться смело,
К окошку подойти и створки распахнуть.

В халатике цветном и шлёпках полустёртых
Возиться у плиты и, убавляя газ,
Бегущее тепло угадывать в аортах,
В мизинце розовом, отогнутом сейчас...

Но утро настаёт, и верить всё труднее,
Мучительнее сон, исчерпан список тем,
Проснулась — и душа не расстанется с нею,
А тело отнято и съёжилось совсем.

Здесь выдержана боль настоящим многолетним,
Приземиста постель, протяжна тишина,
Здесь два десятка лет всё кажется последним
Косой вечерний луч, скользящий из окна.

Каких ей ждать вестей? Вот комната пустая.
С ней только мать одна — ни мужа, ни детей.
А Он глядит с небес, и боли сострадая,
Из нелюбви к себе не помогает ей.]

«Скрипки осени» стр. 69 мне откровенно не нравятся, о них можно сказать словами самого Верлена — «все прочее — литература». А конец, простите, просто пошл. [Вглядываюсь в это, спору нет, не замечательное стихотворение, но пошлости не вижу. Стихи как стихи. О прогулке по Парижу можно было в ту пору только мечтать, вот я и мечтаю. Никогда я этих стихов не включал; печатаю их впервые:

Вердену скрипки осени слышны.
Должно быть, осень хороша в Париже.
Хотя, конечно, и у нас не хуже —
Иначе отчего мы ей верны?
Садись к окну, придвинь тетрадь поближе.
Гляди на клен, краснеющий от стужи,
И наслаждайся хором тишины.

Поэт приходит в Люксембургский сад.
Песок поскрипывает под штиблетом.
Он видит вазы, статуи, мольберты,
Газон, дворца оранжевый фасад.
Еще не холодно, как поздним летом
Бывает, и осенние концерты
Слышны, и листья жёлтые висят.

Да, скрипки, скрипки слышит он вокруг.
Не замечает бледную брюнетку
С этюдами на полотняном стуле.
Он, забываясь, видит Петербург,
Фонтанку, клёна выцветшую ветку,
Где статуи античные уснули —
Наш маленький Jardin du Luxembourg.

Пусть я не лажу с русским языком,
Который всё на свете позволяет:
Я вижу, что девица, над альбомом

Склоняясь со своим карандашом,
Поэта, несомненно, замечает,
И взгляд его ей кажется знакомым,
Хоть он, я знаю, с нею не знаком.

Когда она покинула постель,
Был полдень. Полукруги под глазами
Об этом говорят. Забыв об этом,
Из сада по бульвару Сен-Мишель,
Высокими любуясь небесами,
Последуем тихонько за поэтом.
Сейчас он кончит эту канитель,

Сорбонну он оставит справа, мост
Пройдёт, спеша. Юстиции дворец он
Оставит слева — мне уж не угнаться
За ним, мой путь, ей-ей, не так уж прост!
Но вот домой приходит наконец он.
Ему осталось с мыслями собраться,
А мне — покинуть мой завидный пост.]

(...)

Брань в адрес анонимного «журнального болвана» на стр. 105 не делает Вам чести и скорее воспринимается как собственный комплекс, не веришь тогда в искренность начала стихотворения и в способность выносить свою судьбу. И еще придумайте что-то с римлянкой, ударение должно быть на месте, Вы и сами очень не любите вольностей с языком, и это хорошо. [Здесь мне тоже без длинной автоцитаты не обойтись. Стихотворением *В дождик, на проспекте Смирнова* я дорожу; слово с неправильным ударением заменил; а «брань в адрес журнального болвана» считаю более чем оправданной, она вообще тут — главное; от болванов вроде Злотникова, Полевого и им подобных я натерпелся вдосталь:

Вечер пасмурный, вкус неудачи
На губах, нерешенной задачи
Вкус — горчинка, маслина, миндаль.
Длится пауза... Тянется запах

Тополей. Просит веточек слабых
Ветер. Чахнет апрельская даль.

Дождик, лей! Я ничуть не тоскую.
Счастлив я, не мечтаю другую
Взять на ярмарке судеб судьбу.
Не тянусь я к удачливой музе —
Со, своею бедняжкой в союзе
На своём выезжаю горбу.

Дождик, лей! Мы зальём невезенье.
Я уверен, найдётся спасенье.
Ты, мой ангел, присядь на диван.
Мы отложим на пятницу стирку.
Перепишем стихи под копиру —
Пусть прочтёт их журнальный болван.

От обид и душевных капканов
Нас спасает смещение планов:
Дождик, веточка тополя... Рим
С Колизеем, лазурные воды...
Здесь, на Выборгской, долгие годы
Мы о счастье с тобой говорим.

Тяжек дар притяженья земного.
Рёв машин над проспектом Смирнова,
Зелень в кадке, цветы на окне —
Всё, что выхватит ум наудачу,
Приземляет мою неудачу —
Тяжелей, но спокойнее мне.

Неудача моя, не чужая.
Счастлив я! Дождик льёт, утешая
Нас, — нам в пору его утешать.
Сколько радости! Дождик, растенья,
Приглушенного слова рожденье —
Вот оно начинает дышать.

Сколько радости! Милое слово!
Ничего мне не помнится злого.

Лист газетный под локтем хорош:
Вот усач в гимнастёрке, землянка,
Каска... Рим, побережье, смуглянка,
И малыш на китайца похож.

Всё вокруг происходит недаром.
Вот, в халатике сестрином старом
Ты, мой ангел, и том Куприна
На коленях... Как слышен на пятом
Рёв моторов! На склоне покатом
Влажной крыши — антенна видна.

Но пора... Ты, усач в гимнастёрке,
Ты, антенна, застрявшая в фортке,
Рим, кадушка со щучьим хвостом,
Побережье, забытая каска,
Дождик, всхлипы машинного лязга,
Куприна лениздатовский том,

Все участники прочного счастья,
Все, кто в нём принимает участие,
Даже ты, неудача моя, —
До свиданья! До встречи! До скорой!
И до новой разлуки, которой
Ты с собой уравниаешь меня.]

(...)

[Обрываю на этом критику доброй и умной Сергеевой. Оба тогдашних портрета, её и мой, обрисованы достаточно. Вот концовка её письма:]

Юрий Иосифович, очень бы хотелось, чтобы Вы мои замечания восприняли верно, это не любовь к выискиванию «блох», а горячее желание видеть сборник (в котором уже много хороших стихов) цельным и значительным. Первая книга поэта, по-моему, самая ответственная. Если понадобится после кое-каких раздумий и переработок, после изменения состава посоветоваться с нами, присылайте рукопись опять. И вообще я надеюсь наши деловые контакты будут продол-

жаться. Если будете в Москве, заходите в Литконсультацию. Наш телефон: 291-78-64. Я прошу Вас прислать на мое имя несколько стихотворений, я их сейчас назову, если среди них будут такие, что пошли в «Родники», тогда добавьте по собственному усмотрению. Хочется показать стихи с целью напечатать одну или две подборки. Конечно, нельзя сказать заранее, что из этого выйдет, но попытаться стоит [не вышло ничего]. Вот эти стихи: стр. [следуют номера страниц; всего 20 стихотворений]. Желаю Вам хороших стихов и всего самого доброго.

С уважением

Редактор Литконсультации

Союза писателей СССР —

Л.Сергеева

Драгоценная Людмила Георгиевна! Как бы мне хотелось обнять её... или хоть увидеть, потому что и этого не случилось. Но в ту пору, в декабре 1973 года, моя реакция была другой: благодарность, удивление — и соображения практического порядка, чуждые всякой сентиментальности и без тени обиды. Я тогда смотрел в будущее, не в прошлое, и письмо прочёл по диагонали. Главное в нём было вот что: Афанасьев предлагает передать рукопись в московский *Советский писатель*, а Сергеева не согласна с этим: считает, что рано, нужно ещё «поработать над рукописью».

Благодарность понятна: мне пытаются помочь — и кто? человек посторонний, а при этом умный, культурный и, нужно полагать, влиятельный. Удивление вообще не покидало меня в те годы: надо же, когда пишешь *в четверть силы* и словно бы не вполне всерьёз, к тебе начинают относиться серьёзно! Вдобавок оба они, и Сергеева, и Афанасьев, носители таких пристойных русских фамилий, не морщились от моей, неудобопроизносимой местечковой и от моего отчества... будто и не было вокруг гадостного, подспудного, припорошенного идеологией, подлого советского антисемитизма, в моей ленинградской жизни заявлявшего о себе на каждом шагу, на каждом углу! Чудеса, да и только.

Что до практических соображений, то в меня заронили надежду слишком лучезарную и оттого губительную. Расстояние от меня до московского (всесоюзного) издательства *Советский писатель* при правлении (!) союза писателей СССР измерялось астрономическими единицами, световы-

ми годами. Я и на ленинградский-то Совпис смотрел, как муравей на Эйфелеву башню (на Лениздат даже и не смотрел; туда с моей фамилией не пускали, а третьего издательства для «начинающих» в этом пятимиллионном городе не было).

Я ответил Сергеевой незамедлительно, в самый день получения её письма (нужно полагать, посланного через *экспедитора*):

12 декабря 1973, Л-д

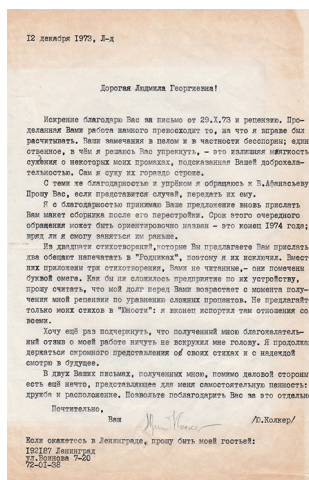
Дорогая Людмила Георгиевна!

Искренне благодарю Вас за письмо от 29.X.73 и рецензию. Прделанная Вами работа намного превосходит то, на что я вправе был рассчитывать. Ваши замечания в целом и в частности бесспорны; единственное, в чём я решаюсь Вас упрекнуть, — это излишняя мягкость суждения о некоторых моих промахах, подсказанная Вашей доброжелательностью. Сам я сужу их гораздо строже.

С теми же благодарностью и упрёком я обращаюсь к В. Афанасьеву. Прошу Вас, если представится случай, передать их ему.

Я с благодарностью принимаю Ваше предложение вновь прислать Вам макет сборника после его перестройки. Срок этого очередного обращения может быть ориентировочно назван — это конец 1974 года; вряд ли я смогу заняться им раньше [не смог заняться вовсе; в конце 1974 года я занимался преимущественно ручной стиркой детского белья — в ледяной воде (горячей в нашей коммуналке не было)].

Из двадцати стихотворений, которые Вы предлагаете Вам прислать, два обещают напечатать в «Родниках», поэтому я их исключил. Вместо них приложены три стихотворения, Вами не читанные, — они помечены буквой омега. Как бы ни



сложилось предприятие по их устройству, прошу считать, что мой долг перед Вами возрастает с момента получения мной рецензии по уравниванию сложных процентов. Не предлагайте только моих стихов в «Юности»: я вконец испортил там отношения со всеми.

Хочу ещё раз подчеркнуть, что полученный мною благодарственный отзыв о моей работе ничуть не вскружил мне голову. Я продолжаю держаться скромного представления о своих стихах и с надеждой смотрю в будущее.

В двух Ваших письмах, полученных мною, помимо деловой стороны, есть ещё нечто, представляющее для меня самостоятельную ценность: дружба и расположение. Позвольте поблагодарить Вас за это отдельно.

Почтительно,
Ваш

Ю. Колкер

Если окажетесь в Ленинграде, прошу быть моей гостьей:

192187 Ленинград
ул. Воинова 7-20, 72-01-38

Здесь мною указан уже мой адрес, не тёщин: адрес нашей трущобной коммуналки, где Тане, Лизе и мне предстояло прожить десять лет до эмиграции... а Лизе ещё предстояло родиться через месяц и четыре дня, в январе 1974 года... Въехали мы с Таней в нашу трущобу 9 октября 1973 года.

Дальше — перерыв до 1977 года. Второго макета сборника я Сергеевой не посылал. Не до того стало.

Люди иногда катастрофически меняются за короткое время. С 1973 года по 1977 год для меня сменилась эпоха. Моя Атлантида, с её брюсовским орихалком, где люди «жили, как дети с верой в волшебные сны», опустилась на морское дно. Счастье, ни в чём по видимости не изменившись и оставаясь счастьем, стало — вот ведь как иной раз бывает — в то же самое время и несчастьем, блоковским гибридом: «радостью-страданием». Социализация и внезапная взрослость — вот что разительным образом изменило мою вселенную. Небо схлопнулось. Стихи, составлявшие мой воздух, — и те отступили.

В 1977 году, на минуту вынырнув из отчаяния нашей беспробудной иррешенской жизни, я вспомнил мою Атлантиду во всём её недавнем величии, вспомнил о Сергеевой, в которой промелькнуло что-то человеческое, написал ей (уже совсем другой рукой, не той, что в 1973 году; письмо не сохранилось), спросил, можно ли прислать новые стихи, и получил ответ (от 1.07.77), опять — я не обманулся в ней! — человеческий, не чиновничий (хоть и под такой же нечеловеческой шапкой: ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР и т. д.):

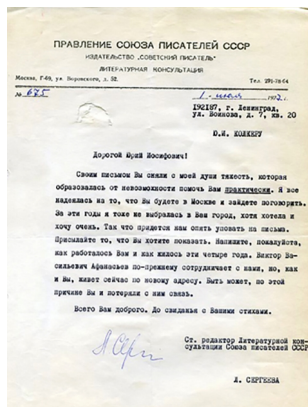
Дорогой Юрий Иосифович!

Своим письмом Вы сняли с моей души тяжесть, которая образовалась от невозможности помочь Вам практически. Я все надеялась на то, что Вы будете в Москве и зайдёте поговорить [мысль правильная: полезно увидеть человека, которому помогаешь; доверие возникает при личной встрече; но поездка в Москву была для меня пустой тратой денег; да-да, при тогдашней дешевизне билета он был мне не по карману]. За эти годы я тоже не выбралась в Ваш город, хотя хотела и хочу очень. Так что придется нам опять уповать на письма. Присылайте то, что Вы хотите показать. Напишите, пожалуйста, как работало Вам [sic! это она о стихах так говорит! не о подлой советской «работе»] и как жилось эти четыре года. Виктор Васильевич Афанасьев по-прежнему сотрудничает с нами, но, как и Вы, живет сейчас по новому адресу [заметила мой новый адрес! ну, разве она советский человек?!]. Быть может, по этой причине Вы и потеряли с ним связь.

Всего Вам доброго. До свиданья с Вашими стихами.

Ст. редактор Литературной консультации Союза писателей СССР

Л. СЕРГЕЕВА



Сергеева, как видно из этого письма, возвысилась в должности: из редактора стала старшим редактором... не стала бы, допускаю с некоторой степенью вероятности, если бы слишком уж усиленно «помогала практически» таким, как я... Замечаю это повышение в должности спустя десятилетия; в 1977 году я его не заметил, похвалим за это меня тогдашнего, а меня теперешнего осудим.

Ещё одно. Делаю лирическое отступление. Не знаю, замечал ли кто-либо когда-либо этот пустячок: устройство советского и, в частности, ленинградского почтового индекса. Я — заметил ещё в те давние годы. Индекс нашей проклятой коммуналки был такой: 192187. В московских индексах первые две цифры были 10, 11 или 12, а в ленинградских — не 13, как можно было бы допустить из значения города (ведь, кажется, ясно, что — второй после Москвы), а 19. То есть индекс был устроен так, чтобы ленинградцы не зазнавались; не первым идёт номером Ленинград после Москвы: вот смысл этой девятки. Вражда двух столиц перепрыгнула через идеологию и даже через этнос. Руками большевиков (не их головами, они не ведали, что творили) допетровская Московия взяла реванш над петровской Россией. Большевицкая Москва держала бывшую столицу в чёрном теле, мстила ей за Пушкина, возможного только в петербургской России, за «окно в Европу». Это отношение во всём сказалось, главным же образом — в сталинских репрессиях, нигде так не свирепствовавших, как в Ленинграде, а ещё более главным образом — в так называемой блокаде Ленинграда, которой не было. Не был город обложен немцами вкруговую, ни на крохотную секунду не собирались нацисты его «брать» (захватывать); артиллерийских снарядов по городу было за 872 дня выпущено столько, сколько одна батарея могла выпустить за неделю. Не Гитлер выморил старых петербуржцев голодом, а Сталин.

Возвращаюсь к повествованию. Я в 1970-е годы увлекался Боратынским — и недоумевал: отчего ни один советский источник не хочет объяснить его проступок в пажемском корпусе, за который он угодил в солдаты. Это ведь был поворотный момент в судьбе поэта, камертон, «одушевляющий недостаток», раз и навсегда перестроивший его лиру. Лишь в 1979 году, в каком-то особом отделе Публичной библиотеки, по явному недосмотру власти предрежащей, я получил доступ к диссертации норвежца Гейра Хетсо, единственной в ту пору книге о русском поэте, объяснявшей его юношеский проступок. Но это к слову. Не в судьбе Бора-

тынского было дело (хотя и в ней тоже), а в его стихах. Думаю, что писал я к Сергеевой 1977 году в светлую минуту под воздействием стихов Боратынского, помогавших мне выжить.

Но светлая полоса у меня быстро прошла, мрак опять навалился, и мой ответ Сергеевой вышел мрачноватым:

15/VII-77, Л-д.

Дорогая Людмила Георгиевна! Мое недавнее письмо к Вам было написано в редкую минуту душевного подъема, и я почти жалею о нем. Не обижайтесь: к Вам лично я испытываю только признательность и не жду, да пожалуй и не ждал, никакой практической помощи (раньше я надеялся на свои силы, теперь — не надеюсь ни на что). Минувшие четыре года были для меня катастрофичны. Не стану вводить Вас в детали, вполне заурядные. Важно то, что мои стихи последних лет еще менее, чем прежние, пригодны для печати. Чтобы окончательно убедить Вас махнуть на меня рукой, прилагаю цикл из четырех стихотворений. Спасибо Вам за все, прощайте. Ваш,

Ю. КОЛКЕР

[К этому письму был приложен был цикл *Жизнь моего приятеля*, естественно, не о приятеле написанный, а обо мне самом. Вот три главных стихотворения это цикла:

Он под вечер садится за письменный стол
И в окно угловое глядит.
Там котельной трубы возвышается ствол,
И большая ворона сидит.

Птица тоже как будто косит на него,
Но не взглядом, сводящим с ума:
Нет, не ворон Эдгара, всего-ничего,
Городская ворона, кума.

Он бросает на прошлое мысленный взор —
Заурядное, в целом, житьё:

Неудачи, удачи... Он смотрит в упор
На беду — и не видит ее.

То и страшно, что в фокусе вечно не то,
Что бедою не стыдно назвать...
Отвлекаясь, подводные съёмки Кусто
Начинает герой вспоминать,

Тот неверный, невнятный, расплывшийся мир,
Где поверхность уже не видна,
Слух слабеет, теряется ориентир,
Да и жизни другая цена.

И пока его мысль подбирает слова,
Сквозь хандру пробиваясь с трудом,
Цепенеют деревья, спадает листва,
И вода покрывается льдом.

Нельзя сказать, от поминутной злобы
Или от нескончаемой тоски,
Мерещатся ему крюки и скобы,
Крюки и скобы, скобы и крюки.

Он со стола сметает на пол крошки
И смотрит в угол, где снуют в пыли
Различные задвижки и *заложки*,
Щеколды, шпингалеты, костыли.

Прохожие, как рыбы в водоёме,
Ему навстречу разевают рты:
Он ничего не замечает, кроме
Крюка в стене, крюка и пустоты.

Он вглядывается, как в сны цветные,
В спешащий человеческий поток,
И видятся ему крюки стальные,
Надежно ввёрнутые в потолок.

Восседает Смердис на троне,
головой касается неба,

Вкруг него проворные слуги,
 вкруг него послушные жёны.
Что-то мне не уснуть сегодня,
 говорю я, и свет включаю.
Со стола, из невытой чашки,
 осторожно взлетает муха.

Муха бродит по карте мира,
 засиделась в Карибском море,
Задержалась почистить лапки
 меж Гренландией и Канадой.
Восседает Смердис на троне,
 говорю я себе,
В коммунальном сыром сортире,
 и под локтем чувствую стену.

Совершив круиз по Европе,
 возвращается муха в чашку.
Что-то мне не уснуть сегодня,
 говорю я, свет выключаю.
Чуть поскрипывает лежанка,
 барабанит дождь по карнизу.
Восседает Смердис на троне,
 головой касается неба.]

Вот на эту-то мою «почтовую прозу» (говоря словами Боратынского) и на эти отчаянные стихи Людмила Георгиевна и откликнулась письмом драгоценным и совершенно особенным: она, пусть человек добрый и умный, но посторонний, москвичка, советская элитарная чиновница, отвечает мне в частном порядке, не на бланке под всемирно-исторической шапкой нелепых названий, отвечает от руки и от сердца:

21 июля 1977,
Москва

Дорогой Юрий Иосифович!

Не знаю, зачем пишу Вам, знаю, что поступаю бессмысленно и даже глупо. Но не написать не могу — Ваше письмо меня ошеломило. А от этого зловещего скрипучего «прощай-

ните себя сегодняшнего и непременно найдёте, зачем Вам все эти мучения были посланы. А может, даже будете благодарить судьбу.

Ваша

Л. Сергеева

Людмила Георгиевна написала и отправила это письмо 21 июля 1977 года, в четверг, а получил я его (ибо и конверт я сохранил) 24 июля, в понедельник. Конверт замечателен: простая бумага бежевого цвета, без пошлых советских картинок, без этого убогого разграфления: «Куда... Кому». В моём имени на конверте — редкое дело — правильный порядок слов: «Юрию Иосифовичу Колкеру», причем фамилия почему-то подчёркнута двумя чертами...

Нет-нет, жизнь ещё не кончена, если живут на свете такие люди! Атлантида вернётся! — Вот что мелькнуло на крохотную секунду в июле 1977 года в моём помраченном сознании. Сейчас бы я выразил мои тогдашние чувства иначе: Россия ещё жива в сердцах последних русских людей, уцелевших в подлой Совдепии.

Я прихожу домой к шести вечера, после пустого, глупого, унижительного, но изнурительного «рабочего дня» в псевдоучёном заведении с апокалиптическим именем, где, однако ж, нет ни тени, ни запаха науки, где моя квалификация используется на полпроцента, а душевный пыл и жажда служения людям попираются; прихожу, побывав по дороге в страшных советских магазинах, то есть опять пройдя через унижения и хамство; прихожу, не купив того, что меня просили купить, потому что хоть покупатели в «гастрономах» толпятся и огрызаются, но прилавки уставлены тем, что никому не нужно. По пути я перехожу Фонтанку у Летнего сада. На минуту отчаянье и раздражение отпускают меня. Я шепчу: «Не нужен мне берег советский, оставь меня в Летнем саду». Была патриотическая советская песня со словами (чуть ли не Исаковского): «Не нужен мне берег турецкий», это — про белых, эвакуировавшихся (таков был принятый у них термин) из Крыма через Стамбул; мой вариант, который шепчу, — тоже, конечно, патриотический: я ненавидел Совдепию, но любил Россию... воображаемую Россию!

Я прихожу на улицу Воинова, бывшую Шпалерную, в дом семь постройки XIX века, прохожу подворотню с дворницкой (чугунные ворота

всегда отворены, а в новом веке их закроют на замок), ворота, по высоте и ширине рассчитанные на карету, пересекаю петербургский двор-колодец. Ветхая дверь парадной (в сущности, это не парадная, а чёрный ход), естественно, не на запоре; не было тогда запоров. Ступени крыльца под моими ногами разбиты, но это камень. Камнем же, разбитым и провалившимся, вымощен пол первого этажа. Ступени из того же камня, отполированного подошвами, ведут на третий этаж под крышей, к квартире 20, коммуналке из четырёх комнат, где живут пять семей. По пути, вниз, в разбитом почтовом ящике (эти ящики, неважно, деревянные или железные, всегда и везде были добрыми людьми сломаны — бескорыстно сломаны, из любви к искусству)... — в почтовом ящике нахожу письмо из Москвы.

Я вхожу в квартиру через кухню; это единственный вход, другого нет; здороваюсь со стряпающими соседками, они неприветливо отвечают. Кухня невелика, пол в ней дощатый, крашеный багровой охрой, кривоватый; газовая плита с четырьмя конфорками одна на двенадцать человек. Потолки высокие, до них с мелкой починкой не дотянуться; да и кто будет заделывать все эти трещины, дыры в штукатурке или хоть паутину коммунальную снимать?

В комнате о семи углах с двумя окнами, выходящими на крышу котельной, меня встречает худая, бледная, болезненная женщина, с нею девочка трёх лет, тоже худая, с забинтованными ладонями (нейродермит) и диатезным румянцем на щеках, да сверх того беспородная собака («сука серая, б/п», как значится в её ветеринарном паспорте) по имени Мутти, всегда чуть-чуть испуганная, хоть здесь её любят, у которой явно была несчастливая юность.

Двумя полуразвалившимися шкафами в комнате отгорожен угол с окном: это мой крохотный кабинет. Справа, у другого окна — детская; над кроватью ребёнка обвалилась штукатурка. Остальная часть — это гостиная, столовая и спальня в одно и тоже время, потому что тут уж ничего не отгородить. Овальный стол, по контуру не эллиптический, а с причудливым абрисом, поскрипывающий и чуть-чуть покосившийся, начала XX века, если не старше, с гнутыми ножками, покрыт клеёнкой; старые ободранные венские стулья, из тех, что в 1970-е и 1980-е выбрасывали на помойку, ещё крепки, ибо рассчитаны были не на одно поколение. А вот и семейная кровать, семейная достопримечательность: матрац, сто-

ящий на четырех массивных деревянных ящиках из-под пива. Нищета устрашающая; но, конечно, не она причиной моего угнетённого состояния; не в первую очередь она.

Я вскрываю конверт, мы вместе с Таней читаем письмо от Сергеевой. Сердце у меня на минуту подпрыгивает, потом сжимается — в ответ на эти поразительные слова «защемило сердце и не было сил идти домой»... — потом я говорю Тане, что кефиру купить не удалось, безнадёжность возвращается во всём своём советском великолепии, и письмо я откладываю...

Кефир — не более чем кефир... Один математик, друг поэта В. С., стихи которого я люблю всю жизнь, подал документы на выезд. Оправдывая это своё решение, он сказал: «Понимаешь, хочу после рабочего дня заходить в магазин и покупать себе кефир...». В. С., любивший друга, ответил с грустью: «Ну, если в этом дело...» — что означало: ну, если кефир для тебя дороже родины... В ту пору это висело в воздухе среди русской интеллигенции: делить страдание с народом, взять иго большевизма на себя вместе с «малыми сими», не оставлять их одних в беде. Я тоже держался этой карикатурной формы народничества; не понимал, что отсутствие кефира и отсутствие свобод имеют общий корень, свидетельствуют в точности об одном и том же. Совдепия — исторический и биологический продукт «малых сих», в каждом думающем человеке видевших врага, — была родиной для них, не для нас. Отсутствие свобод есть отсутствие совести. Не в кефире было дело для математика...

Слова первой части письма Сергеевой:

«Не знаю, что именно случилось с Вами, думаю, то же, что и со всеми нами — со стороны это выглядит не только заурядным, а даже почти пошлым. А внутри рождает такую боль и такое отчаяние, что меркнет свет и уходит вера...»

я в 1977 году твержу на память как лирическое стихотворение, столько в них правды и душевной красоты, — но с годами и они постепенно стираются в моей душе, тепловой удар ослабевает. Немудрено. Слишком многое случилось. Другие удары и потрясения идут сплошняком. Таня чуть не умирает у меня на руках в печально известной ленинградской больнице имени 25 Октября; выходит оттуда инвалидом. Привычная система ценностей начинает обрушиваться, новая воздвигается не разом. Из учё-

ных я ухажу в кочегары, из русских — в евреи. Годы отказа, потом эмиграция. Шесть лет в Иерусалиме были счастливыми, но и тяжелыми — для таких небожиков, неприспособленных к жизни людей, как мы. Наша вторая эмиграция, наша жизнь в Британии, период тоже счастливый, началась для меня работой на русской службе Би-Би-Си, о которой доброго слова не скажешь. Бедность (несопоставимая, конечно, с советской нищетой) всюду сопутствовала нам и не мешала быть счастливыми, но жизнь, вообще говоря, никогда нас не баловала, не давалась легко; работать приходилось много, я бы сказал: слишком много; болезни не отпускали.

Не от душевной чѣрствости, а от перенасыщенности нашей жизни, от жизненных передраг потрясающее письмо Сергеевой отступает на второй план, да и память подводит меня... Дошло до того, что в моих воспоминаниях *Из песни злого не выкинешь* (написанных, между прочим скороговоркой, почти экспромтом, на тычке, в короткие промежутки между работой у шлифовального станка на фабрике пластиковых изделий, где я оказался после тринадцати лет на Би-Би-Си), тепловой удар этого письма и потрясшие мне душу слова я приписываю не Сергеевой, а Афанасьеву! Надо же было такому случиться! Во втором издании поправляю себя... «Со всеми нами!» — вот эпицентр теплового удара. Как жаждал я этой человеческой общности, не скажу «чаши на пире отцов», а хоть места в собрании достойных, пусть и гонимых! Как редко сообщалось мне это сладостное чувство причастности к общине мне подобных! Сейчас думаю, что место это часто, если не всегда, достигается через одиночество.

Тут к месту спросить: что, собственно, имела в виду Сергеева? О чём её письмо? Правильно ли она поняла меня? Правильно ли я её понял?

Сейчас верю: да, в главном мы поняли друг друга правильно — и совершенно не случайно оба не пожелали войти в детали, унизиться до деталей: до того, что «выглядит не только заурядным, а даже почти пошлым» (как веско, как точно она это сказала!). Письмо же её — о жизни, какую она была в том месте, в то время.

Постигшая «всех нас» катастрофа, если говорить совсем коротко, именовалась советской властью. Случилось с нами то, что мы оба — Сергеева, быть может, раньше, а я, вероятно, позже, — утратили вынесенные из детства и юности иллюзии, с ужасом и отвращением увидели волчью природу общества, в котором нам приходилось тогда жить.

Если же говорить чуть менее коротко, то Сергеева и другое имеет в виду: катастрофа глобальная — бесчеловечная бессовестная власть — питала, множила и удешевляла катастрофы частные, личные, отчего жизнь зачастую уже и вовсе становилась невыносимой:

«Через свои катастрофы, одна другой неожиданнее, я проходила несколько лет подряд. А с отчаянием (сперва оно было жгучим, страшным, а позже — тихим, даже смиренным) во-жусь и сейчас...»

— всё это и я мог бы сказать о себе.

Спасибо Сергеевой, что она не договаривает. Я договарю за неё десятилетия: любовь, семья, дружба, поприще — всё выворачивалось наизнанку, всё становилось проклятием и ужасом в бесчеловечной Совдепии. Любовь к родной культуре (то есть к родине), участие в ней, общение с близкими, с себе подобными — всё это было скомпрометировано, исковеркано, отнято. Личные катастрофы могли принимать формы самые разные: разрыв с любимым человеком, болезнь или смерть любимого человека, охлаждение любимого человека (к любимому человеку), профессиональные неудачи, — и, конечно, все они, эти формы, в любом обществе случаются, в любой стране неизбежны между людьми, — но нигде в мире не носили они в себе того неопишемого уродства и ужаса, что в Совдепии. Советское, учили нас, значит отличное; на деле советское значило отличное от общечеловеческого.

Не сомневаюсь, что Сергеева имела в виду это и подписалась бы под этим моим частным определением.

С другим, к чему я пришёл позже, она, возможно, не согласилась бы. Русского народа, народа Пушкина и Толстого, не стало после «великого Октября» и «философского парохода», — русского же народа в определении писателей и народнических мечтателей XIX века, русского просто-народа, христолубивого, нравственного, доброго, душевного, свободолубивого (лишь временно рабствующего) — вообще никогда не было. Этот русский народ оказался мифом, выдумкой «великой русской литературы» XIX века. Советская власть, не дававшая нам дышать, оказалась на поверку исконным и посконным продуктом русской черни, веками пребывавшей и по сей день пребывающей, с высшими образованиями и учёными степенями, на доисторическом уровне, никогда не поднимавшейся

до состояния и достоинства народа. В большевизме, каким бы марксистским цилиндром ни прикрывал он свою плешь, не просто Московия разделалась с Россией, не просто Москва взяла реванш у Петербурга, захлопнув окно в Европу, — в нём Малюта Скуратов задушил Пушкина — «и злая чернь рукоплескала»... Тогда, там, в те катастрофические годы, я видел вокруг себя только чернь, только доисторическую подлую тупую толпу, выталкивавшую меня из истории, из человечества, — но жил я, как и все вокруг, с унаследованной любовью к «народу» и с верой в него: жил неискоренимым русским народопоклонничеством, особенно сильным, посмотрим правде в глаза, среди русских инородцев, в первую очередь среди выходцев из евреев, пытавшихся вопреки всему взвалить себе на плечи ценности уничтоженного русского народа, продолжать высокий русский XIX век в среде доисторической черни, в эпоху большевизма.

Любовь обманула: вот о чём письмо Сергеевой. Любовь, взятая в самом широком смысле этого слова, обманула всех нас. Сергеева была права: со мною, в свой черёд, случилось то же, «что и со всеми нами».

Письмо Сергеевой от 21 июля 1977 года вернулось в мою жизнь с новой силой в 2010 году. Найдя и перечитав его, я вспомнил, что я в долгу перед этой женщиной, и нужно попытаться хоть как-нибудь долг вернуть. Она ведь пишет: «Я не прощаюсь с Вами навсегда, потому что слишком хорошо изучила «науку расставанья»» (мандельштамовские, между прочим, слова, рискованные в Совдепии 1977 года, где Мандельштам был под запретом; а «светлая печаль» в её письме — пушкинская).

В сетевом электронном справочнике я нашёл адрес Сергеевой. Он оказался тем же самым, что 33 года назад. Собравшись с духом, я написал ей:

Боремвуд,
28 октября 2010
Л. Г. Сергеевой:
Малая Филёвская 16 кв. 46
Москва 121433

Дорогая Людмила Георгиевна,
быть может, Вы вспомните моё имя. Если верить справочнику, Ваш адрес не переменялся.

Мы с Вами никогда не встречались, мы переписывались

в незапамятные 1970-е. Вы мне писали как консультант СП СССР, я Вам — как молодой автор, рекомендованный В. В. Афанасьевым. Эту переписку я сохранил. Последняя пара писем в ней выходит за рамки деловых отношений. Я посетовал на бедственный ход моей жизни; Вы (человек посторонний!) ответили такими словами участия и поддержки, что я пронёс их через всю жизнь. Это Ваше письмо от 21 июля 1977 и даже конверт, в котором оно пришло из Москвы в Ленинград, сейчас передо мною. Верю, что тогда я поблагодарил Вас [теперь я вовсе в этом не уверен], но хочу поблагодарить ещё раз. В ту пору Ваше письмо стало для меня глотком ключевой воды в пустыне. Тогдашнее моё состояние сам я реконструирую сейчас только усилием воображения. Более того: кажется, Вы неправильно истолковали мою беду, — об этом я только сейчас начинаю догадываться, — но дела это не меняет: всё равно Ваши слова были для меня целительными, да и предсказание Ваше сбылось: с бедой я справился. Спасибо Вам!

Справочник, подтвердивший мне Ваш давний адрес, не даёт адреса В. В. Афанасьева. Виктора Васильевича я потерял из виду в 1970-е — и тоже хотел бы ещё раз поблагодарить... да не знаю, не поздно ли собрался сделать это.

Почтительно,

Ваш

Юрий Колкер

(Это *почтительно* в моих письмах, щит надёжный, позволяющий и поклон отвесить, и от насмешки заслониться, было заимствовано мною в 1973 году из ответного письма ко мне Межирова.)

Сергеева ответила через месяц, но, как видно из её ответа, немедленно по получении моего письма:

Москва, 1 декабря 2010 года

Дорогой Юрий!

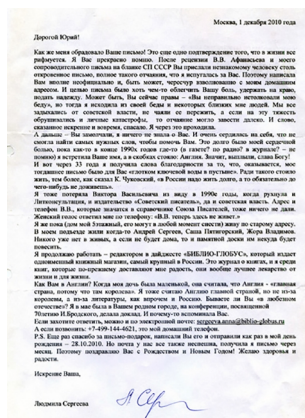
Как же меня обрадовало Ваше письмо! Это еще одно подтверждение того, что в жизни все рифмуется. Я Вас прекрас-

но помню. После рецензии В. В. Афанасьева и моего сопроводительного письма на бланке СП СССР Вы прислали незнакомому человеку столь откровенное письмо, полное такого отчаяния, что я испугалась за Вас. Поэтому написала Вам вполне неофициально и, быть может, чересчур взволнованно с моим домашним адресом. И целью письма было хоть чем-то облегчить Вашу боль, удержать на краю, подать надежду. Может быть, Вы сейчас правы — «Вы неправильно истолковали мою беду», но тогда я исходила из своей беды и некоторых близких мне людей. Мы все задыхались от советской власти, не чаяли её пережить, а если на эту тяжесть обрушивались и личные катастрофы, то отчаяние могло завести далеко [как это верно, как точно!]. И слово, сказанное искренне и вовремя, спасало. Я через это проходила.

А дальше — Вы замолчали, я ничего не знала о Вас. И очень сердилась на себя, что не смогла найти самых нужных слов, чтобы помочь Вам. Это долго было моей сердечной болью, пока как-то в конце 1990х годов где-то (в газете? по радио? в журнале? — не помню) я встретила Ваше имя, а в скобках стояло: Англия. Значит, выплыли, слава Богу!

И вот через 33 года я получила слова благодарности за то, что, оказывается, мое тогдашнее письмо было для Вас «глотком ключевой воды в пустыне». Ради такого стоило жить, тем более, как сказал К. Чуковский, «в России надо жить долго, а то обязательно до чего-нибудь не доживешь».

Я тоже потеряла Виктора Васильевича [Афанасьева] из виду в 1990е годы, когда рухнула и Литконсультация, и издательство «Советский писатель», да и советская власть. Адрес и телефон В. В., которые значатся в справочнике Союза Писателей, тоже ничего не дали. Женский голос ответил мне по телефону: «В. В. теперь здесь не живет» [он, как я потом слу-



чайно узнал, в некотором роде, тоже эмигрировал: ушёл в монахи].

Я же пока (дом мой 5этажный, его могут в любой момент снести) живу по старому адресу. В моем подъезде жили когда-то Андрей Сергеев [не её ли муж?], Саша Пятигорский, Жора Владимов. Никого уже нет в живых, а если не будет дома, то и памятной доски им некуда будет повесить.

Я продолжаю работать — редактором в дайджесте «БИБЛИО-ГЛОБУС», который издает одноименный книжный магазин, самый крупный в России. Это журнал о книгах, и я среди книг, которые по-прежнему доставляют мне радость, они вообще лучшее лекарство от жизни и для жизни.

Как Вам в Англии? Когда моя дочь была маленькой, она считала, что Англия — «главная страна, потому что там королева». Я тоже считаю Англию главной страной, но не из-за королевы, а из-за литературы, как впрочем и Россию. Бываете ли Вы «в любезном отечестве»? Я в мае была в Вашем родном городе, на конференции, посвященной 70летию И. Бродского, делала доклад. И почему-то вспоминала Вас.

Если захотите ответить, можно и по электронной почте: [следует адрес]. А если позвонить: [номер телефона], это мой домашний телефон.

P.S. Еще раз спасибо за письмо-подарок, написали Вы его и отправили как раз в мой день рождения — 28.10.2010. Но почта у нас все так же неспешна, получила я письмо через месяц. Поэтому поздравляю Вас с Рождеством и Новым Годом! Желаю здоровья и радости.

Искренне Ваша,

Людмила Сергеева

Надо же! Это анекдотическое учреждение — Литконсультация — дотянуло до 1990-х и рухнуло «вместе с советской властью»! Но ведь оно и было одним из самых ярких воплощений и олицетворений этой власти, одной из самых выразительных и уродливых её физиономий. Власть возвела писательство в дело государственное — и тем убило его. Советская литература не дала ничего равновеликого литературе русской. Всё значи-

тельное в советский период сделано вопреки советской власти и советской литературе, в обход их, — но даже это значительное (спасибо близкому присутствию советской власти!), в своей совокупности тысячекратно превосходящее объёмом русскую литературу XIX века, тысячекратно же уступает ей в своём достоинстве и значении. Не может истинный писатель хоть как-нибудь сообразовываться в своём творчестве с государством, не то что подлаживаться под государство. Писатель — всегда самозванец, авантюрист, конкистадор при начале своего поприща, и он же — государь и государство в одном лице, когда вошёл в силу. Государство политическое ему по щиколотку. Перед его мечтой любая идеология не стоит ломаного гроша. Оттого-то и литература богаче там, где меньше в ней идеологии, где дальше она от государства. Англия потому «главная страна» по части литературы, что нет и не было страны, где бы государство меньше пыталось влиять на литературу. Франция потому уступает Англии в этой прихотливой области человеческой деятельности, — уступает при всём блеске, при всей мощи её языка, куда более правильного и пластичного, чем шепелявый темзинский диалект, — что в ней, во Франции, государство издавна устремило слишком внимательный взгляд на литературу. Вспомним: ведь и самая французская академия, этот сонм бессмертных (в наши дни унизившийся до принятия в свои ряды кинематографистов) была создана ради правильности французского языка. И ещё вспомним: де Голль устроил Полю Валери «государственные похороны»! Разве возможны государственные похороны поэта в Англии, будь он хоть десять раз Шекспиром?!

Занятно было бы знать, сколько лет — сколько десятилетий — существовала анекдотическая Литконсультация и сколько тысяч людей «рвалось сквозь огонь» советских окопов в советскую субсидированную литературу! Иные и прорвались, даже — многие. «В дореволюционное время в Туле и Тульской губернии жил только один писатель, — сообщало в 1960-е годы одно советское издание, — а теперь в одной только Туле двести писателей». Тот единственный дореволюционный писатель был — Лев Толстой.

А сколько редакторов и старших редакторов сидело в этом учреждении за работой причудливой и, как говорили в те времена в том месте, «не пыльной» (дающей, заметим, среди прочих благ, ещё и некоторый простор властолюбию)?

Попробую стать на минуту адвокатом дьявола, а против меня самого — прокурором. Если бы я родился с серебряной ложкой во рту: если бы я *прописан* был «под сенью древнего Кремля» (в Совдепии эта прописка была привилегией почище любых дипломов и званий); если бы носил приличную для советского уха фамилию, скажем, фамилию моего деда: Чистяков; если бы жил в отдельной квартире и — один из ста тысяч по статистике — кормился бы любимым трудом, близким к моим интересам, — как бы повёл я себя по отношению к подлой власти и к подлой толпе моих «соотечественников»? Может, слился бы с ними, не стал бы бунтовать, не эмигрировал бы? Бог весть. Не отвечаю даже себе. Человек слаб. У Горация, Державина, Пушкина — и у тех рыльце в пушку... хотя, конечно, советской власти они не нюхали, русско-советской черни вообразить не могли. При одной мысли об отдельной *ленинградской* квартире с окнами на Неву или Мойку у меня и сейчас ноги подкашиваются, а ведь я доживаю своё в графстве Хартфордшир, в моём собственном доме, выплаченном моим (отнюдь не любимым) трудом без единой копейки от бывшей родины.

В те годы, в Ленинграде, не к столу будь помянут, я страстно хотел жить литературным трудом... не понимал, что подлинная писательская свобода не допускает этого... Но зато, спасибо Боратынскому (и библейским пророкам), понимал другое, более важное: невзгоды личные и общественные возбуждают мысль и нравственное чувство, а руку подталкивают к перу; писательство — компенсаторный рефлекс. Права Сергеева: «Вы со светлой печалью вспомните себя сегодняшнего и непременно найдёте, зачем Вам все эти мучения были посланы. А может, даже будете благодарить судьбу». Так и вышло. Благословляю тот день, когда я уехал из России. Всё-таки отвечу адвокату дьявола, моему прокурору: никогда, ни на каких условиях я не смог бы жить в отвратительной, пусть и денежной, Москве, как не смог жить в отвратительном и безденежном Ленинграде.

Девятнадцатого декабря 2010 года я ответил Сергеевой по электронной почте:

Дорогая Людмила Георгиевна,
громадное спасибо Вам за Ваше письмо, которое я получил только вчера. Оно шло восемнадцать дней. Во времена

парусного флота письма доходили быстрее.

Чтобы закрыть тему 33-летней давности: Вы, пожалуй, всё-таки в основном правильно истолковали мою тогдашнюю беду. Как и Вы, я задыхался от советской власти (а сперва намеревался с нею ужиться), именно она довела меня до самоубийственных настроений; что же до «личной катастрофы», то её не было — если не считать катастрофой нищету, полубездомность, отсутствие медицинской помощи, невозможность печататься и работать по специальности; всё это вытекало из советской власти.

Вот внешняя канва моей жизни: в 1984 году, после многих лет борьбы за выездные визы, мы эмигрировали; шесть лет прожили в Израиле (здоровье жены и дочери удалось поправить); с 1990 года живем в Лондоне, куда меня пригласила русская служба библиотек (о ней доброго слова не скажу). С библиотек меня вытолкали в 2002 году. Сейчас сижу на пособии, которое (кажется) обещает быть пожизненным. Я много публиковался, издал несколько книг стихов и прозы (не художественной), а в последнее время занимаюсь только своим прошлым — и вот в сентябре этого года нашёл в Питере часть своего архива 1970-х с Вашими письмами. (Тем самым я ответил на один Ваш вопрос: «в любезном отечестве» бываю; или, может быть, бывал.) В Англии, в целом, нам хорошо, но и в Израиле было хорошо — только жена страдала от хамсинов, а я не нашёл общего языка с тамошней русской литературой (только что в Денвере вышла у меня книжка воспоминаний об этом периоде). Правду сказать, в литературе я оказался неуживчив — а в те времена, когда мы с Вами переписывались, я был сама уступчивость... и как верил в русскую литературу!

Легко ли дались Вам 1990-е? Плотину прорвало, народное словотворчество вошло в свои права — но чем же оно обернулось! Сегодняшний язык москвитов не кажется мне русским. Не говорю даже о словаре: интонация фразы испорчена, смысловое ударение в ней стало английским.

Как удивительно, что я написал Вам в самый день Ваше-

го рождения! В телепатию не верю, мистику не ставлю ни в грош — и вот надо же такому случиться! Отчетливо помню, как мне хотелось в тот день Вас обнять.

Ещё раз большое Вам спасибо за всё. Окажетесь в Англии, приезжайте, пожалуйста, в гости: должны же мы увидеться?!

Ваш Юра Колкер

Моя корреспондентка подписала своё последнее письмо не Л. Г. Сергеева, а Людмила Сергеева, то есть сделала шаг в сторону дружбы более тесной, — тем же отвечаю и я, подписавшись *Юра*, как вообще всегда просил называть меня всех, чьей дружбы я удостоивался или надеялся удостоиться. Мне запомнилось, что в моё время в моём окружении люди именовались либо по имени-отчеству, либо по имени уменьшительному, а полные имена без отчеств не употребляли.

Ответ от Сергеевой тоже пришёл электронный:

2010/12/24

Дорогой Юрий!

Отвечаю с опозданием — грипповала и не была на работе.

Я с Советской властью не собиралась уживаться с 1953 года, поэтому мне было легче, чем Вам [не скрою, меня эти слова задели. Разве моя готовность ужиться простиралась дальше таковой Людмилы Георгиевны? Она работала в насквозь идеологизированной организации, но сохраняла честность, служила русской культуре. Я собирался войти в «союз советских писателей» совершенно с той же программой; да и советскую власть она почему-то величает с прописной буквы — дело чисто советское]. Поэтому проработала более 20 лет в Литконсультации, где не нужно было врать никому, и могла писать все, что хотела. Вокруг многие друзья сидели [то есть находились в заключении, в ГУЛАГе... теперь это уже пояснять нужно].

1990е дались трудно: не было работы, еды, лекарств, но помогали друзья из Литвы, Польши, Германии, а еще наде-

жда. В 2000 году все закончилось моим обширным инфарктом, а в 2001 году похоронила маму (она умерла со светлой головой на 98м году жизни).

Но, слава Богу, я все еще живу, работаю уже 10 лет в "БИБЛИО-ГЛОБУСе". Каждый год езжу отдыхать на месяц в Литву, в Палангу (люблю Балтику!), в Вильнюсе у меня много прекрасных друзей. Это для меня земля обетованная, я туда езжу уже 47 лет. Туда же мы позвали и Иосифа Бродского в 1966 году, которому там тоже было хорошо. Anna Domini ("Провинция справляет Рождество") он написал 2 января 1968 года в Паланге.

История наша не оставляет надежд, из всех реформ в России кое-что удалось лишь Екатерине Второй да Александру Второму, а все остальное шло и идет прахом. Но свобода все равно внутри нас, где бы и когда бы мы ни жили. За русский язык не волнуйтесь, он переживает не первый сильный удар и всегда выходит живым из всех переплетов. Об этом хорошая книга известного лингвиста Максима Кронгауза "Русский язык на грани нервного срыва". Я общаюсь с теми, кто говорит на хорошем русском языке, в том числе, и мои друзья-литовцы. И читаю тех, кто владеет языком талантливо. Сейчас я читаю замечательную мемуарную прозу Вашего земляка Льва Лосева "Меандр". Я нашла в нем лучшего для себя собеседника, жаль, что не были знакомы при его жизни, а могли — через Иосифа.

В Вашей снежной и благополучной Англии я желаю Вам и Вашей семье здоровья и радости в Новом году!

PS Спасибо за приглашение в гости, но сил и денег пока хватает только на Литву, хотя во Франции, Италии и Германии я бывала. Англия пока остается мечтой.

Ваша ЛС

Я ответил на другой день — и ответ вышел чуть прохладнее, чем первые мои два письма 2010 года:

Дорогая Людмила Георгиевна, спасибо за отклик и рассказ о Вашей жизни. Надеюсь, Ваш грипп позади.

Вы пишете: «История наша не оставляет надежд... За русский язык не волнуйтесь...». По первому пункту я бы и согласился с Вами, если б сегодняшнюю вашу страну мог признать Россией. На реформу Петра Россия ответила Пушкиным, а Московия — большевизмом. Московия взяла верх над Россией. Прав Волошин: Россия не в шутку, а всерьез кончилась в 1917 (началась же в 1698 году). Что до порчи языка, то, не мне Вам говорить, на эту порчу находим сетования в клинописных табличках Ашшурбанипала, потом у Тацита... Всегда жаловались. Однако ж с языком карамзинистов, в котором заключена вся подлинная слава России, придется проститься; он уже непонятен молодым.

Вы упоминаете Бродского и Лосева. Как раз на днях я привёл в порядок свою переписку с Лосевым 1980-х годов, оборвавшуюся в связи с моей статьей о Бродском: если будет время и желание, бросьте на неё взгляд [даю URL этой статьи на моём сайте]. Мне было бы интересно услышать Ваше мнение. Портрет Лосева эта переписка дополняет.

С наступающим Вас! Желаю Вам и всем, кто Вам дорог, всего самого лучшего.

Ваш ЮК

Отвечая Сергеевой, я спешил, потому что был задет похвалой воспоминаниям Лосева. Отсюда неточности. Следовало бы говорить не о «реформе Петра», а о его перевороте. Права Сергеева: реформаторами были Екатерина Вторая и Александр Второй. Петр, не случайно не названный, — не реформатор, а революционер; отец отечества. До него России не было, была Московия, как её и называли тогда во всем мире.

Сергеева ответила не сразу, потому что заглянула в мои сочинения.

2010/12/29

Дорогой Юрий! У нас есть с Вами линии пересечения в литературе: я тоже люблю Герцена и Ходасевича (его "Евро-

пейскую ночь" читала в машинописи и восхищалась ею еще в начале 60х), как и Вы, не люблю Тургенева и Солженицына. И хотя мнения Льва Лосева о Прусте и «Школе для дураков» Саши Соколова я не разделяю, все-таки Лосев мне эстетически ближе, чем Вы, уж простите за откровенность. И с Валентиной Полухиной мы нашли общий язык при знакомстве. Впрочем, мы все трое принадлежим к одному поколению, Вы — значительно моложе. Ни в чем переубеждать Вас или спорить с Вами не стану, это занятие бесполезное для нас обоих и небезвредное для моего сердца. Спасибо за переписку [с Лосевым]. Она действительно многое прояснила для меня, об отце Льва я тоже знала немного. Надеюсь, я не обидела Вас. Я просто обозначила позиции.

Как ни назови мою страну, легче от этого жить в ней не становится. Но тут мой язык, мои друзья (хотя за границей их тоже немало), «отеческие гробы» и уйду я в эту землю. Хорошо, что Вы печтаетесь, хотите писать. Я за Вас искренне рада. Желаю Вашей семье и Вам всех благ в Новом году.

Ваша ЛГ Сергеева

Снизился, как видно из этого письма, вслед за моим тоном и тон Сергеевой... Видно и то, что Людмила Георгиевна, по присланной ссылке, прочла в сети мою переписку с Лосевым, а за нею — там есть внутренние ссылки — мою статью о Бродском и мою статью о Владимире Лифшице, отце Лосева. Прочла — и не согласилась со мною в чём-то важном. Лосев оказался Сергеевой «эстетически ближе», чем я, — но это, конечно, не только о Лосеве сказано, а ещё и о Бродском, и едва ли не в первую очередь о Бродском в связи с моей статьёй о нём. Сергеева восхищалась Бродским уже в 1960-е, я не восхищался им никогда, — этого она не могла не услышать; это разом отдалило нас.

Эстетические расхождения между честными думающими людьми — святое дело, за это скорее руку пожмёшь, чем упрекнёшь. Но правда и то, что я, конечно, хотел бы оказаться «эстетически ближе» к моей корреспондентке Людмиле Георгиевне (как и вообще ко всем и каждому на этом свете, потому что душа сочинителя жаждет именно близости), чем чужеватые мне Лосев и Бродский, — не скрываю этого: хотел бы; и огорчился, увидав из письма, что вышло иначе, — как и она, нельзя сомне-

ваться, огорчилась при чтении моих сочинений.

При этом в главном мы с Сергеевой были и остались единомышленниками. Не в Евтушенке или Ахмадулиной увидела она поэта в 1960-е годы, не к ним, а к Бродскому, пронесла любовь через десятилетия, — слава богу, что так; мы по одну сторону главного барьера! Никогда я не сомневался в подлинности Бродского, но сердцу не прикажешь. Даже Лосев, несмотря на его вассальное подчинение Бродскому и престранный интерес к Солженицыну (наша эпистолярная размолвка с Лосевым и его не безусловно корректный поступок с моей рукописью в 1987 году тут в счёт не идут), несмотря даже на его рифму «настрадалась/Нострадамус» и его излишнюю *гибкость* (название *Меандр*, при всём сонме вызываемых им ассоциаций, неудачно потому, что как ни поверни, а и представление о змее оно тоже непременно вызывает), — даже и Лосев мне несопоставимо ближе всех выкормышей субсидированной литературы, ближе большинства писателей моего времени; ближе и умом, и совестью, и эстетикой.

И на всё сто процентов права Людмила Георгиевна, когда причиной нашей с нею эстетической неблизости выставляет принадлежность к разным поколениям. Были времена, когда принадлежность к языковой среде и национальная лояльность, принадлежность к общественному слою и кровное родство определяли в главном человеческую близость, — настали времена (может быть, в 1968 году настали), когда принадлежность к поколению, к возрастному слою задвинула все эти старые представления в дальний угол. Поколение стало народом, социальным классом, семьёй. Людям первой русской эмиграции, кто любил песни Вертинского, казались дикарями люди третьей эмиграции, те, кто любил песни Высоцкого. С тех пор общественные перемены пошли ещё быстрее, и сегодня трудно вообразить городскую семью, где у внуков, с одной стороны, и дедушек с бабушками, с другой, есть общие интересы, представления, ценности... Вот парадокс: чем больше людей на свете, тем больше человек одинок...

Всё это так. Не померкло для меня никогда мною не виданное, только воображаемое, лицо Людмилы Георгиевны Сергеевой, лишь взаимного тепла между нами стало меньше, — благодарность же к ней за письмо 1977 года была и осталась такова, что тут и охлаждения не могло случиться... Но, конечно, упоминание Полухиной изменило дело. Поколение поколением, сказал я себе, а друзей и в поколении нужно выбирать

осмотрительнее.

Я ответил Сергеевой по электронной почте 29 декабря 2010 года:

Дорогая Людмила Георгиевна, спасибо за письмо. И за откровенность тоже спасибо: что же тут прощать? — прощать можно неоткровенность. Насчет Лосева и других писателей — разумеется, мы спорить не станем. Изумило меня то, что Вы «нашли общий язык с Полухиной». Всё-таки первое, что нельзя о ней не сказать, это что она глупа и бескультурна. Задавшись целью, трудно найти человека, до такой степени не понимающего стихов... Если, однако, всю правду говорить, то я тоже не сразу её раскусил, но в 1980-90-е годы я уж в очень стесненных обстоятельствах находился...

Еще раз — с Новым годом Вас. Ваш Юра

Понятно, что продолжать эту переписку не было никакой возможности ни для Сергеевой, ни для меня. В следующий день её рождения, 28 октября 2011 года, я полдня проходил из угла в угол — и всё-таки не написал ей поздравления.

Что же вышло? Каков урок, вынесенный мною из всего этого многолетнего переживания? А вот каков: не стоит пытаться возрождать давнюю несостоявшуюся дружбу. Если дружба не состоялась, она не могла состояться. И чувство благодарности, самое искреннее, самое горячее и животворное, не должно всё-таки затмевать белого света и здравого смысла, даже если прошлое стало твоим настоящим. «Возлюбленную к жизни не вернёшь...» — этот мой стих сказан о родине, но и о человеке можно сказать такое.

2015-2026

МАЙЯ БОРИСОВА

В декабре 1971 года так называемая конференция молодых писателей Северо-Запада СССР, проходившая в Ленинграде, рекомендовала мои стихи для издания отдельным сборником. Эпоха на дворе стояла крошечная. В печать никого не пускали. Худшего места, чем Ленинград, для писателя на всём белом свете не было. Одобрённые книги лежали в издательствах десятилетиями (первая книга Наталии Карповой вышла через семнадцать лет после подачи). В типографию попадала одна из тысячи. Полученная мною рекомендация значила не больше, чем нейтралитет Бельгии для нацистов: не значила ничего. Наоборот, сборник, если он выходил в свет, означал всё: допускал вероятность вступления с союз писателей с его боярскими угодьями, а там и в Великую Русскую Литературу. Мои шансы были невелики. Однако ж формально рекомендация давала мне право отнести в издательство макет сборника, а издательство обязывало рассмотреть этот макет, не позволяла отказать мне с порога (но позволяла тянуть рассмотрение как угодно долго).

Я отнёс кипу моих стихотворений в ленинградское отделение издательства *Советский писатель* в Дом Зингера на Невском; это было одно из всего двух ленинградских издательств, выпускавших стихи тех, кто ещё жив (два издательства на четырёхмиллионный город!). Предполагалось, что это макет моей будущей книги стихов. Вместе с тем сам я знал, что никакая это не книга, а ворох стихотворных упражнений, написанных в моей новой, сдержанной и экономной манере, написанных, понятно, по велению души и совести, но всё же одновременно и с обуздывающей оглядкой на подлые нравы, царившие в советских печатнях. Я перестраивался: искал золотую середину между высокими порывами, на роду, как его ни определяй, чуждыми, и потребностью в отклике на эти порывы, в отклике, который по самой своей природе и сути не мог (мне казалось) быть иначе как народным. В «народ», спасибо великой русской выдумке XIX века, я верил; его очевидное убожество, теснившее меня со всех сторон, списывал на большевизм, понимал как болезнь, которая пройдёт. Об эмиграции не помышлял. Нишу для выживания, твердил я себе, нужно выгородить в том обществе, которое выпало мне по рождению. Стало быть, и подсознательная надежда на улучшение общества, на исправление этого «народа», жила во мне. Приходится признать, что я

тогдашний, с моей мечтой провести большевиков, перешибить кнутом обух и при этом не замараться, всё-таки страдал усадебным народопоклонничеством XIX века, как страдали им все вокруг, даже те, кто понял природу большевизма. Ведь вот и Аркадий Белинков (1921-1970), пророк 1960-х, сказал всего лишь: «советская власть неискоренима, неизлечима», не посмел сказать очевидное ныне: «Россия неискоренима, неизлечима»...

В издательстве мне назначили редактора для подготовки моей рукописи к печати: Киру Михайловну Успенскую. Она оказалась тонким ценителем стихов и отнеслась ко мне совершенно по-человечески, но тоже была в советских тисках, и от неё ничего не зависело. Следуя установленному порядку, она *через три года* отдала мою рукопись на внутреннюю рецензию поэту-профессионалу, члену союза писателей Майе Ивановне Борисовой (1932-1996), человеку честному и не бездарному. Мальчишкой я на минуту выделил Борисову из сонма советских рифмачей. Заглядывал в её стихи и позже, выйдя из отрочества. До сих пор помню шестистопные хорей про умную лошадь, отличавшую трудолюбивых людей от ленивых («Очень лодырей не любит этот конь»), с концовкой, проникнутой скромной гордостью: «Может, правда я работник неплохой?»

Борисова, сверх ожидания (моего и издательского начальства) отзывалась о моих стихах в целом положительно. Это ещё и потому было неожиданно, что мы с нею не были знакомы (не познакомились и после её отзыва, за который я поблагодарил её письмом), а ведь в те времена и в тех местах очень многое делалось «по знакомству». В точности как в николаевской России середины XIX века (по наблюдению маркиза де Кюстина) в большевистской Совдепии 1970-х имелось одно-единственное средство от идиотизма и умопомрачения: протекция, личное знакомство, коррупция. (Между прочим, Кюстин мог не ездить за своим открытием в такую глушь, как Россия. В той же Франции, притом во времена, не чуждые демократии, министром, по свидетельству Стендаля, человек нередко становился в литературных салонах — благодаря знакомствам.)

В 1974 году, повторяю, я всё ещё не простился с мечтой о нише в советском обществе и с моим народопоклонничеством. Моя благодарность Борисовой была самая искренняя, критические замечания ничуть меня не обидели, скорее ободрили. Кто же не знает, что нет стихов, взять хотя самого Пушкина, в которых нельзя было бы при въедливом подходе не найти оплошностей и неувязок? *Евгений Онегин* не был «энциклопедией

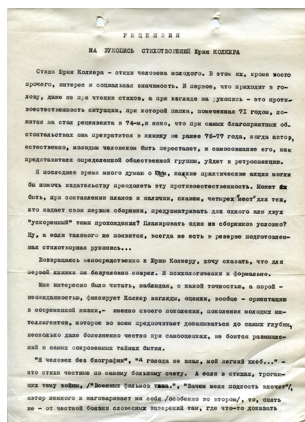
русской жизни» на другой день после своего завершения; он стал ею со временем, после того как накопил критическую массу восхищения знатоков и ценителей. (Если б этот роман остался в рукописи и обнаружился в XX веке без подписи, мы бы не знали, что с ним делать и куда его пристегнуть.) Одно из возражений Борисовой вообще оказалось непосредственной помощью, прямой подсказкой, позволило мне тут же исправить неудачную строку, что ещё увеличило мою благодарность поэтессе.

Но вместе с тем начало рецензии меня задело и почти возмутило. Свой отзыв Борисова начинает не с моих стихов, а с общего и безусловно правильного наблюдения, подсказанного совестью, потребовавшего от неё смелости, говорящего о её независимости, однако прочитав её слова, первым делом чувствуешь: «Сытый голодного не понимает!» Тон, взятый Борисовой, лучше любых социологических исследований обнажает классовую сущность советского общества, где одни равнее других, свидетельствует о пропасти между государственным писательским сословием и нищей, обездоленной писательской братией, в печать не пускаемой. В размышлении поэтессы слышны барственные нотки. Вольно ей было «много думать», как помочь гонимым и теснимым, с дворянским патентом членства в Союзе Советских Писателей (все три слова непременно с прописной!), имея за плечами молочные реки и кисельные берега необъятной социалистической родины, льготы и привилегии жреческого сословия избранных! Вот её отзыв:

«РЕЦЕНЗИЯ НА РУКОПИСЬ СТИХОТВОРЕНИЙ Юрия КОЛКЕРА

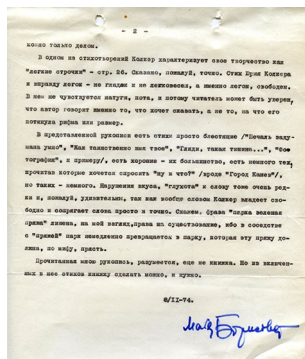
Стихи Юрия Колкера — стихи человека молодого. В этом их, кроме всего прочего, интерес и социальная значимость. И первое, что приходит в голову, даже не при чтении стихов, а при взгляде на рукопись — это противоестественность ситуации, при которой папка, помеченная 71 годом, ложится на стол рецензента в 74-м, и ясно, что при самых благоприятных обстоятельствах она превратится в книжку не ранее 76-77 года, когда автор, естественно, молодым человеком быть перестанет, и самосознание его, как представителя определенной общественной группы, уйдет в ретроспекцию.

Я последнее время много думаю о том, какие практические акции могли бы помочь издательству преодолеть эту противоестественность. Может быть, при составлении планов и наличии, скажем, четырех "мест" для тех, кто издаёт свои первые сборники, предусматривать для одного или двух "ускоренный" темп прохождения? Планировать один из сборников условно? Ну, а если такового не появится, всегда же есть в резерве подготовленная стихотворная рукопись...



Возвращаясь непосредственно к Юрию Колкеру, хочу сказать, что для первой книжки он безусловно созрел. И психологически и формально.

Мне интересно было читать, наблюдая, с какой точностью, а порой — неожиданностью, фиксирует Колкер взгляды, оценки, вообще — ориентацию в современной жизни, — именно своего поколения, поколения молодых интеллигентов, которое во всем предпочитает докапываться до самых глубин, несколько даже болезненно честно при самооценках, не боится размышлений о самых сокровенных тайнах бытия.



«Я человек без биографии», «Я голода не знал, мой легкий хлеб...» — это стихи честные по самому большому счету. А если в стихах, трогających тему войны, ("Военных фильмов тьма", "Зачем меня подлость влечет") автор немного и наговаривает на себя (особенно во втором), то, опять же — от честной боязни словесных заверений там, где что-то доказать можно только делом.

В одном из стихотворений Колкер характеризует своё

творчество как «легкие строчки» — стр. 26. Сказано, пожалуй, точно. Стих Юрия Колкера и вправду лёгок — не гладок и не легковесен, а именно лёгок, свободен. В нём не чувствуется натуги, пота, и потому читатель может быть уверен, что автор говорит именно то, что хочет сказать, а не то, на что его потянула рифма или размер.

В представленной рукописи есть стихи просто блестящие («Печаль задумана умно», «Как таинственно имя твое», «Гляди, такая тишина...», «Фотография», к примеру), есть хорошие — их большинство, есть немного тех, прочитав которые хочется спросить «ну и что?» (вроде «Город Канев»), но таких — немного. Нарушения вкуса, «глухота» к слову тоже очень редки и, пожалуй, удивительны, так как вообще словом Колкер владеет свободно и сопрягает слова просто и точно. Скажем — фраза «парка зеленая пряжа» лишена, на мой взгляд, права на существование, ибо в соседстве с «пряжей» парк немедленно превращается в парку, которая эту пряжу должна, по мифу, прясть.

Прочитанная мною рукопись, разумеется, ещё не книжка. Но из включенных в нее стихов книжку сделать можно, и нужно.

8/II-74.

Майя Борисова»

Стоит ли говорить, что хоть я и «созрел» (и получил ещё одну безусловно положительную внутреннюю рецензию на мою рукопись, на этот раз от Кушнера), но никакой «книжки» у меня «сделано» не было и в свет не вышло? Рукопись, несколько раз мною обновлённую, я забрал из Совписа после восьми лет ожидания — в 1979 году — и больше с советскими издательствами дела не имел.

Ответ на вопрос, который Борисова ставит в своей рецензии: «какие практические акции могли бы помочь издательству преодолеть эту противоестественность», то есть помочь молодым авторам печататься, уже и тогда был ясен. Вариант ответа дал Довлатов, слегка переиначив знаменитые слова Ленина: «Первым делом нужно захватить мосты, вокзалы и телеграф...» Зря Борисова ставит свой вопрос. Он ей не льстит. Видно, что она, при всей её честности, независимости и смелости, всё ещё не оч-

нулась от советскости.

В моём письме к Борисовой, которое здесь привожу, я благодарю её за её рецензию. Глянцевая вежливость этого письма скрывает (и выдаёт) мои амбиции, в ту пору совершенно бешеные: моё нежелание всерьёз говорить о моих стихах ни с Борисовой, ни вообще с кем бы то ни было из советских людей. В этом я беру через край.

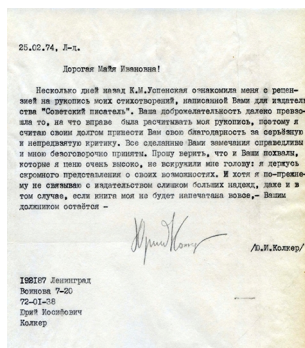
Обычай вовсе не предписывал благодарственного письма рецензенту, наоборот, такое письмо было жестом избыточным, нарочитым. Вместе с тем благодарность моя к Борисовой и к Успенской была искренней. Чужие люди, они поддержали меня, как могли, хотя с тем же успехом могли бы и оттолкнуть.

Вот моё письмо к Майе Борисовой:

25.02.74, Л-д.

Дорогая Майя Ивановна!

Несколько дней назад К. М. Успенская ознакомила меня с рецензией на рукопись моих стихотворений, написанной Вами для издательства "Советский писатель". Ваша доброжелательность далеко превзошла то, на что вправе была рассчитывать моя рукопись, поэтому я считаю своим долгом вынести Ваш список благодарности на открытую и непредвзятую критику. Все сделанные Вами замечания справедливы и мною безоговорочно приняты. Прошу верить, что и Ваши похвалы, которые я ценю очень высоко, не вскружили мне голову: я держусь скромного представления о своих возможностях, и хотя я по-прежнему не связываю с издательством слишком больших надежд, даже и в том случае, если книга моя не будет напечатана во все, — Вашим должником остаётся —



Ю. И. Колкер

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ, или «ВЕДЬ СЛУЧАЕТСЯ И ЧУДЕСНОЕ»



В 1981 году я был страстно увлечён Ходасевичем, собирал его стихи, писал о нём длинное сочинение, где, полный веры и надежды, на любимых стихах выговаривал мою эстетику, мою мечту, мечту всей моей жизни: о возрождении русской поэзии, а с нею и страны, о «России новой, но великой». Ходасевич был в ту пору под запретом, сведения о его жизни приходилось добывать из-под земли, собирать по крохам. Особенно темны были те семнадцать лет, что он прожил в эмиграции.

Случай дал мне в руки, притом всего на несколько дней, книгу Зинаиды Шаховской *Отражения*, изданную в Париже в 1975 году, — её воспоминания о встречах с писателями первой русской эмиграции, об окружении Ходасевича и о нём самом. В 1981 году за такое чтение в ГУ-ЛАГ уже не бросали, но всё-таки это было запретное и небезопасное чтение, умственная контрабанда, что увеличивало цену книге. Для меня, впрочем, книга эта и так была бесценна.

Я поверил Зинаиде Шаховской сразу, поверил каждому её слову, даже увлёкся ею, хоть и совсем по-другому, чем Ходасевичем: увидел в ней не писателя, а большого человека. Что Шаховская писатель не из первых, что мысль её часто неглубока, а русский язык для неё уже второй — всё это было слишком очевидно и столь же несущественно: Шаховская была для меня очевидец и участник, «свидетель падшей славы», герой. Она ребёнком наблюдала зверства большевиков и сама чудом уцелела; она жила в Париже в годы парижской ноты, лично знала Ходасевича, Бунина, Адамовича, Цветаеву, Набокова, Черниховского; она боролась с нацистами в Бельгии и во Франции, она вела радиопередачи из Лондона, города

прифронтового, который бомбили беспощаднее, чем Ленинград. Весь XX век вошёл в её судьбу, и она в моих глазах выражала этот век сильнее, вернее и чище, чем любой её ровесник в Совдепии: ведь большевизм ни на минуту не затронул её, не исказил её внутреннего облика.

И не только этим была мне Шаховская драгоценна. Носительница исторической фамилии, она сообщила моей жизни дыхание XIX века, приблизила Россию Пушкина, которую не я один в подлые советские годы лелеял в душе как несбыточную мечту, как прообраз России небесной. С Шаховской, через неё, человеческое расстояние между мною и Пушкиным (то самое, пресловутые ступени размежевания, *degrees of separation*) сокращалось до трёх человек: Шаховская, природная русская аристократка, знала людей, родившихся при жизни Пушкина в окружении Пушкина, а те, через своих старших, если не лично, знали Пушкина. В этом уже присутствовало нечто невероятное, нечто чудесное. Тут нужно сказать без обиняков, что чудо — в том месте в то время — было насущной необходимостью; выжить в Совдепии эпохи её подыхания, не задохнуться от застоялой лжи, пошлости и провинциальности этой гадостной страны можно было только чудом. Не удивительно поэтому, что первое ответное письмо Шаховской ко мне, письмо из Парижа в Ленинград, я воспринял как первую весть с родины, как письмо из России на чужбину.

Этим чудом и определилось раз и навсегда моё отношение к Шаховской: отношение *сыновнее*. Благодарность и почтительность составили его сердцевину, его сущность... Но разве, войдя в возраст, я не видел недостатков моей родной матери? Разве я, говоря по совести, решился бы назвать её человеком хорошо образованным или очень умным? Я её любил такую, какою застал в моём младенчестве: обыкновенной, заурядной, но чудесной, потому что моей.

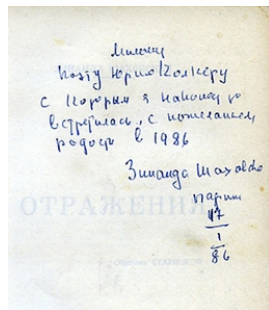
Вижу тех из моих друзей и знакомых, кто всегда пожимал плечами или криво улыбался, стоило мне при них упомянуть о Шаховской, и говорю им в сотый раз: да-да, вы правы, я и сам ни на минуту не заблуждался по поводу вашей правоты, но оставьте мне мою сыновнюю неправоту; это другая правота, другая правда, идущая от сердца, не от ума.



Адрес Шаховской тоже попал ко мне случайно и ни с какой реальностью в моём сознании поначалу соотнесён не был; это была абстракция, набор отвлечённых значков; улица Фарадея дом 16, 17-й аррондисман Парижа. Потому-то я и был так смел. Четвёртого марта 1981 года я написал Шаховской моё первое письмо, будучи совершенно уверен, что оно не дойдёт. Дальше шла такая логика: если письмо всё же каким-то чудом дойдёт, проскользнёт через непременно перлюстрацию (полудохлый большевизм потерял когти), то Шаховская не ответит на него; кто я такой, чтобы ей братья за перо? Если Шаховская ответит, то ответное письмо не дойдёт; полудохлый большевизм хоть и потерял когти, да не потерял своей мелочной сущности, не упускал случая напакостить, где только можно.

И что же? Ответ Шаховской, датированный 20 марта 1981 года, был у меня в руках в начале апреля 1981 года — в затхлом, безнадёжно провинциальном Ленинграде (не в отличие от Москвы, конечно; Москва была ещё в тысячу раз провинциальнее). Чудо! ... Мог ли я тогда вообразить, что через пять лет увижу Зинаиду Алексеевну, и не где-нибудь, а у неё дома, на улице Фарадея? Мог ли думать, что наша переписка продлится 17 лет (ровно столько, сколько Ходасевичу было отпущено прожить в эмиграции)? И что еще через 17 лет я соберу эту переписку и внимательно перечитаю её, делая удивительные для меня открытия по ходу чтения, — ведь я, конечно, ни одного письма из этой коллекции выбросить не мог, а нужно и то признать, что при получении этих писем, и при том целые десятилетия, — и в Ленинграде, и в Иерусалиме, и в Британии, — мне, выбивавшемуся из сил, чтобы подневольным трудом прокормить себя и близких, читать их должным образом и думать над ними как следует — было просто некогда ...

После первого письма Шаховской чуда в моей жизни пошли косяком. Вопреки всякому вероятию мне удалось вырваться из Совдепии в 1984 году. Ехать я мог в ту пору куда угодно; поехал — в Израиль. В местах более благополучных меня ждали друзья, правительственные льготы, помощь от общин, даже — готовое рабочее место и снятое жильё, а в Израиле никто меня не ждал, да сверх того я, восхищаясь сионизмом, этой возвышенной



и поэтической мечтой (я ею и по сей день восхищаюсь), сам сионистом не был, открыто называл себя толстовцем. В Израиль меня привела старомодная причуда: совесть. Большевики говорили: не выпускаем евреев, потому что они едут мимо Израиля, а я сказал в ответ: не предам оставшихся отказников; еду не за благополучием, а за свободой; буду с теми, кому хуже; чистая совесть — лучшая из свобод.

Шаховская была в числе немногих, кто понял это моё душевное движение. Поняла она и мою двойственность, мой внутренний раскол: воспитанную с молоком матери русскость, с которой я не пожелал расстаться даже в Израиле (полюбившемся мне навсегда), и жертвенное, вызванное подлой советской действительностью назывное еврейство, простиравшееся до готовности умереть за Израиль и евреев. Когда же Шаховская основательно прочла мои стихи (до этого читала не очень внимательно), мою первую книгу в типографском исполнении, то поняла и другую, но, в сущности, родственную черту: «при личном общении мне стало совсем понятно Ваше, сказала бы, жертвенное, увлечение Ходасевичем», пишет она ко мне в Иерусалим 22 января 1986 года.

Советский Союз основательно забыт, что и слава богу. Кто там не был, — кто не был там евреем или, что ещё хуже, русским, подозреваемым в еврействе, — не поймёт природы тамошнего антисемитизма, всенародного и вместе с тем тайного, необъявленного, подлого антисемитизма исподтишка, который, в некотором роде, хуже антисемитизма открытого. Шаховская, приходится признать, тоже не понимала его. Она представляла собою культурный Запад и культурную Россию, высокую, настоящую Россию, теперь утраченную, когда писала мне в Ленинград 20 июля 1982 года: «Мы разницу этническую не делаем — когда дело касается русской культуры — хочу Вас в этом уверить».

Эти слова, помню, стали для меня глотком родниковой воды в пустыне. Не смешно ли? Сейчас, в XXI веке, понять меня тогдашнего тоже нельзя: никто больше не мешает еврею гордиться тем, что он еврей, никто не нашёптывает ему: стыдись своих предков. Нигде этого нет, даже в той стране, часто меняющей имена, которую я родиной больше не называю.

Но это было. Большевизм три поколения людей воспитал в мысли, что своего еврейства человеку следует стыдиться, скрывать его как тайный врождённый порок, прикрывать его, сколько есть сил, приверженно-

стью к русской культуре, служением ей, притом непременно на вторых ролях, без мысли о первых. И вот Шаховская говорит мне: первые роли для человека с неблагозвучной для русского уха фамилией тоже не закрыты. Говорит она это косвенно и в своих сочинениях, в выгодном свете противопоставляя Пастернака Набокову. Она говорит мне то, чего не сказала, хоть и должна была сказать, родная мать.

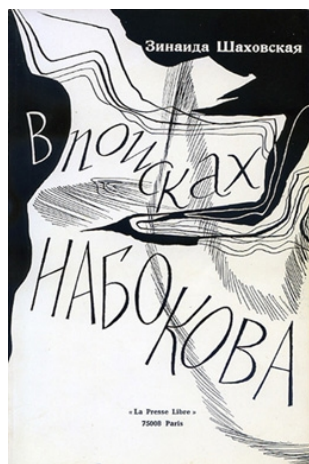
Теперь послушаем тех, кто считал Шаховскую антисемиткой. Странно вымолвить, но и в их словах есть доля правды. Еврейский вопрос Шаховская понимала как истинная христианка: несть ни эллина, ни иудея; евреи такие же, как все; избранный народ — христиане; тем самым все противоречия сняты... Слава Богу! Лучшего не надо, ведь так? При таком подходе нет ни черты оседлости, ни процентной нормы на образование, ни Треблинки. Но некоторый осадок всё-таки есть. Слова апостола поняты без их контекста, точнее, в их обратном контексте. Павел, выращенный в вере в избранничество евреев, своими словами возвышает эллина до иудея, не наоборот. А в моё время в моём месте было именно обратное. Еврей, не принимающий христианства, хуже русского атеиста: он упорствует в неправде. Якут или туркмен тоже упорствуют, но на них можно смотреть как на младших братьев, еврей же, с апостолами и пророками за плечами, ни при каком раскладе младшим братом не кажется, он явно старший, и это тревожит, — отсюда отталкивание. Выходит, что верующий христианин не может не чувствовать некоторого отталкивания от еврея, не может не быть в этом смысле чуть-чуть антисемитом. Этого рода антисемитизм, который можно назвать переупрощением еврейского вопроса, — да, он у Шаховской был. Да и у кого из христиан его не было?

Переупрощение, впрочем, возможно и с другой стороны. Антисемиткой назвала Шаховскую Вера Евсеевна Набокова, жена писателя. С этого обвинения начинается ссора Набокова и Шаховской, до 1939 года друживших. Есть ли в словах Набоковой правда? Шаховская, в книге своих воспоминаний *Une Enfance* (это название — вот её русский! — она переводит дословно: как *Одно детство*), рассказывает о жестокой еврейке-комиссаре, велевшей на её глазах ни за что расстрелять двух мальчишек-кадетов. Следовало ли писательнице умолчать о национальности комиссарши, написать только: кожаная куртка, револьвер? Ведь, надо полагать, именно так рассуждала Вера Набокова. Шаховская возражает Набоковой:

«в моей книге существуют русские убийцы и предатели» (*В поисках Набокова*). Возражений Набоковой не знаем, но они могли быть такими: русских убийц вы называете по фамилиям или, во всяком случае, не пишете: русский-комиссар, а тут написали: еврейка. Шаховская могла бы возразить так: мне, наблюдательнице, было одиннадцать лет; я запомнила то, что бросилось в глаза: еврейка, кожаная куртка, револьвер. Будь комиссар латыш, я бы написала: латыш. Сама Шаховская возражает тоже убедительно: «было бы малодушием с моей стороны свидетельствовать о виденном с оглядкой — на кого бы то ни было» (*В поисках Набокова*).

Я в этом споре на стороне Шаховской. Она-то, в отличие от русско-советских антисемитов, знает не понаслышке, что среди тех, кто боролся с большевизмом, евреев было больше, чем среди большевиков. Она видит евреев во множестве в русской эмиграции, дружит с ними, отмечает щедрость тех из них, кто не всё своё достояние потерял с Россией, даже, хоть и невольно, противопоставляет эту щедрость евреев скарденности состоятельных русских эмигрантов. Вот и на отъезд Набоковых в Америку деньги Борис Зайцев и Марк Алданов собирали, «объезжая богатых евреев». Может, Шаховской следовало написать: «богатых эмигрантов»?

Если Шаховская антисемитка, то в одном-единственном смысле: она не с евреями. Жестокая правда состоит в том, что все неевреи делятся на антисемитов и филосемитов; середины нет; или, во всяком случае, русская культура такой середины не выработала. Евреи, по замечанию английского виконта Самюэля Герберта (1870-1963), «такие же люди, как все, только ещё больше такие»: иначе говоря, другие... то есть, какой смысл в эти слова ни вложи, хвалу или хулу, избранные, — избранничество ведь может означать и проклятие... До Герберта примерно то же говорил Эрнст Ренан (1823-1892), мыслитель-атеист, которого, справедливо или нет, называют антисемитом: человеческие качества, всеми народами осуждаемые или превозносимые, в евреях выражены особенно рельефно. История евреев тоже такая же, как у многих других исторически



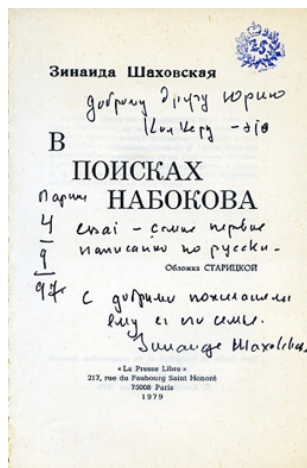
неблагополучных народов, но в чём-то всё же чуть-чуть больше такая. В начале её видим чудо: Библию, в XX веке — другое чудо: возрождение государственности после двух тысяч лет бездомности. Второго подобного примера не вижу.

Но если эти рассуждения не вовсе абсурдны; если каждому живущему еврею — свои или чужие, то ведь и Веру Набокову, без чрезмерного насилия над логикой, можно причислить к антисемитам. Разве она с евреями не только на словах?

Книгу Шаховской *В поисках Набокова* я тоже прочёл в Ленинграде в 1981 году... точнее, не прочёл, не дочитал; отложил. Впечатление она произвела на меня совсем не то, что *Отражения*, а прямо противоположное. Всё в этой книге мне не понравилось. Русский язык Шаховской (видел я при чтении) беден, местами неправилен, лишён пластичности, её отрывочная, рассеянная мысль оставляет меня полуголодным...

Но ведь всё то же я видел и при чтении *Отражений*! Что изменилось? В чём было дело при чтении книги о Набокове? Скажем без обиняков: в моей несамостоятельности. Мне, как и многим тогда в Совдепии, импонировала слава Набокова, мне нравился его земной путь. Шутка ли! Человек трижды утёр нос большевикам: показал, что русский человек преспокойно обходится без пресловутой родины (это слово большевики не случайно с такой истерической настойчивостью заставляли нас писать с прописной); показал, что русский писатель может оставаться русским писателем даже без русского языка... третий кукиш — что сам большевизм есть отвратительная ложь — можно почти и не упоминать, он был к этому времени для всех в Совдепии расхожим общим местом, всем понятным по умолчанию, — но по своему значению он во все не был мал.

Короче говоря, в моём отношении к Набокову я оказался со всеми, как все; оказался конформистом. Набоковым полагалось только восхищаться — и я восхищался, хоть и с поправкой: восхищался прозой, не стихами. В стихах его слишком уж ясны были слабости, из которых глав-



ная та, что это был голос из хора; Набокову слишком уж явственно не хватало терпкого своеобразия Ходасевича... Но всё же несколько стихов запали мне в душу раз и навсегда, — вот они:

Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня боятся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.

Восхищаюсь этими стихами и сейчас. Привожу их по памяти, справиться с источниками не хочу, источники, чего доброго, соврнут при их теперешнем состоянии, а я вряд ли много переврал... дорожу восхищением, пронесённым через целую жизнь, боюсь расплескаться...

Можно быть русским писателем без России: вот в чём состояло драгоценное и грандиозное открытие Набокова, сейчас понятное каждому. Оно в ту пору для меня отметало критику в адрес Набокова. Что Бунин это же самое открытие сделал, было не столь очевидно, ведь он продолжал поприще, начатое в России, а Набоков вовсе без России обошёлся, целиком возник и состоялся в эмиграции... Как, должно быть, занятно, если не прямо смешно, было бы прочесть эти мои самоочевидные находки человеку англоязычному! Разве писателю нужна родина?!

Понятно, что, при таком моём подходе к Набокову, в критике Шаховской мне чудилась неправильность, чуть ли не посягательство на общее наше достояние, чуть ли не святотатство. Да и средства её литературные — разве они были сопоставимы со средствами Набокова? Это же день и ночь!

С тех пор прошли десятилетия. Перед Набоковым-прозаиком я прежнего восхищения не испытываю, место ему отвожу не рядом с Буниным, а рядом с Булгаковым, — зато книгу Шаховской *В поисках Набокова* я, наконец, дочитал до конца — и теперь дорожу ею, верю в ней всему, каждому слову: в точности, как в *Отражениях*. Зависти, предвзятости,

недобросовестности, не говорю уж обиды — нет в ней и тени. Критиковать по совести мы вольны и тех, кто талантливее нас. Книга написана именно по совести, по велению совести, этим и драгоценна, не говоря уж о том, что она — честное свидетельство современника и зоркого наблюдателя, некогда бывшего другом Набокова. Наоборот, то, что пишет о книге Шаховской Саймон Карлинский (в статье, полученной мною от Шаховской в 1997 году), — «оскорбительная и лживая книга», «своей трактовкой Набокова и своими нападкаmi ad feminam на его жену Веру эта книга граничит с диффамацией», — постыдная чепуха, прямая ложь, низость и клевета, с помощью которой барон от набоковедения хочет защитить свои тучные уголья.

Права Шаховская и в главном, чего я, пожалуй, вовсе не услышал — не смог и не захотел услышать — в 1981 году: Набоков-прозаик, и русский, и английский, знаменует собою уход от высокого русского романа XIX века; в этом Набокове, если угодно, — измена высокому русскому роману. Но есть тут и другое: следование духу времени, божеству языческому, поклонение которому прекратится только с прекращением человечества. Шаховская не видит, что к прежнему возврата нет; говорит о холодности Набокова, о нехватке у него человеческого тепла в жизни и в сочинениях, а ещё одну мысль, для неё главную, вполне и до конца не выговаривает: она не верит, что высокий русский роман, с его правдоисключительством и богоискательством, возможен без христианства, без веры и любви.

Сейчас я знаю всем сердцем: роман как высокий жанр умер. Веками и тысячелетиями он считался жанром низким — до Диккенса и Стендаля, до Толстого и Достоевского. Считался совершенно оправданно: главное в романе был его повествовательный — развлекательный — элемент. Не напоминайте мне *Принцессу Клевскую*; было и это, да на периферии... многие высокие вещи творились веками на периферии, не на виду; общего определения романа такие исключения не затрагивают: роман был обращен к среднему — посредственному — читателю; он был чтением посредственным, убивающим скуку, не возвышавшим душу.

Не новость и то, что именно вознесло русский роман XIX века: писатель взял на себя работу, писательству вообще несвойственную: стал совестью общества, где совести не хватало. Живого, творческого богословия, живого законотворчества, в стране не доставало веками, — не гово-

рим уже о нравственной немощи церкви, о нравственной и профессиональной немощи юрисдикции, — вот и пришлось взяться за дело дилетантам.

Потом, и, кажется, некстати, нас ещё научили произносить учёное слово полифония. Все мы этому звонкому слову так обрадовались, что скоро забыли, о чём шла речь. Речь же шла о самом простом: талантливый прозаик в XIX веке научился сильнее, чем прежде, вживаться в своего героя, сопереживать ему не только на словах, а всем сердцем, перевоплощаться в него («Эмма это я» у Флобера), — только и всего. Продиктовано это движение было чувствами не новыми, наоборот, старинными, исконными, которые, однако, прежде не бывали путеводной звездой прозы, а тут оказались пережитыми с новой силой: совестью и любовью. Шаховская подразумевает: любовью христианской. Только христианская любовь сделала роман из низкого жанра высоким, — так я продолжаю её мысль моими словами, но соглашаюсь с нею лишь отчасти: только в христианскую эпоху, этот факт нельзя не признать, мы видим возвышение романа, позднее возвышение и по времени совсем недолгое; а вопрос, почему это случилось в XIX веке, когда Герцен предрекал, что рясу скоро можно будет увидеть только в музее, для меня остаётся открытым.

Теперь возьмём пресловутую *Лолиту*: что в ней от разговора о главном в человеческой жизни, от богоискательства, от того, что сделало Толстого и Достоевского пророками? Или, если нам так удобнее, что в ней полифонического? Это ладно скроенная криминальная и скандальная история, где, можно допустить, автор только главному герою сопереживает всем сердцем, но, конечно, не может заставить сопереживать ему читателя, не страдающего влечением к девочкам-подросткам, — не страдающего этим извращением, потому что это — извращение. Конечно, и отталкивающе-противное может быть интересным, занимательным, мастерски написанным, — но мы приходим к тому, что уже было: к занимательности... и отчего же нам тогда читать? не лучше ли будет смотреть голливудский фильм, особенно с погоней, не занимательнее ли он любого романа, пусть и мастерски написанного, густо-метафорического?

Набоков очень не любил Достоевского, называл его детективным писателем (на самом деле, конечно, Набоков не любил его за язык, который, что и говорить, очень можно, а пожалуй, и нельзя не счесть умопомрачительным, чуждым всякому изяществу; да еще за то не любил, что Досто-

евский горожанин до мозга костей, иву от вербы не отличит), — но разве *Лолита* не криминальная история? Разве в беллетристике это не самое простое, не самое верное, не самое дешевое: описать преступление? Успех гарантирован, в том числе и денежный, — успех, конечно, у публики самой посредственной, видящей в романе развлекательное чтение.

Шаховская права: с Набоковым, у Набокова — высокий русский роман умер. Да и Набоков американского периода — писатель американский, не русский. Нет прежнего русского писателя, конечно, и в Советской России, нет его к середине XX века и на Западе.

Разумеется, тут можно и то сказать, что всему живому свой срок. Роман вернулся туда, откуда вышел: к Петронию, к занимательному, подчас и увлекательному пространному рассказу. Где, конечно, ему и место.

Если же кто-либо выставит в качестве возражения против моих доводов мастерство Набокова, а в этом мастерстве — его несомненную виртуозность композиционную и стилистическую, то ему скажу: Агата Кристи по части мастерства не уступает величайшим писателям всех времён и народов, буквально никому, ни даже самому Томасу Манну или хотя бы Гюльке-Штреттенбек, а русского льва и русского тигра попросту за пояс заткнёт (они не в первую очередь мастерством сильны), но небо в её произведениях — с овчинку, и название им — читиво.

...И вот — надо же было такому случиться — это самое своё эссе (так она сама называла книгу *В поисках Набокова*), мною нелюбимое и мною не прочитанное, Шаховская в 1997 году решила вручить мне — для перевода на английский и издания по-английски. А я, не стану скрывать, с 1981 года по 1997 год в моём отношении к этой книге ни на шаг не продвинулся, всё ещё не прочёл её, всё ещё не верил Шаховской... Не стыжусь этого. Жизнь меня не баловала. Борьба за кусок хлеба отнимала слишком много сил, отпущенных мне не с лихвою. По временам было совсем не до эстетики. Но и не горжусь этим. Отмечаю как факт: дело это было мне не по силам, пришлось не ко времени — и казалось чужим, не моим, вообще лишним и не нужным.

Я отказывался, Шаховская настаивала. Она думала (это видно из её писем ко мне), что раз уж я работаю на Би-Би-Си в Лондоне, то положение моё упрочилось, я располагаю связями и влиянием (всего этого не было и в помине; Шаховская, в некотором роде, оценивала современность на основе своего опыта 1930-х годов). Мой сыновний долг к ней

подталкивал меня согласиться, и я в итоге согласился условно: сказал, что попытаюсь сделать, что могу, а много не обещаю. Шаховская хотела нотариальной бумагой закрепить мои права на часть вознаграждения от издания книги — от этого я отказался напрочь; сказал: если книга выйдет, сочтёмся. Ещё решительнее я отверг предложение Шаховской передать мне в её завещании все права на посмертные переиздания этой книги.

При встрече в сентябре 1997 года, в Париже, моей второй и последней встрече с Шаховской, я был поражён тем, как она одинока, — сейчас понимаю, что очень сильно преувеличил тогда её одиночество. Верно, детей у Шаховской не было; в свои последние годы она не была окружена заботливыми близкими. Бросалось в глаза, что ей помогают люди чужие и случайные, пусть и самоотверженные, вроде молодой волонтерки Иоанны (Вани) Потаенко, родом из Сибири и без твёрдого вида на жительство во Франции. Это вот одиночество, среди прочего, подтолкнуло меня взять на себя некоторые, пусть хоть условные, обязательства. У меня сердце щемило при взгляде на Зинаиду Алексеевну, при мысли о ней.

Одна вещь казалась мне невероятной: мне, выходцу из Совдепии, израильянину, атеисту, человеку, в сущности, тоже чужому, известному ей главным образом по письмам, — Шаховская, с её глубокой верой в Бога и в Россию, хочет вручить управление частью её наследия. Это ли не свидетельство одиночества? Неужели у неё нет близких друзей? Почему — я? Повторю мой ответ: она обозналась. Думала, что раз уж я беру у неё из Лондона телефонные интервью для передач Би-Би-Си, то я на этой радиостанции фигура, а я был там никто и звать никак. Словосочетание *русская служба* тоже ориентировало мысль неправильно: подразумевало что-то вроде служения России, русской культуре (на чём, кажется, и сам-то я споткнулся, когда поступал на эту *службу*)... Кроме того, Шаховская ведь не передавала мне прав на свои французские книги или на свои архивы: она передавала мне только право на одну свою русскую книгу, для перевода её на английский и издания в Британии. Я тоже в ту пору обознался насчёт одиночества Шаховской, преувеличил его.

Не понимала Шаховская, вероятно, и того, что я атеист. При начале нашего знакомства, в 1981 году, я был стихийно религиозен, страстно искал Бога, читал, думал, спорил, находился на грани того, чтобы примкнуть к той или иной общине верующих, принять посвящение. (Бог меня

от этого уберёг, спасибо ему.) В моих письмах той поры я людей неверующих осуждаю, даже презираю. Всё это, да плюс моё страстное в ту пору отношение к русской поэзии (тоже, конечно, бывшее всего лишь формой богоискательства) могло привести Шаховскую к мысли, что я в духовном отношении ближе к ней, чем я был на деле... А между тем с годами я только отдалялся. Вероятно, как раз около 1997 года моё богоискательство начинает круто сходить на нет. Сейчас, когда пишу, его нет вовсе — как не бывало...

По поводу издания книги Шаховской я в 1997 и 1998 годах предпринял некоторые шаги: связывался с переводчиками (одним профессионалом и одним литературоведом, который, как полагала Шаховская, мог взять на себя перевод её книги) и с издательствами. Переписки с переводчиками в моём архиве не нахожу; переписку с издателями я поместил в сеть (yuri-kolker.com) вместе с моими письмами к Шаховской и её письмами ко мне.

Ничего из перевода и издания не вышло. Не могло выйти. Переиздавать в 1997 году книгу 1979 года — и вообще дело непростое, даже если она была бестселлером (а она не была), а ведь тут её ещё и переводить нужно было с русского или с немецкого на английский. Слава Набокова, в основном американская, отгремела. В Британии, что и сама Шаховская отмечает в своих письмах ко мне, Набоков никогда не был особенно популярен. Даже во Франции его французские книги, исключая *Лолиту*, не расходились... Я, взявшийся помогать, в это предприятие не верил (что тоже не способствовало успеху дела). Шаховской нужна была энергичная москвичка тридцати пяти лет, не перегруженная мыслью, не занятая не любимым трудом, не сочиняющая стихов. Может быть, у такой бы и получилось, да и то вряд ли.

В связи с этим несостоявшимся делом я получил от Шаховской несколько текстов, которые в 1997 году только просмотрел по диагонали — столь очевидно было для меня, что они делу не помогут... Над одним из них я прямо охнул, и у меня руки опустились: Шаховская пишет, что Зинаида — еврейское имя! Сейчас вижу, что охал я зря: ошибаются все; представление о не переменном образовательном уровне вещь вообще неправильная; необразованный в одном часто образован в другом... Перечисляю эти документы:

— внутренняя рецензия Питера Равича на рукопись книги Зинаиды

Шаховской В поисках Набокова, 1979 (по-французски);

— статья Саймона Карлинского в газете Washington Post от 14 декабря 1986 года (по-английски);

— переписка Зинаиды Шаховской и Анджо Филда с газетой Washington Post, 1987 (по-английски);

— Зинаида Шаховская. *Отзывы критиков, ответы критикам* (рукопись, не ранее 1987);

— Зинаида Шаховская. *О семье Набокова* (рукопись, вероятная дата: 1987);

— Зинаида Шаховская. «Бедная Ирина», Русская мысль, январь 1997

Я поместил эти документы на мой сайт, снабдив их, где нужно, переводом и пояснениями. Как уже сказано, я прочёл их основательно только в 2015 году, через 17 лет после получения — и бог знает сколько лет спустя после написания.

Ещё один материал из архива Шаховской, ею мне вручённый, — письма к ней Набокова 1930-х годов, — в сеть не помещаю, будучи уверен (хоть и ленюсь проверить), что они публиковались не один раз и сейчас под рукой у каждого, кому нужны.

Моя переписка (и моя дружба) с Шаховской оборвалась с её письмом ко мне от 28 марта 1998 года. В нём, не скрою, мне почудилось некоторое неприятное перемещение акцентов. Увидав, что я в агенты не гожусь (и в ответ на мои извинения), Шаховская пишет, что ей больше хотелось помочь мне, чем издать эту злополучную книгу. Может, мне это именно почудилось. Но, во всяком случае, я вздохнул с облегчением: письмо освобождало меня от дальнейших хлопот, тягостных и, я был убеждён в этом, безнадёжных.

Шаховская скончалась в Париже 11 июня 2001 года. С некоторым опозданием, в 2002 году, когда представился случай, я поместил о ней статью-некролог в лондонском журнале *Колокол* №2, и там же — часть её писем ко мне в Ленинград, написанных в 1981-1983 годы. Другие её письма тогда не были собраны, мои письма к ней я считал потерянными. Моя статья в *Колоколе* — переделка более ранней статьи, написанной на 90-летие Шаховской, которую Шаховская читала и, мне помнится, сдержанно одобрила, во всяком случае, решительно не осудила. Решительной похвалы тоже не было, но её и не могло быть: ни один писатель никогда не примет всем сердцем того, что о нём пишет другой писатель. Конечно,

при этом ещё и место, занимаемое писателем, играет важную роль. В книге *В поисках Набокова* Шаховская приводит для сравнения две своих статьи о Набокове: 1939 года и 1958 года. Вторая написана на основе первой, повторяет её главные формулировки. Первая вызвала благодарности и похвалы молодого, ещё никому, кроме русских, не известного Набокова; вторая — негодование прославившегося в Америке Набокова и его бестактность по отношению к Шаховской, окончательно поссорившую старых друзей.

Мою переписку с Шаховской 1981-1998 годов привожу с пояснениями. Работал я старательно. Всё сделано вручную. Этим рукотворным памятником я прощаюсь с Шаховской... а заодно — и с мечтой, эту переписку и дружбу породившей: с мечтой о России, вынесенной из детства и юности.

(Место хранения оригиналов писем и других документов — Hoover Institution Libraries and Archives.)

18.04.15

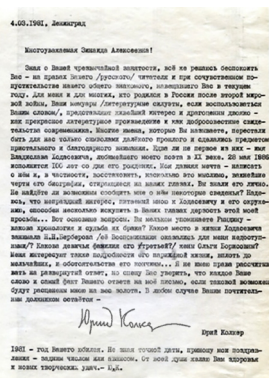
[Юрий Колкер:
улица Воинова дом 7 квартира 20
191187 Ленинград]

[З. А. Шаховской
16., rue Faraday, 75017 Paris]

4.03.1981, Ленинград

Многоуважаемая Зинаида Алексеевна!

Зная о Вашей чрезвычайной занятости, всё же решаюсь беспокоить Вас — на правах Вашего (русского) читателя и при сочувственном попустительстве нашего общего знакомого [ленинградского архитектора Михаила Азарьевича Краминского, 1899-1982], навещавшего Вас в текущем году. Для меня и для многих, кто родился в России после второй мировой войны, Ваши мемуары (литературные силуэты, если воспользоваться Вашим словом) пред-



ставляют живейший интерес и драгоценны двояко — как прекрасное литературное произведение и как добросовестные свидетельства современника. Многие имена, которые Вы называете, перестали быть для нас только символами далёкого прошлого и сделались предметом пристального и благодарного внимания. Едва ли не первое из них — имя Владимира Ходасевича, любимейшего моего поэта в XX веке. 28 мая 1986 исполнится 100 лет со дня его рождения. Моя давняя мечта — написать о нём и, в частности, восстановить, насколько это мыслимо, важнейшие черты его биографии, стихающиеся на наших глазах. Вы знали его лично. Не найдете ли возможным сообщить мне о нём некоторые сведения? Надеюсь, что непрямой интерес, питаемый мною к Ходасевичу и его окружению, способен несколько искупить в Ваших глазах дерзость моей просьбы... Вот основные вопросы. Вы мельком упоминаете его первую жену Рындицу — какова хронология и судьба их брака? Какое место в жизни Ходасевича занимала Н. Н. Берберова (её *Воспоминания* оказались для меня недоступными)? Какова девичья фамилия его (третьей?) жены Ольги Борисовны? Меня интересуют также подробности его парижской жизни, вплоть до мельчайших, и обстоятельства его кончины... Я не имею права рассчитывать на развернутый ответ, но спешу Вас уверить, что каждое Ваше слово и самый факт Вашего ответа на моё письмо, если таковой возможен, будут расценены мною на вес золота. В любом случае Вашим почтительным должником остаётся —

Юрий Колкер

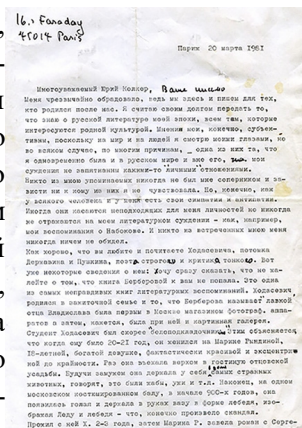
1981 — год Вашего юбилея [Шаховской (1906-2001) исполнилось 75 лет]. Не зная точной даты, приношу мои поздравления — задним числом или авансом. От всей души желаю Вам здоровья и новых творческих удач. — Ю. К.

16., Faraday
75017 Paris

Париж 20 марта 1981

Многоуважаемый Юрий Колкер, Ваше письмо меня чрезвычайно обрадовало, ведь мы здесь и пишем для тех, кто родился после нас. Я считаю своим долгом передать то, что знаю о русской литературе моей эпохи, всем тем, которые интересуется родной культурой. Мнения мои, конечно, субъективны, поскольку на мир и на людей я смотрю моими глазами, но во всяком случае, по многим причинам, — одна из них та, что я одновременно была и в русском мире и вне его, — но мои суждения не запятнанны [sic] какими-то «личными» отношениями. Никто из мною упоминаемых никогда не был мне соперником и зависти ни к кому из них я не чувствовала. Но, конечно, как у всякого человека[,] и у меня есть свои симпатии и антипатии. Иногда они касаются неподходящих для меня личностей[,] но никогда не отражаются на моем литературном суждении — как, например, мои воспоминания о Набокове. И никто из встреченных мною меня никогда ничем не обидел.

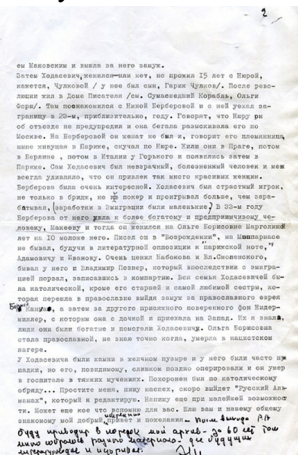
Как хорошо, что вы любите и почитаете Ходасевича, потомка Державина и Пушкина, поэта строгого и критика тонкого. Вот уже некоторые сведения о нем: хочу сразу сказать, что не жалейте о том, что книга Берберовой к Вам не попала. Это одна из самых неправдивых книг литературных воспоминаний. Ходасевич родился в зажиточной семье и то, что Берберова называет «лавкой» отца Владислава была первым в Москве магазином фотограф. аппаратов, а затем, кажется, была при ней и картинная галерея. Студент Ходасевич был скорее «белоподкладчиком». Этим объясняется, что когда ему было 20-21 год, он женился на Марине Рындиной, 18-летней, богатой девушке, фантастически красивой и эксцен-



тричной до крайности. Раз она въехала верхом в гостиную отцовской усадьбы. Будучи замужем она держала у себя в доме самых странных животных, говорят, это были жабы, ужи и т. д. Наконец, на одном московском костюмированном балу, в начале 900-х годов, она появилась голая и держала в руках вазу в форме лебедя, изображая Леду и лебедя — что, конечно произвело скандал.

Прожил с ней Х. 2-3 года, затем Марина Р. завела роман с Сергеем Маковским и вышла за него замуж.

Затем Ходасевич, женился — или нет, но прожил 15 лет с Нюрой, кажется, Чулковой (у нее был сын, Гарик Чулков). После революции жил в Доме Писателя (см. Сумасшедший Корабль, Ольги Форш). Там познакомился с Ниной Берберовой и с ней уехал за границу в 23-м, приблизительно, году. Говорят, что Нюру он об отъезде не предупредил и она бегала разыскивала его по Москве. На Берберовой он женат не был и, говорит его племянница, ныне живущая в Париже, скучал по Нюре. Жили они в Праге, потом в Берлине, потом в Италии у Горького и появились затем в Париже. Сам Ходасевич был невзрачный, болезненный человек и меня всегда удивляло, что он привлек так много красивых женщин. Берберова была очень интересной. Ходасевич был страстный игрок, не только в бридж, но и в покер и проигрывал больше, чем зарабатывал, (заработки в эмиграции были маленькие). В 33-м году Берберова от него ушла к более богатому и предприимчивому человеку, Макееву и тогда он женился на Ольге Борисовне Марголиной лет на 10 моложе него. Писал он в «Возрождении», на Монпарнасе не бывал, будучи в литературной оппозиции к «парижской ноте», Адамовичу и Иванову. Очень ценил Набокова и Вл. Смоленского, бывал у него и Владимир Познер, который впоследствии с

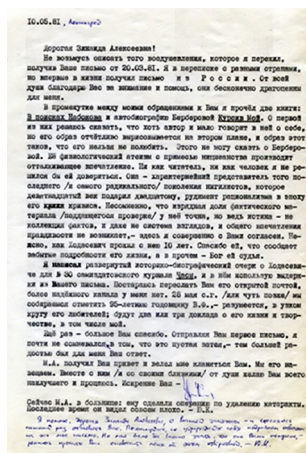


эмиграцией порвал, записавшись в компартию. Вся семья Ходасевичей была католической, кроме его старшей и самой любимой сестры, которая перешла в православие выйдя замуж за православного еврея Бориса Кана, а затем за другого присяжного поверенного фон Нидермиллер, с которым она с дочкой и приехала на Запад. Их я знала, люди они были богатые и помогали Ходасевичу. Ольга Борисовна стала православной, не знаю точно когда, умерла в нацистском лагере.

У Ходасевича были камни в желчном пузыре и у него были часто припадки, но его, по-видимому, слишком поздно оперировали и он умер в госпитале в тяжких мучениях. Похоронен был по католическому обряду... Простите меня, пишу наспех, скоро выйдет «Русский Альманах» который я редактирую. Напишу еще при малейшей возможности. Может еще кое что вспомню для Вас. Шлю Вам и нашему общему знакомому [М. А. Краминскому] мой добрый, искренний привет и пожелания — после выхода Р.А. буду приводить в порядок мой архив — за 60 лет там много собралось разного материала — для будущих литературоведов и историков.

3. III.

10.05.1981, Ленинград



Дорогая Зинаида Алексеевна!

Не возьмусь описать того воодушевления, которое я пережил, получив Ваше письмо от 20.03.81. Я в переписке с разными странами, но впервые в жизни получил письмо из *России*. От всей души благодарю Вас за внимание и помощь, они бесконечно драгоценны для меня.

В промежутке между моими обращениями к Вам я прочёл две книги: *В поисках Набокова* [Зинаиды

Шаховской] и автобиографию Берберовой *Курсив Мой*. О первой из них решаюсь сказать, что хоть автор и мало говорит в ней о себе, но его образ отчётливо вырисовывается на втором плане, и образ этот таков, что его нельзя не полюбить. Этого не могу сказать о Берберовой. Её физиологический атеизм с примесью нищезанятия производит отталкивающее впечатление. Ни как читатель, ни как человек я не решился бы ей довериться. Она — характернейший представитель того последнего (и самого радикального) поколения нигилистов, которое девятнадцатый век подарил двадцатому, рудимент рационализма в эпоху его кризиса. Несомненно, что изрядная доля фактического материала (поддающегося проверке) у неё точна, но ведь истина — не коллекция фактов, и даже не система взглядов, и общего впечатления правдивости не возникает, — здесь я совершенно с Вами согласен. Неясно, как Ходасевич прожил с нею 10 лет. Спасибо ей, что сообщает забытые подробности его жизни, а в прочем — Бог ей судья.

Я написал развернутый историко-биографический очерк о Ходасевиче для №30 самиздатовского журнала *Часы*, и в нём использую выдержки из Вашего письма. Постараюсь переслать Вам его открытой почтой, более надёжного канала у меня нет. 28 мая с. г. (или чуть позже) мы собираемся отметить 95-летнюю годовщину В. Ф., — разумеется, в узком кругу его любителей; будут два или три доклада о его жизни и творчестве, в том числе мой.

Ещё раз — большое Вам спасибо. Отправляя Вам первое письмо, я почти не сомневался в том, что это пустая затея, — тем большей радостью был для меня Ваш ответ. М. А. [Михаил Азарьевич Краминский, 1899-1982] получил Ваш привет и велел мне кланяться Вам. Мы его навещаем. Вместе с ним (и со своими близкими) от души желаю Вам всего наилучшего и прощаюсь. Искренне Ваш —

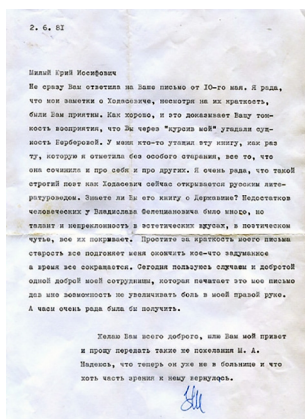
Юрий Колкер

Сейчас М. А. в больнице: ему сделали операцию по удалению катаракты. Последнее время он видел совсем плохо. — Ю. К.

Я помню, дорогая Зинаида Алексеевна, о Вашей занятости — и стесняюсь лишний раз отвлекать Вас. Пожалуйста, не утруждайте себя подробным ответом на это моё письмо. Но мне было бы важно знать, что оно Вами получено, — решаюсь просить Вас оповестить меня об этом открыткой. — Ю. К.

2. 6. 81

Милый Юрий Иосифович



Не сразу Вам ответила на Ваше письмо от 10-го мая. Я рада, что мои заметки о Ходасевиче, несмотря на их краткость, были Вам приятны. Как хорошо, и это доказывает Вашу тонкость восприятия, что Вы через «Курсив мой» угадали сущность Берберовой. У меня кто-то утащил эту книгу, как раз ту, которую я отметила без особого старания, все то, что она сочинила и про себя и про других. Я очень рада, что такой строгий поэт как Ходасевич сейчас открывается русским литературоведам. Знаете ли Вы его книгу о Державине? Недостатков человеческих у Владислава Фелциановича [sic] было много, но талант и непреклонность в эстетических вкусах, в поэтическом чутье, все их покрывает. Простите за краткость моего письма, старость все подгоняет меня окончить кое-что задуманное[,] а время все сокращается. Сегодня пользуюсь случаем и добротой одной доброй моей сотрудницы, которая печатает это мое письмо, дав мне возможность не увеличивать боль в моей правой руке. А Часы [ленинградский самиздатовский журнал] очень рада была бы получить.

Желаю Вам всего доброго, шлю Вам мой привет и прошу передать такие же пожелания М. А. [Михаилу Азарьевичу Краминскому, 1899-1982] Надеюсь, что теперь он уже не в боль-

нице и что хоть часть зрения к нему вернулась.

ЗШ

[открытка с репродукцией картины Малевского-Малевича, мужа Шаховской:]



17/12/81

Милый Юрий Иосифович,

Шлю Вам наилучшие пожелания — здоровья, бодрости и творчества в 1982 г. Приехавшие сюда ненадолго Евгений и Виктория [Левины, мои друзья, недавние эмигранты] навестили меня — мне они понравились — и очень тепло говорили о Вас. И милые стихи Ваши мне понравились. Надеюсь, что будут напечатаны — хоть и не сборником. Трудно поэтам... В 20х годах тут, выпускали мы миниатюрные сборнички

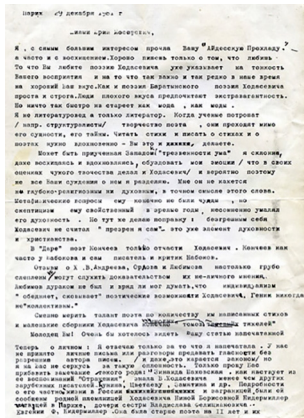
ки и печатали их в количестве от 100 — до 300 экз. и читали их друг другу в парижских кафе. А зарабатывали кто чем мог — и на заводах и в винных лавках, и малярами и полотерами, а теперь эти сборнички библиофилы разыскивают! Впрочем и франц. поэты — поэзией не зарабатывают... И все же писать стихи нужно. Простите за каракули — правая рука от полвека писательства — болит.

С добрым приветом

ЗШ

Париж 29 декабря 1981 г. [получено в Ленинграде по почте 14 апреля 1982]

Милый Юрий Иосифович,



Я, с самым большим интересом прочла Вашу «Айдесскую Прохладу» [первый вариант], — а часто и с восхищением. Хорошо пишешь только о том, что любишь. То что Вы любите поэзию Ходасевича уже указывает на тонкость Вашего восприятия и на то, что так важно и так редко в наше время[:] на хороший Ваш вкус. Как и поэзия Баратынского поэзия Ходасевича проста и строга. Люди плохого вкуса предпочитают

экстравагантность. Но ничто так быстро не стареет как мода, как моды. Я не литературовед, а только литератор. Когда ученые потрошат (напр. структуралисты) творчество поэта, они проходят мимо его сущности, его тайны. Читать стихи и писать о стихах и о поэтах нужно вдохновенно — Вы это и делаете.

Может быть приученная Западом к «трезвости ума» я склонна, даже восхищаясь и вдохновляясь, обуздовать [sic] мои эмоции (что в своих оценках чужого творчества делал и Ходасевич) и вероятно поэтому не все Ваши сужения о нем я разделяю. Мне он не кажется ни глубоко-религиозным ни ду-

Нидермиллеры материально помогали Ходасевичу и Берберовой. Они часто виделись и все праздники проводили вместе, вместе ходили и в православную церковь. Берберова в своей книге о них не упоминает».

И последнее — В частной жизни я ношу фамилию моего покойного мужа. Моя девичья фамилия Зинаида Шаховская (без Алексеевны) [—] мое «литературное имя».

Как жаль мне [, что] я не могу Вам помочь так энергично как мне бы хотелось. Я уже давно «не у дел» — (общественных) своих много и возраст торопит кое что еще успеть... Но все же постараюсь, чтобы хоть стихи Ваши стали не только машинописными. Статью же даю читать моим посетителям. — А если пожелаете то постараюсь и напечатать с оговоркой «без ведома автора».

С самым искренним приветом

ЗШ

P.S. Где то у Вас о «молодых» поэтах 30х г написано *потерянное поколение* — так звали поколение американских писателей после войны 1914-1918 г. В. Варшавский назвал своих современников «*незамеченным поколением*» — т. ч. следует исправить.

P. S. 31/12/81

Я все так занята, и так мешает боль в моей правой, рабочей, руке, но все же хочу исправить мою забывчивость — в письме, я не написала о «Пассеизме и гуманности» [моей небольшой заметке]. И это хорошо, для памяти Ходасевича... признаться я меньше люблю затасканное слово гуманность — предпочитаю человечность. Помните отповедь В. Х. зауми?

31
12
81
P.S.
я все так занята, и так
мешает боль в моей правой,
рабочей, руке, но все же
хочу исправить мою забывчивость.
Вспомнил в письме, я не
написала о "Потерянном
поколении". И это хорошо.
для памяти Ходасевича...
признаться я меньше
люблю затасканное слово
человечность - предпочитаю
гуманность. Помните
отповедь В.Х. зауми?
"Зачем и зачем
лишь один бог изобрел
бы бога не изобрел"
(схитрит по памяти) СШ

«Заумно м. б. поэт

Лишь Ангел Богу предстоящий

ду прочим, практически недоступным для меня станок Гутенберга, я вынужден, в отличие от Вас, нести полную ответственность за всё написанное, а не только опубликованное мною, — и невольно распространяю её на своих друзей, близких и далеких. Такая ответственность здесь ложится на каждого, и отвечать иногда приходится головой, и вовсе не по закону (само это слово имеет в цивилизованном обществе другой смысл). Поэтому я рад, что Вы простили мне мою оплошность, и мне не нужно оправдываться. Вы, я уверен, прекрасно понимаете, что моим мотивом было не злоупотребление, а нечто прямо противоположное.

Для меня не удивительно (и не досадно), что в оценках личности и творчества Ходасевича мы с Вами не во всем согласны. Гораздо более удивительно (и приятно), что мы согласны в целом. Если на минуту представить себе разделяющие нас пространства (не только географические), то есть от чего, даже и не любя и не понимая её, проникнуться почтением к объединяющей нас силе.

Спасибо Вам за предложение напечатать мои статьи. Разумеется, я его принимаю. При этом оговорка «без ведома автора» не нужна; напротив, настоящим письмом (если только оно может служить такой доверенностью) я передаю Вам все права на публикацию и редактирование (т. е. внесение упомянутой поправки и устранение фактических неточностей) этих двух моих сочинений, в любом издании, без каких-либо маскирующих оговорок. То же относится и к моим стихам: я буду очень признателен Вам, если Вы что-либо опубликуете. Две зарубежные публикации у меня уже есть: *Континент* № 29 [стихи] и где-то в Германии [в действительности в Австрии: стихи и эссе *Пассеизм и гуманность* были напечатаны в *Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 15*, 1984]. Не исключено даже, что недавно открывшееся у вас там издательство захочет напечатать мой сборник; намек на такое предложение мне уже сделан [не состоялось]. Этот гипотетический сборник должен стать вознаграждением за комментированный двухтомник Ходасевича, который я для них делаю [из-

дательство *La Presse Libre* при газете *Русская мысль*; в момент написания письма я не знал, для кого я делаю двухтомник]. В связи с этой возможностью возникает один очень важный для меня вопрос. Я решаюсь просить Вас, дорогая Зинаида Алексеевна, описать мне ту подборку моих стихов, которая у Вас имеется. Женя и Вика [Левины, из Нью-Йорка], навещавшие Вас в декабре 1981, этого не сделали, не понимая, сколь это для меня важно. Быть может, к Вам попал сборник под названием *Послесловие*: 59 небольших стихотворений, разбитых на четыре части, с оглавлением и биографической справкой об авторе; так ли это?

2.06.1982 [продолжение того же письма]

Критические обстоятельства, в которых я нахожусь, побуждают меня, не дожидаясь вопроса и с риском показаться навязчивым, сказать несколько слов о моей судьбе. Вы пишете о своем желании помочь мне, и я от всей души признателен Вам за это. Но помощь, о которой я решаюсь просить, не является в собственном смысле слова литературной. Для меня и моих близких речь идет о жизни и смерти. В течение последних трех лет мы добиваемся возможности эмигрировать. Моя жена в 1979 перенесла тяжелую операцию на позвоночнике и полностью нетрудоспособна, а прокормиться на одно жалование (здесь и сейчас) очень трудно. Мы живем в устрашающей и всевозрастающей нищете. Медицинская помощь практически отсутствует (здесь, более чем где-либо, она — для богатых). Невозможность облегчить страдания жены и маячащий в недалеком будущем голод — вот два основных мотива, побуждающих нас добиваться права на выезд. (Уже давно отошло на второй план то, что я, кандидат физико-математических наук, в течение 8 лет не могу найти работу по специальности, — в настоящее время я кочегар и, по совместительству, столяр; а также то, что я нахожусь под пристальной опекой властей, прямо угрожавших мне уголовным делом за мои якобы политические стихи). — Недавно, 10-го мая, после трех месяцев ожидания, власти ответили

очередным отказом на наше очередное ходатайство об эмиграции. Разумеется, отказ немотивированный и совершенно незаконный. Номинально он второй по счету (первый был в 1980), а фактически — третий: возобновлять ходатайство удается не чаще одного раза в год. Во всех смыслах положение наше отчаянное. Только это и дает мне смелость просить Вас о содействии. Самые публикации моих сочинений нужны мне сейчас не как вехи моего участия в русской литературе, а как действия, провоцирующие развязку: высылку или заключение (о котором думаю с ужасом, но и оно — выход). Словом, прошу Вас, конечно, если здоровье и занятость позволят Вам, сделать обо мне короткое сообщение на ожидающейся в октябре в Париже конференции, посвященной эмиграции и положению евреев в России. Мне кажется, что я могу рассчитывать на поддержку в русских кругах с неменьшим правом, чем в еврейских: по крови я еврей лишь наполовину, а наполовину русский, и русская культура является родной для меня. Одновременно с Вами с той же просьбой я обращаюсь к Нине Фукшанской (Nina Fukshansky, Schloßstr. 10, 7808, Waldkirch-3, Germany; tel. 07681-6854, Freiburg), моему другу; она эмигрировала в 1976, и хорошо знает наши обстоятельства. Если Вы пожелаете мне помочь, то Ваш авторитет в союзе с Нининой энергией могли бы сделать для нас многое. Мне грустно и стыдно привлекать к моей скромной особе общественное внимание; я не выношу скандалов; и никогда не искал славы; но теперь, похоже, только огласка может облегчить наше положение, — во всяком случае, другого пути я не вижу.

Очень надеюсь, дорогая Зинаида Алексеевна, что Ваше здоровье улучшается, и боль в правой руке уже не так мучает Вас. Пожалуйста, напишите мне при случае. Независимо от хода дел, литературных и нелитературных, я остаюсь Вашим



должником, помню и люблю Вас.

Юрий Колкер

Париж 20/7/82

[получено в Ленинграде 5 августа 1982]

Дорогой Юрий

Простите меня за молчание, это не от невнимания — но понятно, что с каждым годом мне все труднее бороться со временем, и всегда что-то набегают, одно другому мешая. Я вполне понимаю [sic] о всех Ваших трудностях. Вы не ответили мне о Владимире Алл. [Аллоэ], который дал мне прочесть Ваши статьи о Х.[Ходасевиче; Шаховская имеет в виду статьи *Пассеизм и гуманность* и *Айдесская прохлада*], но унес их обратно. Не имея их, я явно не могла их предложить... Подборка стихов у меня Ваших имеется, но поскольку [sic] я живу одна, — и всегда задумываюсь об участии всяких рукописей которые у меня находятся, я чуть не послала и Ваши в надежное книгоубежище — где будет весь мой архив. Еле выкопала, перед отправкой. Вижу что это действительно «Послесловие» — 59 стихот. с небольшой биограф. справкой.



У меня больше нет никаких связей с русско-язычной прессой. Прозу м. б. смогу устроить в «толстый» журнал (о Ходасевиче) но вообще, милый, мне 76 лет скоро будет, и это затрудняет мне хлопоты — я сижу дома, и мало куда выхожу. На собраниях никогда не бываю. Если же Вам предлагают выпустить двухтомник Х.[Ходасевича] то это чудесно!! [sic] Желаю чтобы это осуществилось.

Мы разницу этническую не делаем — когда дело касается русской культуры — хочу Вас в этом уверить.

От Нины Фуکش. я ничего не получила, вероятно она знает о том, что общественной деятельностью я не занимаюсь. Мне трудно Вам об этом писать, т. к. я остро чувствую ваше

тяжелое положение, я сознаю свое бессилие Вам помочь — кроме симпатии нужно и энергичное действие — а действие уже вне меня. Могу только желать Вам верных и активных друзей.

Ведь случается и чудесное..

Вот это чудесное я вам, всей Вашей семье и сердечно желаю

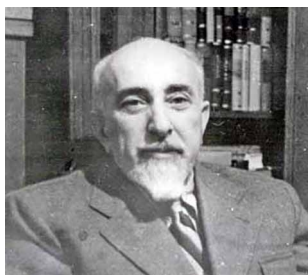
ЗШ

28 ноября 1982

[получено в Париже 10 декабря 1982]

Дорогая Зинаида Алексеевна,

Уже несколько зная меня по письмам, Вы, я уверен, поймете и извините мне мое долгое молчание. Диалог с Вами я мысленно продолжал все это время (Ваше последнее письмо ко мне отправлено 20 июля, а получено мною 5 августа с. г.). В общем ряду причин, мешавших мне ответить вовремя, есть и печальная новость: с прискорбием сообщаю Вам о кончине Михаила Азарьевича Краминского, последовавшей 13 августа 1982,

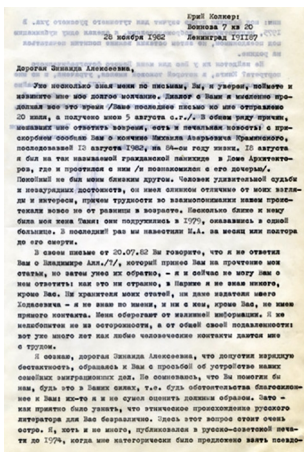


на 84-ом году жизни. 18 августа я был на так называемой гражданской панихиде в Доме Архитекторов, где и простился с ним (и познакомился с его дочерью). Покойный не был моим близким другом. Человек удивительной судьбы и незаурядных достоинств, он имел слишком отличные от моих взгляды и ин-

Юрий Колкер

Воинова 7 кв 20

Ленинград 191187

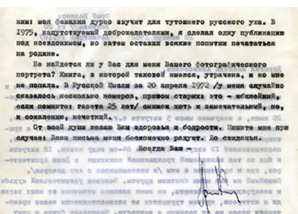


тересы, причем трудности во взаимопонимании нашем происходили вовсе не от разницы в возрасте. Несколько ближе к нему была моя жена Таня: они подружились в 1979, оказавшись в одной больнице. В последний раз мы навестили М. А. за месяц или полтора до его смерти.

В своем письме от 20.07.82 Вы говорите, что я не ответил Вам о Владимире Алл.(?), который принес Вам на прочтение мои статьи, но затем унес их обратно, — я и сейчас не могу Вам о нем ответить: как это ни странно, в Париже я не знаю никого, кроме Вас [я не только не был знаком с сотрудником *Русской мысли* Владимиром Аллоем, но даже имени его не слышал до этого времени]. Ни хранителя моих статей, ни даже издателя моего Ходасевича — я не знаю по имени, и ни с кем, кроме Вас, не имею прямого контакта. Меня оберегают от излишней информации. Я же нелюбопытен не из осторожности, а от общей своей подавленности: вот уже много лет как любые человеческие контакты даются мне с трудом.

Я сознаю, дорогая Зинаида Алексеевна, что допустил изрядную бестактность, обращаясь к Вам с просьбой об устройстве наших семейных эмиграционных дел. Не сомневаюсь, что Вы помогли бы нам, будь это в Ваших силах, т. е. будь обстоятельства благосклоннее к Вам: их-то я и не сумел оценить должным образом. Зато — как приятно было узнать, что этническое происхождение русского литератора для Вас безразлично. Здесь этот вопрос стоит очень остро. Я, хоть и не много, публиковался в русско-советской печати до 1974, когда мне категорически было предложено взять псевдоним: моя фамилия дурно звучит для тутошнего русского уха. В 1975, напутствуемый доброжелателями, я сделал одну публикацию под псевдонимом, но затем оставил всякие попытки печататься на родине.

Не найдется ли у Вас для меня Вашего фотографического портрета? Книга, в которой таковой имелся, утраче-



на, и ко мне не попала. В *Русской Мысли* за 20 апреля 1972 (у меня случайно оказалось несколько номеров, притом старых: это — юбилейный, если помните: газете 25 лет) снимок хоть и замечательный, но, к сожалению, нечеткий.

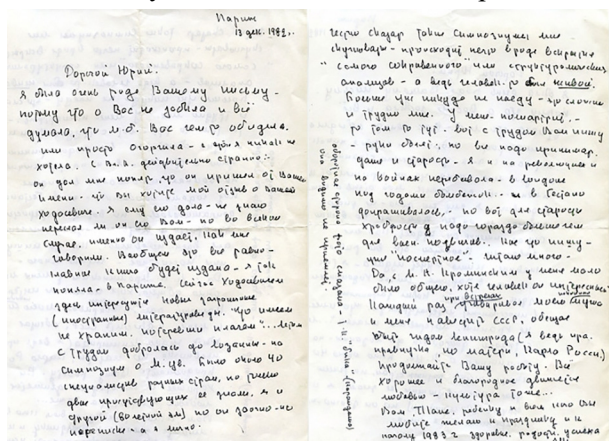
От всей души желаю Вам здоровья и бодрости. Пишите мне при случае: Ваши письма меня бесконечно радуют. До свиданья.

Всегда Ваш

Юрий Колкер

Париж
13 дек. 1982 г.

Дорогой Юрий,
я была очень рада Вашему письму — потому что о Вас не забыла и всё думала, что м. б. Вас чем то обидела, или просто огорчила — а этого я никак не хотела. С Вл. А. [Владимиром Аллоем] действительно странно: — он дал мне понять, что он пришел от Вашего имени, что Вы хотите мой отзыв о Вашем Ходасевиче. Я ему его дала — не знаю переслал ли он его



Вам — но во всяком случае, именно он издает, так мне говорили. Вообще [sic] это все равно — главное книга будет издана — я так поняла — в Париже. Сейчас Ходасевичем здесь интересуются новые заграничные (иностранные) литера-

туроведы. «Что имеем не храним, потерявши, плачем»... Летом с трудом добралась до Лозанны — на симпозиум о М. Цв. [Цветаевой] Было около 40 специалистов разных стран, но только двое присутствующих её знали, я и другой (80-летний эм. [вероятно, эмигрант]) но он заочно — по переписке — а я лично. Честно сказать такие симпозиумы мне скучноваты — происходит нечто вроде вскрытия «самого сокровенного» или структуралических [sic] анализов — а ведь человек-то был *живой*. Больше уж никуда не поеду — это сложно



и трудно мне. У меня — полиартрит, — то тут то там, вот с трудом Вам пишу — руки болят; но все надо принимать, даже и старость. Я и на революциях и на войнах перебивалась — в Лондоне под годами бомбежек, — и в Гестапо допрашивалась, — но вот для старости храбрости надо гораздо больше чем для воен. подвигов. Кое что пишу — уже «посмертное» — читаю много. Да, с М. А. Краминским у меня мало было общего, хотя человек он интересный. Каждый раз при встречах уговаривал моего покойного мужа и меня навестить СССР, обещал быть гидом Ленинграда [Краминский, в каче-

стве архитектора, участвовал в реставрации многих дворцов] (я ведь праправнучка, по матери, Карло Росси). Продолжайте Вашу работу. Всё хорошее и благородное движется любовью — культура тоже...

Вам, Тане, ребенку и всем кого Вы любите желаю к празднику и к началу 1983 г здоровья, радости, успеха

ЗШ

[приписка сбоку:]

оборотная сторона фото смазана — т.к. «бика» (карандаша) она видимо не приемлет.

[надпись на обороте фотографии:]

Дорогой Юрий
Это было в 1979 г. —
когда заканчивала «моего» Набокова —
краски мне польстили —
если это фото дойдет пошлю и дру-
гую. Спасибо Вам за
любовь к Ходасевичу
и вообще к русской
литературе... Дружески
на пороге 1983 г. ЗШ

Париж декабрь 1982

Дорогой Юрий

Это было в 1979 г. — когда заканчивала «моего» Набокова — краски мне польстили — если это фото дойдет пошлю и другую. Спасибо Вам за любовь к Ходасевичу и вообще к русской литературе... Дружески на пороге 1983 г.

ЗШ

Париж декабрь 1982

15 февр. 83 г

Милый Юрий,
получили ли вы мое прошлое письмо? Надеюсь, что мой первый отклик на 1-ый том Собр. стихов [Владислава Ходасевича; собрание было подготовлено мною в Ленинграде в 1981-1983 и вышло в Париже, в издательстве *La Presse Libre*, при газете *Русская мысль*, в 1983] до вас дойдет — он еще не напечатан — а впоследствии и сама книга — это мне устроить труднее. Хочу Вас сердечно поздравить — с исполнением хоть одного из ваших желаний. Пусть и другие осуществятся...

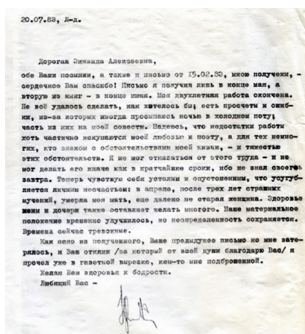
Добрый привет Вам и Вашим

311

Будете здоровы!

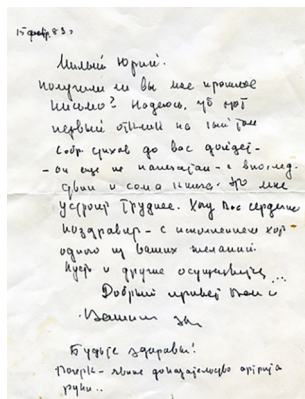
Почерк — явное доказательство артрита руки..

20.07.83, Л-д.



Дорогая Зинаида Алексеевна,
обе Ваши посылки [речь идёт о пер-
вом и втором томе составленного
мною двухтомника Ходасевича, вы-
шедшего в Париже в издательстве
La Presse Libre при газете *Русская
мысль* в 1983 году], а также и пись-
мо от 15.02.83, мною получены, —
сердечное Вам спасибо! Письмо я
получил лишь в конце мая, а вторую

из книг в конце июня. Моя двухлетняя работа окончена.
Не всё удалось сделать, как хотелось бы; есть просчеты и



ошибки, из-за которых иногда просыпаюсь ночью в холодном поту; часть из них на моей совести. Надеюсь, что недостатки работы хоть частично искупаются моей любовью к поэту, а для тех немногих, кто знаком с обстоятельствами моей жизни, — и тяжестью этих обстоятельств. Я не мог отказать от этого труда — и не мог делать его иначе как в кратчайшие сроки, ибо не знал своего завтра. Теперь чувствую себя усталым и опустошенным, что усугубляется личным несчастьем: в апреле, после трех лет страшных мучений, умерла моя мать, еще далеко не старая женщина. Здоровье жены и дочери также оставляет желать многого. Наше материальное положение временно улучшилось, но неопределенность сохраняется. Времена сейчас тревожные.

Как ясно из полученного, Ваше предыдущее письмо ко мне затерялось, и Ваш отклик (за который от всей души благодарю Вас) [не сохранился] я прочел уже в газетной вырезке, кем-то мне подброшенной.

Желаю Вам здоровья и бодрости.

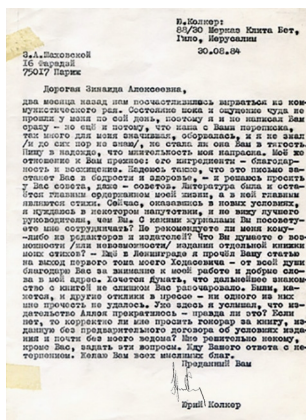
Любящий Вас —

Юрий Колкер

Здесь заканчивается ленинградская часть моей переписки с Шаховской.

Ю. Колкер
88/30 Мерказ Клита Бет,
Гило, Иерусалим
30.08.84

Дорогая Зинаида Алексеевна,
два месяца назад нам посчастливилось вырваться из коммунистического рая. Состояние шока и ощущение чуда не прошли у меня по сей день, поэтому я и не написал Вам сразу — но еще и потому, что наша с Вами переписка, так много для меня значившая, оборвалась, и я не знал (и до сих пор не знаю), не стала ли она Вам в тягость. Пишу в надежде, что мнительность моя напрасна. Моё же отношение к Вам прежнее: его ингредиенты — благодарность и восхищение. Наде-



уюсь так же, что это письмо застанет Вас в бодрости и здоровье, — и решаюсь просить у Вас совета, даже — советов. Литература была и остается главным содержанием моей жизни, а в ней главным являются стихи. Сейчас, оказавшись в новых условиях, я нуждаюсь в некотором напутствии, и не вижу лучшего руководителя, чем Вы. С какими журналами Вы посоветуете мне сотрудничать? Не рекомендуете ли меня кому-либо из редакторов и издате-

лей? Что Вы думаете о возможности (или невозможности) издания отдельной книжки моих стихов? — Еще в Ленинграде я прочел Вашу статью [не сохранилась] на выход первого тома моего Ходасевича — от всей души благодарю Вас за внимание к моей работе и добрые слова в мой адрес. Хотелось думать, что дальнейшее знакомство с книгой не слишком Вас разочаровало. Были, кажется, и другие отклики в прессе — ни одного из них мне прочесть не удалось. Уже здесь я услышал, что издательство Аллоя прекратилось [я всё ещё не знаю, что двухтомник Ходасевича вышел не в «издательстве Аллоя», а в издательстве *La Presse Libre*] — правда ли это? Мне решительно некому, кроме Вас, задать эти вопросы. Жду Вашего ответа с нетерпением. Желаю Вам всех мыслимых благ.

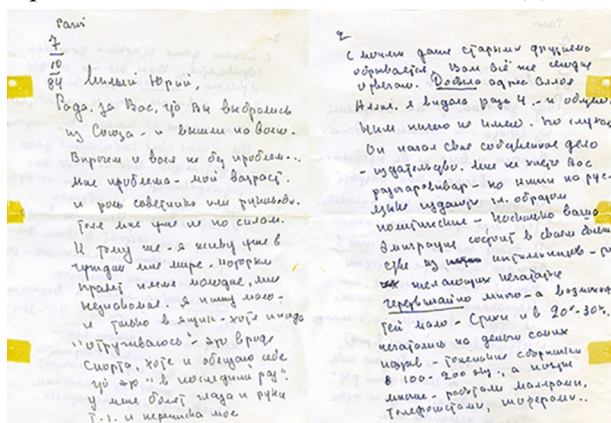
Преданный Вам

Юрий Колкер

7/10/84

Милый Юрий,

Рада за Вас, что Вы выбрались из Союза — и вышли на волю. Впрочем и воля не без проблем. Моя проблема — мой возраст, и роль советника и руководителя мне уже не по силам. К тому же, я живу уже в чужом мне мире, которым правит племя молодое, мне незнакомое. Я пишу мало — и только в ящик, хотя иногда «отругиваюсь» — это вроде спорта, хотя и обещаю себе что это «в последний раз». У меня болят глаза и руки т. ч. переписка моя с моими даже старыми друзьями обрывается. Вам всё же сегодня отвечаю. *Добыла адрес*



Аллея. Аллея я видела раза 4 — и общего с ним ничего не имею. По слухам он начал свое собственное дело — издательство. Мне не хочется Вас разочаровывать — но книги на рус. языке издаются гл. образом политические — поскольку ваша эмиграция состоит в своем большинстве из интеллигентов, то желающих печататься *чрезвычайно* много, а возможностей мало. Стихи и в 20х-30х г. печатались на деньги самих поэтов — тоненькие сборнички в 100-200 экз., а поэты многие — работали малярами, телефонистами, шоферами... Когда я была редактором Р. М. [Русской мысли] я выпустила кажется 2-3 книги по полученным из Союза рукописям и когда авторы их оказывались на Западе — хоть книги их и не покрыли расходы по печати я все же что-то уплатила авторам

[два имени неразборчиво: Н. Бокасу (?), Марченко (?)] и т. д. Говорят, я не знаю, что Аллой продавал издан. им книги в разные университеты и т.д. Он мне не сказал, откуда он получил вашу — просто спросил, что я о ней думаю. Вероятно, в Израиле есть люди, которые Вам могут дать совет. Как профес. писатель могу сказать что гонорар всегда корректно просить, что так же корректно для издателя платить автору, тем более если книга издана без авторского на то согласия. В Израиле живет хорошая поэтесса Лия Владимирова, адрес Вы её легко узнаете. В Иерусалимском университете среди "русистов" Вы вероятно сами найдете кого-нибудь, кто захочет Вам помочь советом. Я встречала тут напр. невероятно ученого профессора А. Флейшмана — ему если увидите передайте мой привет. Адрес Аллой:

Monsieur V. Alloy
17, rue des Immeubles Industriels,
75011 Paris, France

Простите, что не очень ободрительно мое письмо. Я смолоду жила без иллюзий, но не без надежды. Вопреки логике, бывают и удачи. Желаю Вам радости и удачи, здоровья всей Вашей семье.

ЗШ

[приписка сбоку:]

Послать стихи можно Якову Моисеевичу *André Sedych* в Новое Рус. Слово в Нью-Йорк или Глезеру в "Стрелец" (адреса у меня нет), в "Время и мы" *не ссылайтесь на меня* в последнем случае — меня "Время и мы" ругательно ругает...

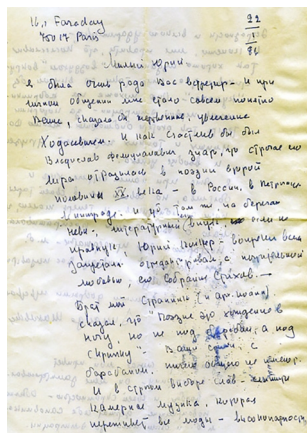
Следующее письмо — отклик Зинаиды Шаховской на мой визит к ней в Париже 17 января 1986 года. Это была наша первая встреча после пяти лет переписки, начавшейся для меня в Ленинграде. В гостях у Шаховской я оказался в компании с литературоведом Габриэлем Суперфином; привёз нас к Шаховской издатель и редактор Владимир Аллой на своей машине. Я подарил Шаховской мою недавнюю книгу стихов *Послесловие* (Иерусалим, 1985), а от неё получил в подарок изданный ею *Русский альманах* (Париж, 1981) и её книги *Отражения* (Париж, 1975) и

16., Faraday
75017 Paris

22/1/86

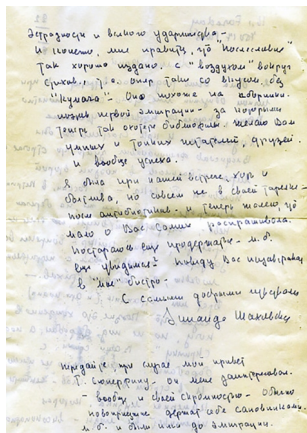
Милый Юрий,

я была очень рада Вас встретить — и при личном общении



мне стало совсем понятно Ваше, сказала бы[,] жертвенное, увлечение Ходасевичем. И как счастлив был бы Владислав Фелицианович знать, что строгая его лира отразилась в поэзии второй половины XX века — в России, в Петрограде-Ленинграде, и что там же, на берегах Невы, литературный внук, если не правнук, Юрий Колкер вопреки всем запретам, отредактировал, с почтительной любовью, его Собрание Стихов.

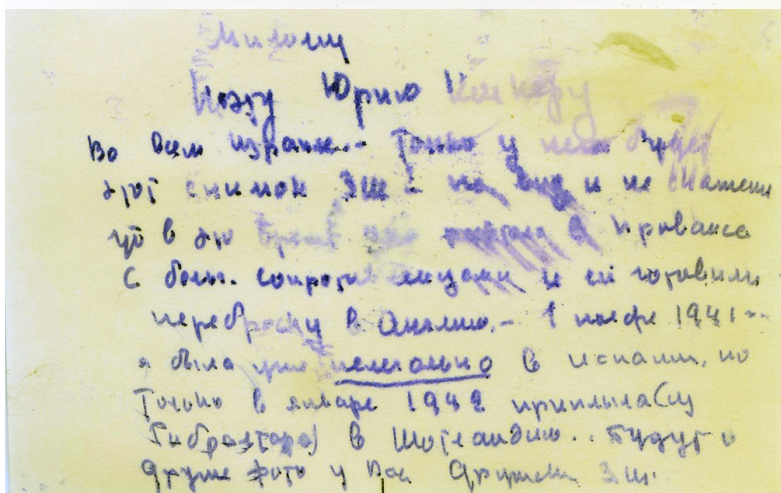
— Брат мой Странник (и арх. Иоанн) сказал, что «поэзия это хождение в ногу, но не под барабан, а под скрипку» — Ваши стихи с барабаном ничего общего не имеют. И в строгом выборе слов — слышится камерная музыка, которая переживает все моды — высокопарности, эстрадности и всякого ударничества — и конечно мне нравится, что «Послесловие» так хорошо издано, с «воздухом» вокруг стихов, т. е. опять таки со вкусом, без «кумача». Оно похоже на сборники поэтов первой эмиграции — за которыми теперь так охотятся библиофилы. Желаю Вам умных и тонких читателей, друзей и вообще успеха.



Я была при нашей встрече хоть и болтлива, но совсем не в своей тарелке после антибиотиков — и теперь жалею, что



L'AUTEUR A AIX-EN-PROVENCE, AVRIL 1941.



мало о Вас самих расспрашивала. Постараюсь еще продержаться — м. б. еще увидимся? — поведу Вас позавтракать в «мое» бистро.

С самыми добрыми чувствами

Зинаида Шаховская

Передайте, при случае мой привет Г. Суперфину, он меня заинтересовал — вообще, и своей скромностью — обычно новоприезжие держат себя сановниками. М. б. и были ими до эмиграции.

[надпись на приложенном фотографическом портрете:]

Милому поэту Юрию Колкеру.

Во всем Израиле только у него будет этот снимок ЗШ — на вид и не скажешь что в это время ЗШ работала в Провансе с белг. сопротивленцами и ей готовили переброску в Англию. — 1 ноября 1941 я была *нелегально* в Испании, но только в январе 1942 приплыла (из Гибралтара) в Шотландию. Будут и другие фото у Вас. Дружески ЗШ

Типографский текст под фотографическим портретом Шаховской («Автор в Экс-ан-Провансе, апрель 1941») заставляет предположить, что этот присланный мне снимок — иллюстрация из какой-то французской книги Зинаиды Алексеевны.]

Моя переписка с Зинаидой Шаховской возобновляется, когда я живу в Лондоне и работаю продюсером на русской службе Би-Би-Си, а Шаховскую пытаюсь время от времени привлекать к участию в радиопередачах. Обыкновенно она отказывается, но всё же в феврале 1996 года мне удалось получить у нее телефонное интервью для моей передачи о Георгии Адамовиче. Первое из сохранившихся за этот период письмо Шаховской ко мне — открытка от 3 января 1996, на лицевой стороне которой изображены пять тюльпанов со словами *Quatre roèmes pour l'homme seul*. Текст письма — рукою приходившей к Зинаиде Алексеевне помощницы; только последние слова, дата и подпись — рукою писательницы. Вот что она пишет:

Это заглавный лист моей французской поэмки *Quatre roèmes pour l'homme seul*, посвященной моему мужу в 1940 году, когда он пропал без вести. Иллюстрировал ее оригинал французский художник *André Marchand in quarto* — сейчас в музее, в США. Тюльпаны замечательного сине-голубого цвета. Так что открытка праздничная!

[далее рукою Шаховской:]

С добрым приветом
ЗШ

3/1/96 Юри Колкер на память

«...кроме поэмы, — рукой композитора»
 Это замечательный текст
 французской поэмы
 «Quatre poèmes pour

l'homme seul»

посвященное моему супругу
 в 1940 году, когда он пропал
 без вести. Иллюстрировал ее
 французский художник
 Андре Малебранд
 in quarto — сейчас в музее,
 в Ш.А. Тампана замечательного
 синего цвета. Как это
 открытка прекрасная!

3 с добрым приветом

1/98 ЗМ.

1000 (2012) — и с номером



58 Milton Drive
 Herts WD6 2BB
 Borehamwood
 England

M^{me} Zinaïda Schakovskoy
 16 rue Faraday
 75017 Paris
 France

26 июня 1996

Дорогая Зинаида Алексеевна,
 я был бесконечно рад слышать Ваш голос по телефону — и
 узнать, что Вы всё так же деятельны и полны планов на буду-
 щее. Большое Вам спасибо за предложение прислать мне
 Ваш CV по-русски (конверт с моим адресом вложен в это
 письмо). Я обязательно напишу о Вас в связи с Вашим юби-
 леем, а моя жена Таня мечтала ещё сделать о Вас передачу по
 радио, — но это, конечно, невозможно без Вашего участия и
 Вашего голоса. Вы по-прежнему значите для меня очень-
 очень много.

Адрес Ваш я спрашивал, можно сказать, на всякий слу-
 чай, ведь люди иногда меняют адреса, — вообще же он у ме-

ня есть вот уже 15 лет: с тех самых пор, как Вы, в ответ на моё письмо, написали ко мне в Россию (я тогда готовил двухтомник Ходасевича). Как сейчас помню, каким чудом и какой радостью было для нас первое Ваше письмо, дошедшее по почте в глухие брежневские времена.

Жду с нетерпением Вашего CV — и того удовольствия, которое мне доставит работа над статьей о Вас. Ваши *Отражения* часто перечитываю и не устаю удивляться Вашей самостоятельности: того, что написали Вы, по-русски не написал бы никто. Позвольте обнять Вас. Любящий Вас

Юрий Колкер

В следующем письме — рукою Зинаиды Шаховской — только адрес, дата и подпись; текст письма написан рукой Иоанны Потаенко, помощницы Шаховской:

16., Faraday
75017 Paris

Париж,
4/7/96]

Дорогой Юрий!

Получила Ваше письмо, спасибо. Не могла отыскать мой CV, может быть, была последняя копия, и я отдала делать ксерокс. Когда Вы его получите, Вы будете единственный в Англии, который может написать — если меня уже не будет на нашей интересной планете, — статью, в которой не будет отсебятины.

Не могу понять, неужели у Вас из моих русских книг имеется только «Отражения»? У меня еще несколько экземпляров моих русских книг имеется.

Нет, даже Тане я не могу дать интервью, и даже по радио. Запросы о телевидении у меня получают гораздо более энергичный ответ. Зато если Вы с Таней будете в Париже, и если я буду в состоянии вас принять, то с удовольствием это сделаю.

Примите мой добрый привет и мои самые добрые поже-

лания и разделите их с Таней.

[К этому письму Шаховской были приложены четыре машинописных документа с поправками, каждый объемом не более страницы, озаглавленные:

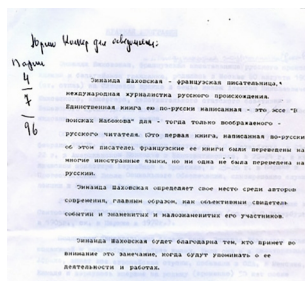
Краткая биография,
Краткое изложение деятельности,
Русские произведения,
Русская периодика.

Или, допуская такое, это — *один* документ из четырех частей, её CV по-русски.

Этим документам (этому документу) предпослано машинописное введение в полстраницы, рукою Зинаиды Алексеевны помеченное датой 4 июля 1996 года и с её же припиской: «Юрию Колкер для осведомления». В тексте введения имеется странность: книга *В поисках Набокова* названа «единственной книгой», «ею по-русски написанной», а между тем Шаховскою изданы шесть книг по-русски, и книга *В поисках Набокова* на 1996 год была последней по дате выхода в свет (в 1979 году). Вот это введение:]

«Зинаида Шаховская — французская писательница, международная журналистка русского происхождения. Единственная книга ею по-русски написанная — это эссе "В поисках Набокова" для — тогда только воображаемого — русского читателя. (Это первая книга, написанная по-русски об этом писателе). Французские ее книги были переведены на многие иностранные языки, но ни одна не была переведена на русский.

Зинаида Шаховская определяет свое место среди авторов современия [sic], главным образом, как объективный свидетель событий и знаменитых и малоизвестных его участников.



Зинаида Шаховская будет благодарна тем, кто примет во внимание это замечание, когда будут упоминать о ее деятельности и работах.»

[Помещаю четыре упомянутых страницы русского CV Зинаиды Шаховской, воспроизводя по возможности их графику и архитектонику.]

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

Зинаида Шаховская, французская писательница и международная журналистка (free-lance) русского происхождения и бельгийская гражданка, родилась в Москве 30 августа 1906 г. (ст. стиль) на Сивцевом Вражке в семье князя Алексея Николаевича Шаховского, камергера, действительного статского советника и венёвского предводителя дворянства, и жены его, княгини Анны Леонидовны, урожденной фон Книна.

Образование получила sporadическое: от сентября 1916 до февраля 1917 г. в Екатерининском Институте в С. Петербурге, в 21–22 г. в Американском Колледже в Константинополе, в 23–24 г. в католическом монастыре Верлеймон в Брюсселе, в 25–26 г. в Париже в Протестантской Школе Социального Обеспечения, одновременно слушая лекции в Коллеж де Франс.

21.XI.1926 г. вышла замуж в Сергиевском Подворьи в Париже за Святослава Святославовича Малевского-Малевиц (род. в С.Петербурге в 1905 г., ск. в Париже в 1973 г.).

Подлинная свидетельница своего века, Зинаида Шаховская вела подвижной и разнообразный образ жизни. Была она и в экваториальной Африке, знает все европейские страны, побывала в США, в Мексике, Канаде и вернулась впервые на родину (временно) 50 лет после своего рождения как жена С. С. Малевского-Малевиц, назначенного в 1956 г. первым секретарем бельгийского посольства в Москве.

Многогранная ее деятельность позволила ей войти в контакт с разными социальными слоями. Ее творчество отражает в полной независимости суждения наш пестрый мир, находящийся в непрерывном движении.

Награждения:

Зинаида Шаховская — Офицер ордена Почетного Легиона
Командор ордена Искусства
и Словесности
(за совокупность произведений)
Крест за героический побег (Бельгия)
Медаль города Парижа,
и другие.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1932–1940 г. Сотрудник в бельгийских литературных журналах. Специальный корреспондент газеты "Ле Суар", Брюссель, в Польше, Литве, Латвии, Эстонии.
- Май-июль 1940 г. Работа сестрой во французском военном госпитале.
- С августа 1940 г. Первые контакты с начинающим Сопротивлением. В сентябре 1940, после допроса в Гестапо находится под полицейским контролем с запретом выезда из Парижа.
- Февраль 1941 г. Нелегальный переход в свободную зону, в Экс-ан-Прованс. Участие в бельгийском Сопротивлении в Марселе.
- 1.XI.1941 Покидает Францию, направляясь в Англию через Испанию, Португалию и Гибралтар.
- Январь 1942 г. В Лондоне становится редактором AFI (Французское Информационное Агентство), бывшее агентство Navas, Fleet street, London — работала до 1 апреля 1945 г.
- 1945–1947 г. Военный корреспондент в Германии (Нюрнбергский процесс), Австрии, Италии и Греции.
- 1949 г. Литературная деятельность в Париже.

- 1951–1952 г. Исполнительный секретарь FIAF (Международной Федерации Фильмовых Архивов) в Париже. Организация съездов членов федерации в Остенде, Копенгагене и Риме.
- 1961–64 Сотрудник главной редакции французского радиовещания ORTF.
- 1964–68 В русской секции ORTF ответственна за передачи о французской культуре.
- 1968–1978 Главный редактор "Русской Мысли" (еженедельник) в Париже.
- 1976 ? Председатель жюри премии им. Даля, Париж.
- 1981 Создатель и редактор Русского Альманаха, Париж, и его собственник.

РУССКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

— Стихи:

"Уход". 1934 г.

"Дорога". 1935 г.

"Перед сном". 1970 г.

— "Отражения". Воспоминания о русских зарубежных писателях 20-30-х годов. Имка-Пресс. Париж. 1978.

— "Рассказы, статьи, стихи". Имка-Пресс. Париж. 1978.

— "В поисках Набокова". Эссе. La Presse Libre. Paris. 1979.
Первая на русском языке книга об этом писателе.

РУССКАЯ ПЕРИОДИКА

До войны:

Современные Записки, Париж

Русские Записки, Париж

Русский Вестник, Брюссель

Сегодня, Рига

Новь, Таллин
Полярная Звезда, Брюссель–Париж
Содружество, Выборг (Финляндия)

После войны:

— В зарубежье :

Возрождение
Новый Журнал
Континент
Новое Русское Слово
Русская Мысль
Вестник Р.Х.Д.
Инициатор и редактор сборника "Русский Альманах",
Париж, 1981 г.

— После 1990 г. в России :

Юность
Новый Мир
Наше Наследие
Наш Современник
Север
и другие

[17 сентября 1996]

[моя поздравительная открытка (Belated Birthday Card):]

Дорогая Зинаида Алексеевна,

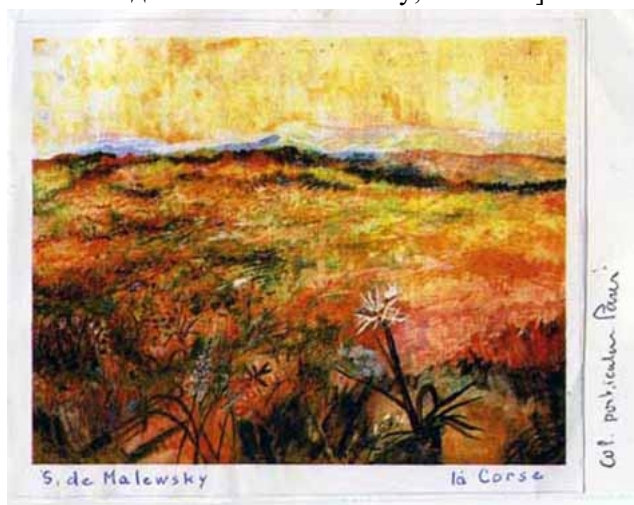
С опозданием — но с меньшей от этого любовью —
поздравляю Вас с днем рождения и от всей души желаю Вам
здоровья и творческих сил. Не сомневаюсь, что Ваша новая
книга будет замечательна (и жалею, что она — не по-русски).
Надеюсь, Вам понравились присланные мною цветы [через
агентство Interflora и, конечно, от меня лично, не от Би-Би-
Си]. Я не забыл о Вашем дне рождения, и вот тому свиде-
тельство: с 11-го по 13-е сентября на волнах русской службы
бибиси шла подготовленная мною небольшая передача [в
моём радиожурнале *Парадигма*], в которой я рассказал Вашу
судьбу и процитировал кое-что из Ваших сочинений. Но как

раз после этого, неделю назад, на меня разом свалилась уйма дел, я завертелся, — и тут, действительно, пропустил Ваш юбилей. Не обижайтесь. Вы бесконечно много значите для меня. Вы едва ли помните это, но Вы писали мне в Ленинград в начале 1980-х, когда я сидел в ленинградских кочегарках и готовил двухтомник Ходасевича. Ваши письма — из Парижа в Ленинград — были для меня письмами с родины на чужбину.

Мои жена и дочь присоединяются к моим сердечным поздравлениям. Обнимаю Вас. Всегда Ваш

Юрий Колкер

[Открытка от Шаховской с репродукцией картины её мужа: вид Корсики, подпись: S. De Malewsky, La Corse]



25/9/96

Милый Юрий,

Спасибо — за память, за пожелания, цветы были излишни. Единственное что радует и согревает мою старость — это сознание, что хоть и малым, но могла порадовать кого-то (15 лет тому назад) [то есть Шаховская помнит, что наша с нею переписка началась в 1981 году, 15 лет назад].

Я уже не отвечаю на письма, но бывают исключения. И я

(тоже единственное в нашей переписке) вызвано, может быть, не только моей пятнадцатилетней почтительностью и благодарностью к моей корреспондентке, не только цветами, посланными ей мною на её 90-летие, но и тем, что с 1995 года я, в качестве продюсера русской службы Би-Би-Си, иногда брал у нее телефонные интервью для передач этой службы.

28.5.1997 г.

ПАРИЖ

Доброжелательный ко мне Юрий Колкер!

Хотя я физически и скована артрозом всех суставов, включая необходимых для меня рук, мозг мой не по летам действен [sic! может быть, ошибка писавшего под диктовку]. Я давно мечтала прочесть в английском переводе «В поисках Набокова», но никогда не было времени и навыка искать себе издателя, поскольку [sic] все мои французские книги шли самотеком.

Литературного агента у меня в жизни не было, а в Англии сейчас современников моих нет.

Вы совсем освоились в Англии [в этом моя корреспондентка очень далека от истины], и я думаю, что Вы, может быть, согласились бы помочь мне и стать моим литературным «агентом». Это можно оформить — здесь, на Западе, есть готовые формы условия — а даровым трудом я не пользуюсь. Самое лучшее — найти известного переводчика, природного англичанина, у которого уже есть связи с представителями англоязычных издателей.

В США существует набоковское лобби ревнителей памяти Набокова. Они установили цензуру над набоковианой, как, например, Симон Карлинский. Эту цензуру не могли пробить даже русско-американские профессора, отклики которых я прилагаю [среди присланных мне Шаховской материалов есть отзывы о её книге (с её ответами на них), но я не нахожу откликов «русско-американских профессоров», то есть, как я понимаю, литературоведов, родившихся в СССР]. Поэтому надо обращаться прежде всего в известные английские издательства, можно и в канадские или австралийские. В частности, в Англии к Набокову, как писателю, относятся

гораздо более сдержанно, чем в Америке.

Обращаю Ваше внимание, что моим английским издательством, в котором были переведены и изданы 2 мои книги, было «Jonathan Cape». Но директора этого издательства, моего друга, там уже нет. Да и директора других мне известных издательств давно заменены более юными.

Посылаю Вам, хотя, вероятно, у Вас и имеется, «В поиске Набокова» [ошибка переписчика; книга Шаховской называется *В поисках Набокова*; в моем экземпляре книги автограф Шаховской датирован не днём написания настоящего письма (28 мая 1997 года), а 4 сентября 1997 года, днем, когда я навесил Шаховскую в Париже] и отзывы в США и во Франции.

Напишите мне, интересует ли Вас мое предложение. Ввиду моего преклонного возраста я ничего не имею против того, чтобы определенный процент моих авторских прав (с английских изданий) поделить с Вами.

[подписи почему-то нет]

P.S. Gordon McVay, professor, University of East Anglia.

Надеюсь, что он здоровствует. Он сотрудничал с большой охотой в моем «Русском Альманахе». Думаю, что если Вы свяжетесь с ним и скажете, что я не могу сама писать из-за артроза рук и поручила Вам передать и мой самый добрый привет, и просьбу помочь хоть советами, если его не интересует быть переводчиком.

[Предложение Шаховской я принял лишь 4 сентября 1997 года, при личной встрече с нею в Париже, принял неохотно и только наполовину: не согласился становиться её официальным литературным агентом, работающим за вознаграждение, но изъявил готовность попытаться содействовать переводу и изданию книги *В поисках Набокова* (которую совсем не любил и не ценил), оговорив, что времени и сил у меня мало, всё уходит на борьбу за выживание (от Би-Би-Си я получаю гроши), так что не следует возлагать на меня излишних надежд.]

Спустя три дня Шаховская пишет мне ещё раз, видимо, поняв, что не договорила насчёт профессора Маквзя, возникшего в предыдущем письме ниоткуда и без видимой связи. Письмо написано её рукою, на обеих сторонах каждой из двух карточек величиной с почтовую открытку.

Paris
1/6/97

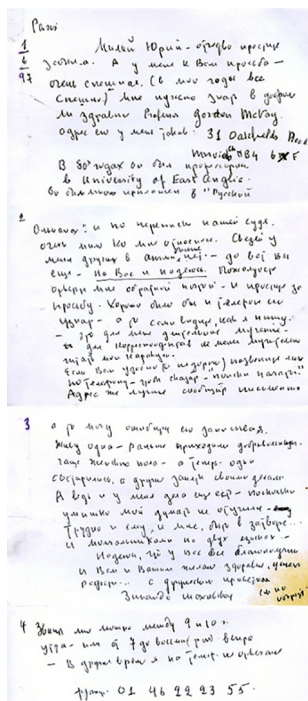
Милый Юрий — отчество простите забыла. А у меня к Вам просьба — очень спешная (в мои годы все спешно). Мне нужно знать в добром ли здравии Professor Gordon MacVay. Адрес его у меня таков:

31 Oakfields Road,
Norwich NB4 6XF

[в адресе — ошибка; правильно так:: Norwich NR4 6XF].

В 80х годах он был профессором в University of East Anglia. Он был мною приглашен в «Русский Альманах» и по переписке нашей судя очень мило ко мне относился. Связей у меня других в Англии больше нет — да вот Вы еще — на Вас и надеюсь. Пожалуйста, ответьте мне обратной почтой — и простите за просьбу. Хорошо было бы и телефон его узнать — а то сами видите, как я пишу — это для меня длительное мучение — для корреспондентов не менее мучительно читать мои каракули.

Если Вам удастся (и недорого) позвоните мне по телефону — чтобы сказать — «поиски начаты». Адрес же лучше сообщите письменно, а то могу ошибиться его записывая. Живу одна — раньше приходили добровольцы — чаще женского пола — а теперь одни состарились, а другие заняты своими



делами. А ведь и у меня дела еще есть — поскольку умишко мой думать не отучился. Трудно и ему, и мне, быть в затворе... и молчальниками на двух языках.

Надеюсь, что у Вас все благополучно и Вам и Вашим желаю здоровья, успеха, радости... С дружеским приветом

Зинаида Шаховская

Звонить мне можно между 9 и 10 ч. утра — или от 7 до восьми (pm) вечера. В другое время я на телеф. не отвечаю.

Франция 01 46 22 23 55

5 июня 1997

Дорогая Зинаида Алексеевна,
спасибо за Ваше письмо. Отвечаю немедленно. Разумеется, я сегодня же сделаю всё, чтобы отыскать профессора Мак-Вэя — и сразу же дам Вам знать о результатах моего поиска.

Не хотите ли Вы, чтобы я поискал в Париже людей, которые могли бы помогать Вам?

Любящий Вас

Юрий Колкер

Привожу моё письмо к профессору Маквэю. Из него видно, что я не во-все обманул Шаховскую: написал профессору в тот же день (не помню, правда, звонил ли я Шаховской), однако ж это не значило «сделать всё». И какую рассеянность я проявил! В моём письме к Маквэю целых три ошибки, из которых две непростительны и могли на недели отсрочить контакт с Маквэем, которого Шаховская так ждала. Что я, как уже случилось, переврал адрес Шаховской (написал rue Fadaray, вместо rue Faraday), потому что использовал, не глядя, ту же шапку текстового файла, — сущий пустяк; Маквэй, конечно, понял, что к чему (он, скорее всего, и без меня знал адрес писательницы, хранил его с 1981 года, когда принимал участие в работе над *Русским альманахом*). Хуже, что я, не проверив адрес Маквэя, воспроизвожу неточный адрес, указанный Шаховской (NB4 вместо NR4), — но и тут ещё беда невелика; королевская почта — превосходный механизм, на таком она не спотыкается. Беда в другом: я не справился о теперешнем адресе Маквэя, хоть и мог это сде-

лать, не подумал, что с 1981 года прошло 16 лет, и адрес мог измениться (профессор и в самом деле переехал в другой город — но письмо всё-таки дошло). А совсем плохо то, что я не указал Маквэю, в какие часы можно звонить Шаховской, забыл, что большую часть дня она к телефону не подходит. Как я мог так оплошать?! Не знаю. Стыжусь, а деваться некуда. Не валю вину на почерк Шаховской, действительно, изнуряющий; не мог я не дочитать её письма. Не оправдаюсь и состоянием стресса, в котором безвылазно жил в эти месяцы, спасибо проклятым библиям. Горькая правда состоит в другом: я не понимал, что в 90 лет человек считает уже не дни, а часы своей жизни.

58 Milton Drive
Herts WD6 2BB
Borehamwood

5 June 1997

To: Professor Gordon McVay

31 Oakfields Road

Norwich NB4 6XF [правильно было бы: NR4 6XF]

Dear Professor McVay,

I'm writing on behalf of an aged lady, Mrs Zinaida Schakovskoy of Paris (she is 91 this September) who urgently wanted to hear from you. Her address is:

Mme Zinaida Schakovskoy

16 rue Fadaray [увы, та же моя дислексия, что и в предыдущем письме к З. Ш.!]

75017 Paris

France

and her telephone number, 33 01 46 22 23 55 (notice please the new area code of Paris). Be so kind, drop a few lines to inform me whether you are willing to contact her. [Характерный момент: я не прошу Маквэя позвонить мне, что ему было бы куда легче, и не даю номера моего телефона, а прошу написать мне. Я избегаю телефонных разговоров, но ещё не догадываюсь о причине этого: не понимаю, что слух у меня слабеет. Маквэй всё-таки находит меня через Би-Би-Си и звонит мне.]

Sincerely yours

Yuri Kolker

19 августа 1997

Дорогая Зинаида Алексеевна, надеюсь, Вы давно уже получили письмо или звонок от профессора Мак-Вэя, но — на всякий случай — вот его адрес: 5 Newcombe Road, Westbury-on-Trym, Bristol BS9 3QS. Я написал ему сразу же по получении Вашего письма от 1/06/97, но у него переменялся адрес (он даже переехал в другой город), и позвонил он мне лишь спустя некоторое время. Стыжусь, что не написал Вам раньше, но помню о Вас постоянно и люблю Вас по-прежнему. Некоторым оправданием может мне служить хроническая нехватка времени. Я работаю с утра до вечера без выходных и отпусков. В последние годы я живу исключительно на заработки от сочинительства и переводов — и Вы легко представите себе, каково мне приходится. Тем не менее сейчас наметился у меня некоторый просвет — и я бы хотел, разумеется, если Вы позволите, навестить Вас в начале сентября. Пожалуйста, дайте знать, могу ли я на это надеяться. Это будет (если будет) ни в малейшей степени не деловой визит: просто я хочу Вас видеть [Шаховская могла рассчитывать именно на визит деловой]. Как раз 15 лет назад [точнее: 15 с половиной, в марте 1981], в Ленинграде, я получил от Вас первое письмо (я тогда занимался Ходасевичем), и с тех самых пор Вы очень много для меня значите.

Как подвигается Ваша работа? Я сознаю, как тяжело Вам писать, но был бы счастлив получить от Вас весточку. Незачем говорить, что я храню каждое Ваше письмо.

Любящий Вас,

Юрий Колкер

С 3 сентября по 5 сентября 1997 года я был в Париже в гостях у генетика Раисы Львовны Берг (1913-2006). На другой день по приезде, 4 сентября 1997 года, я навестил Зинаиду Шаховскую в её квартире на улице Фарадея. Этой датой помечены два её автографа мне: на книге *В поисках На-*

бокова и на её «собственном детище», *Русском альманахе* (1981). В этот приезд я получил от Шаховской некоторые из её архивных материалов (её воспоминания о семье Набоковых, её возражения критикам, статью Саймона Карлинского в газете *Washington Post* с перепиской вокруг этой статьи, и др.). С приведённым ниже письмом я возвращаю Шаховской эти материалы, оставив себе их копии. Это была моя вторая и последняя встреча с Шаховской.

13.09.97

Дорогая Зинаида Алексеевна,
еще раз поздравляю Вас со св. Александром Невским [то есть с днём рождения. Шаховская всегда помнила, что родилась ровно через 172 года после перенесения мощей Александра Невского в Петербург (12/09/1724) и дорожила этим совпадением]. Я был счастлив слышать вчера [по телефону] Ваш бодрый и молодой голос.

Возвращаю ту часть Ваших заметок, которую мне полагалось скопировать и вернуть. Пока никакого движения в сторону осуществления Ваших планов нет: люди, с которыми мне необходимо связаться, отсутствуют в городе. Но прошу Вас верить, что я не потеряю ни одного дня, когда они вернутся, — и вообще сделаю всё, что в моих силах.

Обнимаю Вас. Привет Ване [то есть волонтерке-помощнице Шаховской, Иоанне Потаенко, которую Шаховская звала Ваней].

Преданный Вам

Юрий Колкер

Перед отъездом из Парижа я обменялся адресами с помощницей Зинаиды Шаховской, молодой сибирячкой Иоанной (Жанной) Потаенко, получив у неё разрешение писать ей и этим облегчить мою связь с Шаховской, не беспокоить лишний раз пожилую писательницу мелкими вопросами, требующими быстрого отклика: переложить мелочи на помощницу. Жанна, между тем, сама ещё далеко не была устроена в Париже, а после этого моего письма, на которое она ответила открыткой, стало ясно, что и бы-

строго доступа к интернету у неё нет. Вот моё письмо к Жанне:

13.09.97

Дорогая Жанна,

позвольте ещё раз от души поблагодарить Вас за помощь и обязательность, а главное — за то, что Вы делаете для Зинаиды Алексеевны.

Я пребываю в крайнем затруднении: я чувствую себя Вашим должником — и не нахожу способа вернуть долг. Поверьте, это — не пустые слова, мне очень хочется сделать для Вас что-либо не совсем бесполезное. Безумно обидно, что трудности с визой не пускают Вас в Лондон. Тем не менее, помните, что в Лондоне у Вас есть человек, который всегда с радостью откликнется на любую Вашу просьбу.

Всего Вам доброго.

Юрий Колкер

Ответная открытка Жанны даёт представление о том, чем в это время занималась Зинаида Шаховская, и о том, какова была помощь Жанны. Рубрику Жанны написаны и два последующие письма Шаховской ко мне.

Дорогой Юрий!

Я была очень тронута вашей благодарностью, но уверяю Вас, что это излишне, особенно когда речь идёт о таком человеке, как Зинаида Алексеевна. Думаю, любой на моём месте поступил бы так же, т. к. все мы преклоняемся перед её личностью и талантом. Я продолжаю регулярно её видеть (и по дружбе, и по работе), и мы кропотливо создаём разоблачительную статью о Диане [принцессе Уэльской (1961–1997)], о которой говорилось ею при вашем визите. В «большой прессе» статья, видимо, не выйдет, лучшее время публикации уже упущено, но зато будет частью небольшой «книжки воспоминаний», для которой у Зинаиды Алексеевны множество идей, впрочем как и, надеюсь, сил.

Всегда буду рада вам помочь, хотя бы в качестве гида в ваш следующий визит.

Всего Вам наилучшего. Жанна.

Моей первой попыткой пристроить книгу Шаховской стало обращение в небольшое издательство *Angel Classics*, специализировавшееся на иностранной литературе, преимущественно немецкой и русской. Главного редактора и владельца издательства по имени Antony Wood (NB: не Anthony, а именно Antony) я знал лично (и в ту пору ещё испытывал к нему доверие). Приведенное ниже письмо я послал ему факсом.

To: Antony Wood

From: Yuri Kolker

27 / 09 / 97

Dear Antony,

I've been to Paris visiting the oldest Russian writer Mme Zinaida Schakhovskoy (91), who asked my help in publishing in English her book *In Search of Nabokov*. The book was written in Russian, translated into and published in French and German but not in English. Mme Schakhovskoy knew Nabokov personally very well, helped him before he became famous and had a lot of letters from him (partly published). Do you think you and your publishing house may be interested in publishing this book? If not I will be very grateful to have got your advice on where shall I apply.

Please let me know your attitude as soon as possible.

Sincerely yours

Yuri Kolker

Ответ от Антони Вуда пришёл в тот же день, тоже факсом.

Dear Yuri

Nabokov: This wouldn't be for Angel but John Murry might be interested. I'm in touch and will tell them what you say.

This on Monday; after I have a reaction I'll be in touch with you.

All best.

Antony

Получив от Антони Вуда имя и номер, я отправил факсом в издательство *John Murray* следующее письмо:

58 Milton Drive
Borehamwood
Herts WD6 2BB
Tel./Fax: 0181 207 3616
e-mail: yuri@kolker.demon.co.uk

3/10/97

To: Ms Caroline Knox
c/o John Murray Publishing House
50 Albemarle St
London W1X 4BD
Fax to Ms Caroline Knox/ John Murray

Dear Ms Knox,

RE: *A la recherche de Nabokov* by Zinaida Shakovskoy

I am acting on behalf of a Paris writer, Mme Zinaida Shakovskoy, the author of *A la recherche de Nabokov*. I was told by Mr Antony Wood that your publishing house agreed to consider for publication this book originally written in Russian. Could you please confirm this and instruct me what shall be my next step. Should I find and submit a French copy? (Unfortunately, I have got just Russian one.)

Mme Shakovskoy, who was born a Russian Princess, is an extraordinary person. She participated in the French Resistance during the second world war. She published many works in Russian and French and twice won the French Academy Award. She is now 91, so the matter should not be postponed for too long.

Sincerely yours,

Yuri Kolker

3 октября 1997

Дорогая Зинаида Алексеевна,
лондонское издательство *John Murray* (одно из лучших в Англии) готово рассмотреть вопрос об издании Вашей книги о Набокове по-английски, но редактор, с которым я говорил,

хочет прочесть книгу по-французски — чтобы составить себе о ней мнение [когда я пишу это, я ещё не знаю, что John Murray Publisher будут готовы взять на прочтение книгу по-русски]. Не осталось ли у Вас французского экземпляра? Если да, очень прошу Вас прислать его мне. Убежден, что Ваня [Жанна Потаенко] Вам поможет (ей — большой привет)

Обнимаю Вас.

Юрий Колкер

7 October 1997

Dear Mr Kolker

Thank you for your fax concerning Zinaida Shakovsky's book. Please could you submit a copy in Russian for us to read.

With thanks

Yours sincerely

Caroline Knox



[от Шаховской, рукой Иоанны (Жанны) Потаенко]

7.10.1997

Дорогой Юрий!

Только что получила Ваше короткое, но интересное письмо о нашем Набокове. Французского экземпляра «Поисков» у меня быть никак не может, потому что, как я об этом написала, это была не только моя первая книга, написанная по-русски, но и первая книга на русском языке, о нём написанная.

Французы Набоковым интересуются мало. Кроме «Лолиты» и «Ады» книги его не расхвалили. Изучают его только русисты, у которых мой эссе [книга *В поисках Набокова*] имеется. Мой издатель «Grasset» сразу мне об этом сказал.

«John Murray» — издательство хорошее, и я думаю, оно может судить и по переведенным на английский язык откли-

кам американских профессоров [возможно, «отклики американских профессоров» были в числе материалов, которые, вместе с книгой *В поисках Набокова*, не вернуло мне издательство *John Murray*], и о французском отчёте Питера Равича [Шаховская имеет ввиду внутреннюю издательскую рецензию, написанную в 1979 году на её книгу]. Что же касается моих качеств как писателя, они отмечены английскими и американскими критиками в моей книге, вышедшей у Джонатана Кейпа [не знаю, и в 1997 году не знал, о какой книге идёт речь; вместо «Джонатана Кейпа» Жанна Потаенко написана «Джона Тэнкейпа», а Шаховская не проверила; Jonathan Cape был известным лондонским издателем в 1920-1950 годах].

У меня имеется немецкий перевод «Поисков» paper-back издательства «Ullstein». Но нельзя переводить книгу с переведенного текста — цитаты могут совсем изменить своё значение.

Неужели «Murray» не может найти английского специалиста по Набокову, критически относящегося к этому прославленному (особенно в США) писателю? Обнимаю Вас. Тепло приветствую Ваших. Когда будет время, подумаю, как послать Вам письмо, в котором подтверждаю Ваши английские права на издание «Поисков». Сама я поживаю нормально — плохо: дел слишком много, а сил нет.

Зинаида Шаховская

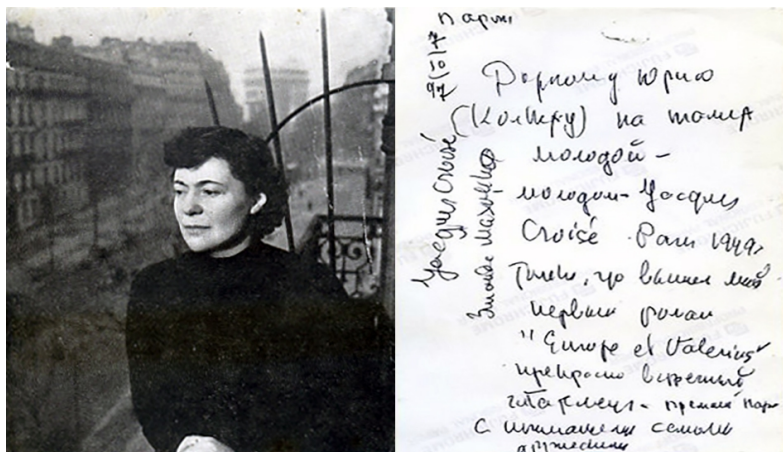
[К письму был приложен фотографический портрет Шаховской 1949 года со следующей припиской на обороте:]

Paris

7 /10 /97

Дорогому Юрию (Колкеру) на память о молодой — молодом — Jacques Croisé [псевдоним Шаховской] Paris 1949. Только что вышел мой первый роман *Europe et Valérius* прекрасно встреченный читателями — премией Парижа. С пожеланиями самыми дружескими.

Jacques Croisé // Зинаида Шаховская



Предыдущее письмо Шаховской не застало меня дома: я был Петербурге и затем в Москве (с 5 по 27 октября 1997 года). На другой день после возвращения я отправляю почтой в издательство *John Murray* русскую книгу Зинаиды Шаховской *В поисках Набокова*, сопроводив её письмом:

28/10/97

Dear Ms Knox,

RE: A book by Mme Zinaida Shakovskoy

Thank you very much for your letter of 7 October, 1997. Sorry I didn't react immediately (just yesterday I've been back from Russia). Here please find a copy of Zinaïda Shakovskoy's book in Russian. A German copy is also available.

I also enclose some materials which you may and perhaps will ignore since your conclusion must be independent, but they are of some value for me, so I'll be happy to have them back.

Please confirm you have got this parcel.

Sincerely

Yuri Kolker

[Ответа на это письмо не последовало.]

28 октября 1997

Дорогая Зинаида Алексеевна,
большое спасибо за Ваше письмо от 7.10.97 и фотографию. Надеюсь, Вы уже получили записку Тани, объясняющую, почему я не ответил Вам немедленно.

Насколько я понимаю, издательство хотело для начала получить самое общее представление о Вашей книге с помощью французского перевода и лишь затем (если книга понравится) обратиться к оригиналу, — то есть они вовсе не думали переводить с перевода, что было бы крайне непрофессионально и несерьезно. Но за эти недели положение изменилось: теперь они согласны рассмотреть русский текст, который я им только что послал (вместе с другими материалами) [издательство не вернуло мне ни книгу Шаховской, ни «материалы»]. Ваши слова «неужели *Murray* не может найти специалиста по Набокову, критически относящегося к этому прославленному писателю» — по крайней мере преждевременны: в издательстве ещё не знают, о чём идёт речь, не сосредоточились на этом деле. Весьма вероятно, что Ваш критический подход будет воспринят как раз весьма положительно. Можно понять издательство и в том, что оно хочет составить свое собственное — независимое — суждение и не полагается на газетные и иные отклики.

Пишу Вам на другой день после возвращения из Петербурга и Москвы. Поездка была изматывающей. В обоих городах я читал стихи и вёл переговоры с издателями и редакторами о моих сочинениях. Мои критические статьи идут на ура — притом в самых серьезных изданиях (последняя [об Айги] вышла в октябрьском номере *Нового мира* — и кто только меня не хвалил! [у москвичей была трудность: все понимали, что Айги бездарен, но не решались сказать об этом, ведь его преследовала советская власть, его похвалил Пастернак, и, главное, Айги — представитель малого, загнанного в угол народа. Чтобы сказать очевидное, нужен был человек со стороны; тут и пришлось к месту моя статья]), мои стихи нра-

ваться меньше, ибо в них я самый отъявленный реакционер (эстетический, конечно; я давно применяю к себе это слово, нуждающееся в реабилитации). Общее впечатление от России у меня ещё не оформилось, но по временам мне казалось, что я в преисподней.

На этом пока обрываю наш диалог. Обнимаю Вас. Привет и благодарности Жанне Потаенко. Всегда Ваш,

Юрий Колкер

Как и некоторые из прежних писем Зинаиды Шаховской, приведённое далее письмо написано рукою Иоанны (Жанны) Потаенко (Jeanne Potaïenko); только последние слова и подпись выведены артрической рукою Зинаиды Алексеевны; стало быть, архитектоника текста и другая графика (кавычки, запятые, диакритика, описки и т.п.) не принадлежат автору, их я кое-где исправляю... но, конечно, обращение ко мне и пояснение к нему, — не выдумка помощницы (ей могут принадлежать разве что ненужные кавычки).

6.11.1997

Paris

Дорогой «мой» Юра

(«Мой» — это не посягательство на Вашу свободу).

Спасибо Тане за очень умное и краткое объяснение Вашего молчания. Я хотела ей [Тане] ответить, и поблагодарить ее, но сама я писать не могу, а помощниц у меня некоторое время не было.

Если бы я знала, что Вы будете в Москве, в России, во всяком случае, я бы Вас попросила кому-нибудь позвонить. У меня к старости и прочему ещё случился и конъюнктивит аллергического происхождения — глаза как у кролика, наполнены слезами, даже читать не могу.

Дело все не в этом, а в том, что я хотела бы хоть в простом письме на английском языке дать Вам подтверждение, что, предлагая Вам стать моим агентом для устройства моего эссе о Набокове, я, в случае успеха 1) должна Вам заплатить то, что по закону лит. агенту полагается из суммы, получен-

ной при подписании контракта, 2) хоть и рано об этом писать, после моей смерти, завещать Вам и мои авторские права на эссе «В поисках Набокова» в английском переводе.

В загробной жизни деньги мне, несомненно, уже не понадобятся. Французские права я оставляю моему французскому другу (а русские же, как считающие себя вне международных законов, вот уже 10 лет как пользуются этим правом). И я — не любительница хищений. И даже в проблематических возможностях считаю своим долгом обеспечить преданных мне людей.

Все это, конечно, в данное время не серьезно. Серьезно только то, что я перешла в «четвёртое измерение», и отказываюсь от всякого лечения. А то ведь стану Кощеем-Бессмертным.

В новой России обо мне всё помнят; вполне мило было написано обо мне и моём брате-поэте [зачеркнуто: "Странник" (*Странник* — таков был псевдоним Дмитрия Алексеевича Шаховского, 1902-1989, в юности писавшего стихи, а в 1926 году ставшего монахом и священником)], т. е. арх. Иоанне, в «Золотой книге эмиграции первой трети XX века».

Посылаю Вам, милый, мою ядовитую переписку с «Washington Post», — доказательство [того], какой строгий контроль держит надо мною набоковское lobby. [далее рукой Зинаиды Шаховской] М. б. MacVay [то есть профессора-слависта Гордона Маквэя] она позабавит (если он англичанин, а если американец, то вряд ли).

Зинаида Шаховская

Желаю добра всей семье Вашей

28/10/97 [на самом деле: 12/11/97]

Dear Ms Knox,

RE: A book by Mme Zinaida Shakovskoy

Could you please confirm you have received a parcel from me sent 28 October, 1997, with a copy of Zinaida Shakovskoy's book

in Russian. (A German copy is also available.)

Sincerely yours,

Yuri Kolker

Ответа я не получил — быть может, из-за моей досадной оплошности: я использовал в качестве шаблона моё предыдущее письмо в издательство *John Murray* и, не доглядев, сохранил дату этого предыдущего письма, так что в издательстве могли подумать, что ответ на это письмо мне уже послан; а быть может, и по другой причине: по причине их хамского отношения к писателю.

24 декабря 1997

Дорогая Зинаида Алексеевна,

стыжусь, что молчал так долго, — да порадовать было нечем. Вашу книгу читает по-русски переводчик Пушкина Antony Wood [тот самый, из издательства Angel Classics, который рекомендовал мне обратиться в John Murray]. На днях я звонил ему: обещает вынести своё компетентное суждение к концу января.

В нашей жизни — никаких перемен: всё поглощает мерзкая суeta в попытках заработать копейку. Кормлюсь по-прежнему мелкой посконной журналистикой, не оставляющей никакого просвета для чего-то более достойного.

Недавно узнал об увольнении Гинзбургов [Арины и Александра] из *Русской мысли* [«разгром газеты»; уволено было шесть человек; управление газетой, по словам Александра Гинзбурга, перешло в московскую патриархию]. Думаете ли Вы, что им чем-либо можно помочь? Если будет случай, передайте им от меня поклон.

Поздравляю Вас с наступающим новым годом

Юрий Колкер

Следующее письмо, на куске плотной бумаги размером с открытку, писано (и несколько небрежно) под диктовку Шаховской кем-то из её помощников; её же рукою — только слова: «преданная Вам» и подпись. Исправляю явные оплошности писавшего.]

Дорогой Юрий,

Я прекрасно понимаю все трудности Вашего положения. Мне и моим пришлось быть беднее самых бедных, поскольку были «лишенные отечества». Если дружеские пожелания могут быть действенны, то пусть мои для Вашей семьи благожелательного, здорового и удачного 1998 года хоть частично оправдаются.

Мне хотелось бы, чтобы я, пока я на нашей общей планете, могла бы Вам пригодиться, хотя бы завещая Вам права на английском языке моего Набокова, даже и посмертные. Мне уже больше ничего не нужно. Если Anthony Wood [здесь Шаховская или её помощник поправляют меня, потому что не поверили, что начертание имени переводчика — Antony, а не (более распространённое) Anthony] известный переводчик, то он, вероятно, знает и издателей. Американские и английские отзывы о книгах моих довольно хвалебны.

Обнимаю Вас и Ваших, сердечно

преданная Вам

Зинаида Шаховская

Р. S. Передам по телефону Алику и Арине [Гинзбургам] привет. Помочь им весьма трудно, да и «РМ» недолговечна.

21 марта 1998

Дорогая Зинаида Алексеевна,

к моему величайшему сожалению, издательство *John Murray* не хочет печатать Вашу книгу. Официальной бумаги они мне вообще не прислали (таковы нынче нравы в Англии) — и это несмотря на мое вполне официальное письменное обращение, обмен звонками и факсимильными письмами, когда всё это начиналось, — а прислал мне записку рецензент Mr Antony Wood — записку совершенно невразумительную, общий смысл которой сводится к тому, что книга, мол, едва ли заинтересует английского читателя. Внятно объяснить, что, как и почему, — он не может или не хочет. Так что англичане ока-

зались не умнее американцев.

В ближайшее время попытаюсь связаться с Harvill Press.

Вообще, я чувствую себя без вины виноватым перед Вами. И моя любовь к Вам как к писателю и человеку, и мой долг перед Вами и русской словесностью — подсказывают мне, что я должен, всё бросив, заниматься порученным мне делом издания Вашей книги по-английски. Но, во-первых, я совершенно лишен деловой жилки и беспомощен перед сильными мира сего; а во-вторых и в-главных, все мои силы без остатка сдает ежедневная рутинная тягловая работа, без которой мне (и тем, кто от меня зависит) просто не прокормиться. Так что, боюсь, больших надежд со мною Вам связывать не стоит — и лучше перепоручить это дело кому-нибудь другому. Выпавшая мне честь оказывается мне просто не по плечу. Вы сделали ставку на заведомого неудачника.

Не сердитесь на меня, если можете.

Любящий Вас

Юрий Колкер

Привожу последнее письмо, полученное мною от Зинаиды Шаховской. Дата и подпись в нём — рукою самой Шаховской, остальное написано кем-то из её помощников, притом со смысловыми сбоями и купюрами (которые, конечно, могли принадлежать и самой писательнице, диктовавшей в рассеянности).

Paris 28 / 3 98

Дорогой Юрий.

Спасибо за ваше письмо от 21го марта. Вы никак и ничем передо мной не виноваты, никакого обязательства у Вас по отношению ко мне нет и не может быть. Мне просто хотелось, поскольку я ничем другим Вам помочь не могу, постараться, хоть посмертно, принести Вам какую-то помощь. Я Вам очень благодарна [sic] за то, что отнимала у Вас даром время вместо того, чтобы Вам помочь. Простите меня.

Пожалуйста, не считайте себя «неудачником». «Удачников» нет, потому что никто из живущих не успел закончить

то, что он задумал, Шекспир включительно. Не имея от Вас давно сведений, я беспокоилась не о своих делах, но о ваших личных; и по письму вижу, что у вас и у вашей семьи ещё не все устроилось. Поэтому вопрос о Набокове просто остается открытым. Я тут занята судьбой картин моего мужа и переизданием двух моих французских книг. Я бы не принимала в этом участия, если бы меня об этом не запрашивали разные персонажи. Хоть и имею право ото всего отказаться, но с десятилетнего возраста и до сих пор боюсь быть дезертиром.

Пожалуйста, если я могу быть вам чем-то полезной хотя бы в новой России, с которой счеты у меня особые, или во Франции [фраза не закончена]. «Рус. мысль» по-моему кончается и там и тут — грызней, как обычно. Обнимаю Вас, приветствую вашу семью, и всем вам желаю, чтобы с вами [пропуск] нечто благоприятное.

[далее рукою Шаховской]

Сердечно

Зинаида Шаховская

На этом наша переписка заканчивается. Зинаиде Шаховской оставалось жить немногим более трёх лет; она умерла в Париже 11 июня 2001 года на 95-м году жизни.

Оригиналы писем Шаховской и других приведённых тут документов архивированы в Калифорнии:

Hoover Institution Library & Archives,
Urii Kolker papers, 1921–2016. Stanford
Libraries catalog record.

Их электронные копии вывешены на моём сайте.



Zinaïda SCHAKOVSKOY

В ОЖИДАНИИ АРЕСТА

Текст объёмом в одну страницу под названием *Меморандум* был написан мною в 1982 году — и не когда-нибудь, а 14 декабря, что явилось чистой случайностью. Дабристов я в тот день не вспоминал и специально дату я не подбирал; не до того было. Просто в этот день, во вторник 14 декабря 1982 года, явился ко мне в мою трущобную коммуналку по адресу улица Воинова 7-20, один из предводителей ленинградского еврейского отказничества Яков Городецкий и сказал буквально следующее: «Значит, так. Меня берут на этой неделе, а тебя — на следующей».

Берут означало арестовывают за антисоветскую деятельность. Арест мог мне полагаться за несколько прегрешений: за участие (в числе многих) в основании Ленинградского общества по изучению еврейской культуры, законного, но властями разогнанного; за подготовку первых выпусков машинописного Ленинградского еврейского альманаха (ЛЕА); а если пофантазировать, то можно допустить, что и за деятельное участие в ленинградском литературном самиздате, в частности, за антологию ленинградской неподцензурной поэзии *Острова*, где я — один из четырёх редакторов-составителей, и — даже — за мой труд, выполненный практически в одиночестве (помощник появился на самом последнем этапе): за комментированный двухтомник стихов Владислава Ходасевича, разошедшийся в 1982 году в машинописи и вскоре изданный типографским способом в Париже. Таковым мои догадки.

Можно, если продолжать фантазировать, допустить и прямо противоположное: что мой очерк жизни и творчества Ходасевича *Айдееская прохлада* (столь удачный, что его читают вот уже почти сорок лет), проникнутый верой в Россию и любовью к русской культуре, но политически нейтральный, отмечающий лишь культурное помрачение большевизма, смягчил отношение ко мне литературоведов в штатском из Большого дома на Литейном и мою участь смягчил, — меня ведь не «взяли». Вдруг мною занимались не в одном, а в двух отделах этого почтенного учреждения? С евреями разговор был один, с русскими поэтами другой. И даже больше: служители охранки в эти годы уже и Льва Гумилева уважать начали; из интернационалистов они на глазах становились почвенниками и русопятами — и в этом отношении смыкались с русопятами и почвенниками из диссидентов...

Так или иначе, а меня не тронули ни в декабре 1982 года, ни в 1983 году (несмотря на составленное мною и наделавшее шуму открытое письмо с требованием свободы репатриации для евреев), а в середине 1984 года — после пяти отказов в течение долгих четырёх лет — даже отпустили в эмиграцию.

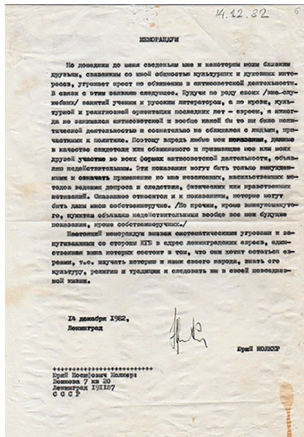
Отпечатав меморандум в нескольких экземплярах в декабре 1982 года, я раздал копии людям, которые, по моим представлениям, могли обнародовать его в случае моего ареста. Твёрдо помню только одного из этих людей: поэтессу Тамару Буковскую. Помню потому, что моё участие в еврейских делах ей очень не понравилось. Эта умная и талантливая женщина полагала, что все без разбору — русские, евреи, татары — должны были служить будущей свободной от большевиков небесной России; таков был преобладавший тогда настрой в полуподпольных литературных кругах. Мне самому, не скрою, эта мечтаемая небесная Россия была тогда несравненно ближе небесного Иерусалима, не говоря уже о земном, совершенно неведомом. О еврейской культуре и традиции я в ту пору имел самое поверхностное представление.

Меморандум, при всей его наивности, был мне необходим: он был утешителен. Никто не знает, как поведёт себя в застенках, но одно я знал твёрдо: литературоведов в штатском невозможно переиграть в их элементе, они сломают кого угодно, я же не герой, не борец, не трибун, а скорее отшельник и мечтатель. Перед глазами был недавний пример очень достойного человека из нашего круга, моего товарища, прямо боровшегося с советской властью. Схваченный кагебэшниками, он публично покался по телевизору, а ведь когда включался в борьбу, знал, на что шёл, и отвечал он только за себя, у него на руках не было, как у меня, хронически больных жены и восьмилетней дочери. Я подстилал соломку, чтобы шмякнуться не так больно, как он.

А наивность моя простиралась далеко. Прошли годы, прежде чем я спросил себя: отчего, собственно, я тогда сразу не послал письмо за границу, моим зарубежным друзьям? Ведь при этом меморандум немедленно попал бы в руки тех, кого он должен был остеречь от применения по отношению ко мне пыток. Нужно ли напоминать, что письма перлюстрировались?

18.08.14

МЕМОРАНДУМ



По дошедшим до меня сведениям мне и некоторым моим близким друзьям, связанным со мной общностью культурных и духовных интересов, угрожает арест по обвинению в антисоветской деятельности. В связи с этим заявляю следующее. Будучи по роду своих (внеслужбных) занятий ученым и русским литератором, а по крови, культурной и религиозной ориентации последних лет — евреем, я никогда не занимался антисоветской и вообще какой бы то ни было политической деятельностью и особенно не принимал ни как моего друзей участие во всех формах антисоветской деятельности, объявляю себя недействительными. Эти показания могут быть только вынужденными и означать применение ко мне незаконных, насильственных методов ведения допроса и следствия, физических или нравственных истязаний. Сказанное относится и к показаниям, которые могут быть даны мною собственноручно. (По прочим, кроме вышеупомянутых, пунктам объявляю недействительными вообще все мои будущие показания, кроме собственноручных.)

Настоящий меморандум вызван систематическими угрозами и запугиваниями со стороны КГБ в адрес ленинградских евреев, единственная вина которых состоит в том, что они хотят остаться евреями, т. е. изучать историю и язык своего народа, знать его культуру, религию и традиции и следовать им в своей повседневной жизни.

14 декабря 1982,

Ленинград

Юрий Иосифович Колкер

[улица] Воинова 7 кв 20

Ленинград 191187

СССР

В БУМАЖНЫЙ ПРОЕЗД

Многие годы я полагал, что разрешение на выезд из Совдепии, на эмиграцию, нам дали в 1984 году прямо из Москвы, в обход ленинградского ОВИРа, чуть не за день до того *в пятый раз* нам в визе отказавшего, — дали в ответ не на мой парижский двухтомник Ходасевича, не на моё прогремевшее требование свободы репатриации, которое подписали сотни семей, а на вызывающее письмо в *Огонёк*; что журнальная сволочь препроводила это письмо и вложенные в него стихи «компетентным органам». Какой дерзостью, каким вызовом были эти стихи, сейчас никому не объяснишь. И риск для меня был нешуточный. Вместо выездной визы мне могли срок в Гулаге выписать.

Знаю, что стихи эти — неважные, недаром я не включил их ни в одну из моих книг стихов. Много в них приблизительного, есть и лишнее, и недосказанное. Но дело не только в их недостатках (в которых, в самих недостатках, и симпатичное найдётся; воодушевление владело мною подлинное), а в том, что всё-таки эти стихи — схема и стилизация. Они не выражали меня с необходимой полнотой, оттого-то и лежали годами без правки и движения. Я в них не совсем я. И ведь не то чтоб я душой кривил, когда сочинял их (между прочим, ханукальные стихи — экспромты); ничуть не бывало, я там сама искренность. И мысли там не пустые, под главными я и сейчас подпишусь. Но вот есть тут что-то скоропелое, что ли.

Проклятый *Огонёк*, тонкий всесоюзный и насквозь советский журнал («Еженедельный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал») печатался миллионными тиражами. Бумаги на него уходили многие тонны — и словно бы для того, что подчеркнуть это, редакция помещалась в переулке под названием Бумажный проезд. Бумажные люди из Бумажного проезда вернули мне первый экземпляр стихов с глупыми пометками и без объяснений. За безусловной вежливостью моего письма даже они не могли не почуять издёвки. Ставлю себя на их место и вижу, что они там, в своём жалком *Огоньке*, пережили над моим письмом несколько неприятных минут. Очень возможно, что земля под их ногами на секунду заколебалась. Если уж человек с улицы, «простой советский человек» вроде меня, решается такое послать в такую редакцию (я ведь, среди прочего, в стихах высмеиваю «граждан-

ский гимн» Совдепии, песню *Широка страна моя родная*, а некоторых товарищей соотечественников именую нечистью), значит, режим на ла-дан дышит, ему не сегодня-завтра конец, а с ним — конец и самодовольной сытости этих приживал при субсидированной литературе. Перед самым нашим отъездом в 1984 году я предрёк: «Через четыре года здесь будет голый зад» — и ошибся всего на два года: голый зад наступил через шесть лет.

Как распорядилась редакция моим письмом? Была ли снята копия со стихов? Попали ли эти мои бумаги в КГБ, как я думал многие годы? Весьма возможно, что так, но что это письмо ускорило наш отъезд — эту мысль я сейчас отметаю. Сейчас я даже допускаю, что произошло нечто совсем иное: письмо могло попасть в руки рецензента-внештатника, который оказался порядочным человеком (а то и евреем), и он письмо моё выбросил или без лишнего шума подшил в положенное место, куда никто не заглядывает, а стихи — вернул мне в частном порядке. Против этого предположения только одно можно выставить: рецензент-внештатник получал деньги за свои письменные ответы авторам, а мне такоого ответа не прислал. Но моё письмо мог вскрыть и прочесть не внештатник, а редактор, скажем, младший редактор, человек на зарплате... и тут уж я даже догадок не строю, как он мог им распорядиться.

Как текст литературный моё письмо в *Огонёк* — не бог весть что; есть в нём и досадный логический изъян; для меня оно драгоценно как биографическая вежа, а для гипотетического читателя моей книги может оказаться любопытным документом эпохи.

29.10.17

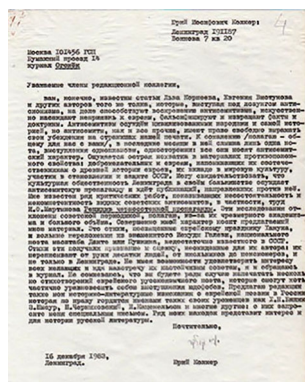
Юрий Иосифович Колкер:
Ленинград 191187
Воинова 7 кв 20

Москва 101456 ГСП
Бумажный проезд 14
журнал Огонёк

Уважаемые члены редакционной коллегии,

вам, конечно, известны статьи Льва Корнеева, Евгения Вистунова и других авторов того же толка, которые, выступая под лозунгом антисионизма, на деле способствуют вос-

крещению антисемитизма, искусственно насаждают неприязнь к евреям, фальсифицируют и извращают факты и доктрины. Антисемитизм осуждён цивилизованными народами и самой историей, но антисемиты, как и все прочие, имеют право свободно выражать свои убеждения на страницах нашей печати. К сожалению (полагаю — общему для нас с вами), в последние месяцы в ней



слышна лишь одна нота, выступления одноплановы, односторонни: все они носят антисемитский характер. Ощущается острая нехватка в материалах противоположного свойства: доброжелательных к евреям, напоминающих их соотечественникам о древней истории евреев, их вкладе в мировую культуру, участии в становлении и защите СССР. Могу свидетельствовать, что культурная общественность Ленинграда в своём большинстве осуждает антисемитскую пропаганду и ждёт публикаций, направленных против неё. Мне известен ряд критических работ, показывающих несостоятельность и некомпетентность видных советских антисемитов, в частности, труд И. Ф. Мартынова *Рецидив черносотенной пропаганды*. Эти исследования отклонены советской периодикой, полагаю, из-за их чрезмерного академизма и большого объёма. Совершенно иной характер носит предлагаемый мною материал. Это стихи, посвященные еврейскому празднику Ханука, и вольные переложения из знаменитого Йехуды Галеви, национального поэта масштаба Данте или Пушкина, недостаточно известного в СССР. Стихи эти получили признание и оценку, неожиданные для их автора: их переписывают от руки десятки людей, от школьников до пенсионеров, и не только в Ленинграде. Не имея возможности удовлетворить интересу всех желающих и идя навстречу их настойчивым советам, я и обращаюсь в журнал. Не сомневаюсь, что вы будете рады случаю напечатать несколько стихотворений еврейско-

го русскоязычного поэта, которые смогут хоть частично уравновесить собою выступления юдофобов. Предлагаю редакции также мои историко-литературные изыскания о еврейской поэзии в России, которая по праву гордится именами таких своих уроженцев как Х. Н. Бялик, З. Шнеур, Ш. Черниховский, И. Каценельсон и многие другие: о них запросите меня специальным письмом. Ряд моих находок представит интерес и для истории русской литературы.

Почтительно,
יורי קולקר

Юрий Колкер

16 декабря 1983,
Ленинград

ХАНУКА

I

Вот осколки голубого
Поглощаются ночным —
Над Хевроном и Гильбоа,
Над тобой, Ерусалим.

А в заснеженной столице
Ассирийского царя
Сквозь смежённые ресницы
Бьёт вечерняя заря.

То не месяц — клюв астральный,
И раскинула крыла
Этой ночи ханукальной
Гипнотическая мгла.

В мире подлом и бесчинном,
Где добро идёт на слом,
Перед Господом единым
Соберёмся за столом.

II

Как метёт! Метёт и свищет —
Точно лютого врага
По дворам и щелям ищет
Ассирийская пурга.

Длятся ухарские ноты
В пляске ветра воровской —
Точно нечисть сводит счета
С вечной совестью людской.

Метит сыщик разудалый,
Где устроить сквозняки —
Катакомбы и подвалы,
Этажи и чердаки.

Диким сонмом рыщут мимо
Гайдамаки, басмачи:
Злобе дня невыносимо
Пламя чистое свечи.

Фальконетом, Шарлеманем
Пресыщённые дотла,
Соберёмся — и помянем
Наших пращуров дела:

Как народной эпопеи
Развивалось торжество,
Как явили Маккавеи
Имя грозное Его,

Как Востоком полусонным
Мощный гений просквозил,
И над миром изумлённым
Встал Израиль, полон сил.

30.11.83

Эстафету непогоды
Принимает Ханука
Через страны и народы,
Через годы и века.

Но горит огонь сакральный.
С нам Тот, с Кем дни легки.
У меноры ханукальной —
Жёны, дети, старики.

Лейся, трепетное пламя!
Теплишь, ангела перо!
Мне не дрогнем: наше знамя —
Справедливость и добро.

5.12.83

ИЗ ИЕГУДЫ ГАЛЕВИ

I

Течёт, течёт незримая река:
Мелькают дни, проносятся века, —
И всё, над чем сияет небосвод,
Нисходит в сень ее печальных вод.
Волна ее не плещет, не шумит,
Но облупились грани пирамид.
Не лижет мрамора ее волна,
Но отступают царства, племена.
Сыны Египта гордые прошли,
Не стало римлян на лице земли,
И юный эллин, и седой халдей
Сошли в пучину чередой своей.
Смеется рок над семенем любим —
Лишь ты, о мой народ, неистребим,
Лишь пред тобой, великий мой народ,
Бессилен ропот неотступных вод.

14.02.83

II

На свете есть страна, где я не буду лишним:
Там хлебом и водой меня не попрекнут,
Там именем моим толпа не оскорбится,
И лучший мой порыв не назовут чужим.

На свете есть страна, где званье человека
Величием предков мне не нужно искупать,
Не встретят там мой стон холодною издевкой,
Не станет боль моя народным торжеством.

На свете есть страна, где мысль мою не свяжут,
Где гордости моей ярмом не оскорбят,
Где с барского стола за честное холопство
Меня не поощрят вчерашним пирогом.

На свете есть земля скорбей тысячелетних,
Прогорклая земля пророческой мечты.
Она — не рай земной: но мне найдется пища.
Она не широка: но мне найдется кров.

Она — моя страна, и в ней мое бессмертье,
Я — знак ее долин, я — прах ее пустынь.
В ее земле взойти, с ее землей смешаться —
Вот все, о чем молюсь, вот все, о чем скорблю.

5.02.83

III

Переживём. И не такое
Тобою видано, еврей.
Другие рабствуют в покое:
Ты — бодр меж дремлющих зверей.
Ты — совесть мира: гневный гений,
Целящий скальпель и глагол.
Твой дух пророческих прозрений
Черту земного перешёл.

1.12.83

ЗА СВОБОДУ РЕПАТРИАЦИИ

К началу 1984 года борьба за выезд из Совдепии приняла для меня и моих близких безнадежный характер. За плечами было четыре официальных отказа, а по другому счёту — все пять. Арест и концлагерь за правозащитную деятельность стали казаться делом более вероятным, чем эмиграция.

В вот в такие-то дни, марте 1984 года, приходит ко мне в коммуналку на улице Воинова один из вождей ленинградских евреев-правозащитников Яков Городецкий с идеей написать открытое коллективное письмо в верховный совет СССР с требованием разрешить советским евреям свободную репатриацию. Совдепия, как известно, репатриацию признавала, некоторое движение в обе стороны под лозунгом репатриации наблюдалось, — да только не для евреев, которым позволяли уехать лишь к близким родственниками в Израиль, и то — одному из ста подавших прошение. Счастливчиков становилось всё меньше. Как потом стало известно, за весь орвелловский 1984 год из всей отдельно взятой страны эмигрировать удалось менее чем тысяче человек. В одном только Ленинграде по осторожной оценке сидело на чемоданах около ста сорока тысяч человек.

Идея открытого письма, тем самым, исходила не от меня, Городецкому нужен был человек, владеющий словом, вот он и пришёл ко мне. Я написал текст в триста слов, этакое стихотворение в прозе, дышащее гордостью и свободолобием. У Городецкого, когда он прочёл, загорелись глаза. Промедлив несколько долгих секунд, он сказал: подпиши. И я подписал. Вторым, с разрешения Яши, поставил свою подпись мой друг Семён Боровинский, оказавшийся у меня в гостях.

Почему Городецкий не захотел подписать это письмо первым? Ведь идея-то письма могла принадлежать ему. Потому что ленинградские отказники, по своей численности приближавшиеся к населению небольшого государства, распадалась на соперничавшие и чуть ли не враждующие партии, и поставь он, признанный лидер одной из таких партий, свою подпись первым, письмо отказались бы подписать другие лидеры и ведомые ими партии. Нужен был человек без имени в отказничьих кругах, на Западе и в Израиле, откуда поддержка шла очень выборочная, целевая: тем, кто носит вязанную кипу, помогали одни, тем, кто носит матерчатую — другие, тем кто вовсе кипы не носит (как я и Боровинский) — третьи.

И, понятно, решение Городецкого было мудрым: наше открытое письмо в итоге подписало несколько сот семей, притом не только в Ленинграде. Письмо, написанное 7 марта, сразу ушло за границу, было напечатано в нескольких странах на нескольких языках (русский тель-авивский журнал Алеф №33, апрель 1984, напечатал его на внутренней стороне лицевой обложки; прилагаю снимок), прозвучало «по голосам», и — главное — было услышано теми, кому в первую очередь было адресовано: советскими чиновниками.

В ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ЗАЯВЛЕНИЕ

[illegible]

слушивать из чужих уст, кто мы, где и как нам надлежит жить. Сегодня, более чем когда-либо, мы вправе сами решать эти вопросы. Молодое государство, возникшее из пепла еврейских общин Старого Света, страна, где и сейчас еще живут бывшие узники Освенцима, испытывает трудности роста и болеет многими социальными недугами, но это тоже наша боль, наше, а не чье-либо еще, дело.

Наше право репатриироваться в Израиль — естественно и неоспоримо. Помимо здравого смысла, оно подтверждено таким внушительным числом общеизвестных международных и национальных деклараций, актов, пактов и заявлений, что подобная отсылка к ним была бы столь же затруднительна, сколь и излишня. Это право гарантировано нам советским законом — и нарушено в отношении каждого из нас. Ничем не оправдать насильственного удержания в СССР тысяч и тысяч людей, никакие государственные интересы от этого не выигрывают. Наше желание покинуть СССР несводимо к воссоединению семей, оно — потребность дома.

Мы не питаем враждебности к Советскому Союзу. Но участвовавшие в последнее время в советской печати антисемитские выступления разного рода корнеевых, новая волна увольнений, недоступность еврейской культурной жизни, — все это делает наше положение невыносимым и заставляет ходатайствовать о выезде в новой форме, без унижительных двусмысленностей и недоговорок.

Мы требуем свободной репатриации евреев в Израиль.

7 февраля 1984,
Ленинград.

1. Ю. И. Колкер, Л-д, 191187, ул. Воинова д. 7, кв. 20.
2. С. Л. Боровинский, Л-д 193130, Греческий пр. д. 15, кв. 19.
-

НИНА БЕРБЕРОВА

Нина Николаевна Берберова (1901-1993), писательница, третья жена Владислава Ходасевича, откликнулась на выход в Париже подготовленного мною двухтомника стихов Ходасевича письмом ко мне от 30 мая 1983 года. Берберова тогда жила в Принстоне, Нью-Джерси, я — в Ленинграде. Письмо, посланное с оказией, ко мне в Ленинград не дошло. Я получил его копию в Иерусалиме, в третьем ко мне письме Берберовой, от 25 февраля 1985 года. Что в 1983 году Берберова была «в восторге» от моих комментариев к стихам Ходасевича и моего очерка о поэте (*Айдеcская прохлада*), я знал ещё до начала переписки; для слухов советская граница к тому времени сделалась вполне проницаемой.

Сперва я очень дорожил перепиской и намечавшейся дружбой с Берберовой. Тому, кто вырос в «одной отдельно взятой стране», живой контакт с человеком первой русской эмиграции, с писательницей *из России*, пусть и не самой замечательной писательницей, казался подарком судьбы и только что не чудом. Но дружбы с Берберовой у меня не получилось. Мне не понравились язык и тон её писем, ей — в этом невозможно сомневаться — язык и тон моих писем. Взаимопонимания ни в чём не возникло. Наши отношения портились от письма к письму.

К своему третьему письму (от 25 февраля 1985 года) Берберова приложила сборник своих стихов с дарственной надписью «Нина Берберова — Юрию Колкеру». Надпись, нужно признать, не доставила мне удовольствия. Осенью 1985 года у меня тоже вышла книга стихов, мой первая в типографском исполнении книга *Послесловие*. Не послать её в Принстон казалось мне неприличным, книга была обещана Берберовой ещё на рассвете нашей эпистолярной дружбы. И вот на титульной странице подарочного экземпляра, в совершенно несвойственной мне манере, я написал то единственное, что было мне оставлено дарственной надписью моей корреспондентки: «Юрий Колкер — Нине Берберовой». Берберова усмотрела в этой дарственной надписи непочтительность, о своей непочтительности не вспомнила и на моё письмо не ответила.

Привожу шесть писем Берберовой ко мне (кажется, столько их и было) и три моих ответных письма. Два моих письма к Берберовой мне отыскать не удалось.

[Юрию Колкеру
ул. Воинова д. 7 кв. 20
Ленинград, СССР]

30 мая 1983 г.

Дорогой Юрий Колкер!

Пишу Вам из далекого далека, чтобы сказать, с какой радостью я прочла 2 тома ВХ. Сколько труда, и сколько любви Вы вложили в этот труд! И как умно, внимательно и даже красиво всё получилось. Есть кое-какие неточности, о которых В. А. [Владимир Аллой (1945-2001), в ту пору возглавлявший *La Presse Libre*] позаботится. Не беспокойтесь и не грустите о них. И я помогу. Вашу книгу будут читать и любить, а через нее и Вас из далекого далека будут любить и помнить.

30 мая 1983 г.
Вот что Юрий Колкер!
Пишу Вам из далекого далека,
чтобы сказать, с какой радостью
я прочла 2 тома ВХ. Сколько
труда, и сколько любви Вы
вложили в этот труд! И
как умно, Вы так внимательно
и даже красиво все получилось.
Есть кое-какие неточности,
о которых В. А. позаботится.
Все обязательно и не
грустите о них. И я помогу.
Вашу книгу будут читать
и любить, а через нее и Вас
из далекого далека будут
любить и помнить.
С любовью Вас Эльвира.
НБ

Обнимаю Вас дружески.

НБ

Письмо, как уже сказано, в Ленинград ко мне не дошло; копия была получена мною в Иерусалиме, в письме Берберовой от 25 февраля 1985 года.

[Юрию Колкеру
88/30 Мерказ-клита Гило Бэт
Гило, Иерусалим 93756, Израиль]

Принстон, 15 января 1985

Дорогой Юрий Колкер!

Я узнала, что Вы в Израиле. Не собираетесь ли приехать в США? Что Вы делаете? Учитесь? Преподаете? Работаете? Счастливы? Не очень ли Вам трудно?

Я бы хотела получить от Вас хотя бы небольшое письмо. Дошло ли до Вас то, что я написала Вам в свое время, в Ле-

нинград? Если да, то Вы уже меня немножко знаете.

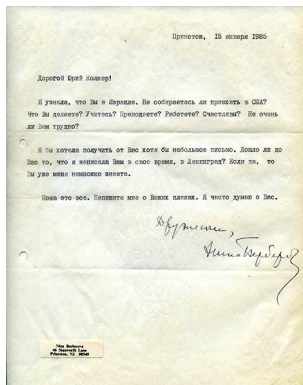
Пока это все. Напишите мне о Ваших планах. Я часто думаю о Вас.

Дружески —

Нина Берберова

[внизу — наклейка с адресом:]

Nina Berberova
46 Stanworth Lane
Princeton, NJ 08540



Юрий Колкер:
88/30 Мерказ Клиты Гило Бэт,
Гило, Иерусалим 937565
2 / 01 / [то есть 1 февраля] 1985

Н. Н. Берберовой:
46 Станворс-Лэйн
Принстон, Нью-Джерси 08540

Дорогая Нина Николаевна,

спасибо за Ваше письмо от 15.01.85.

Нет, в Ленинграде я ничего от Вас

не получал, о чём бесконечно жа-

лею. Не менее драгоценно для меня

Ваше внимание и здесь. Ваш адрес

был у меня, его дала мне Ида Мои-

сеевна [Наппельбаум, 1900-1992]

ещё около года тому назад, но я всё

не решался написать, не будучи уве-

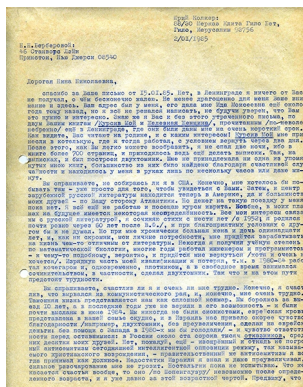
рен, что Вам это нужно и интересно.

Знаю я Вас и без этого утраченного

письма, по двум Вашим книгам (*Курсив Мой* и *Железная*

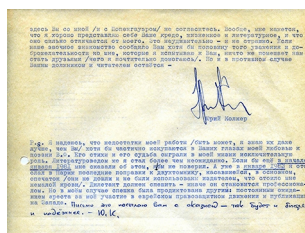
Женщина), прочитанным (поневоле небрежно) ещё в Ленин-

граде, где они были даны мне на очень короткий срок. Как



видите, Вас читают на родине, и с каким интересом! *Курсив Мой* мне принесли в котельную, где я тогда работал, с условием вернуть через два дня. После этого, как Вы легко можете вообразить, я не спал две ночи, ибо в книге более 700 страниц, и приходилось ведь ещё делать выписки. Так, на выписках [конечно, на выписках из многих книг], и был построен двухтомник [Владислава Ходасевича, 1982-83]. Мне не принадлежала ни одна из упомянутых мною книг, большинство из них было найдено благодаря счастливой случайности и находилось у меня в руках лишь по несколько часов или даже минут.

Вы спрашиваете, не собираюсь ли я в США. Конечно, мне хотелось бы побывать там — уже просто для того, чтобы увидеться с Вами. Затем, и центр зарубежной русской литературы находится теперь в Америке, да и большинство моих друзей — по Вашу сторону Атлантики. Но денег на такую поездку у меня пока нет. Я всё ещё не работаю и посещаю курсы иврита. Вообще, в моих планах на будущее имеется некоторая неопределённость. Все мои интересы связаны с русской литературой, я сочиняю стихи с шести лет (с 1952; я родился почти ровно через 60 лет после В. Ф. [Владислава Фелициановича (Ходасевича)]) и при благоприятных условиях о другом бы и не думал. Но при мне хронически больная жена и дочь одиннадцати лет, и, как ни скромны мои личные потребности, мне придётся зарабатывать на жизнь чем-то отличным от литературы. Некогда я получил учёную степень по математической биологии, многие годы работал инженером и программистом — к чему-то подобному, вероятно, и придётся мне вернуться (хотя и очень не хочется). Изрядную часть моей квалификации я потерял, т. к. в 1980-84 работал кочегаром и, одновременно, плотником, а в свободное время занимался сочинительством, в частности, сделал двухтомник [Ходасевича]. Так что и на этом пути предстоят трудности.



Вы спрашиваете, счастлив ли я и очень ли мне трудно. Конечно, я счастлив, что вырвался из коммунистического рая, и, конечно, мне очень трудно. Тамошняя жизнь представляется нам как сплошной кошмар. Мы боролись за выезд 10 лет, а в последние годы уже не верили в его возможность — и были почти высланы в июне 1984 [нас вызвали в ОВИР и предложили срочно подать документы на выезд без необходимого в таких случаях свежего вызова из Израиля, и это — после пяти отказов на ходатайство о репатриации]. Мы никогда не были сионистами, еврейская кровь представлена в нашей семье скудно, и в Израиль нас привело скорее чувство благодарности (например, двухтомник [Ходасевича], без преувеличения, сделан на еврейские деньги: без помощи с Запада в 1980-х мы бы голодали) — и чувство ответственности перед оставшимися: в России около ста сорока тысяч отказников, среди них десятки моих друзей. Нет, пожалуй, ещё — изошрённый и отнюдь не погромный антисемитизм сегодняшней интеллигентной оппозиции режиму, так называемого христианского возрождения, — правительственный же антисемитизм я всегда воспринимал как должное. Недостатки Израиля я знал и даже преувеличивал, сильное разочарование мне не грозит. Ностальгии пока не испытываю. Что же касается счастья вообще, то оно (по Шопенгауэру) невозможно после определенного возраста, и я уже давно за этой возрастной чертой. Предвижу, что здесь Вы со мной (и с Шопенгауэром) не согласитесь. Вообще, мне кажется, что я хорошо представляю себе Ваше кредо, жизненное и литературное, и что оно сильно отличается от моего. Это неудивительно — и не страшно. Если наше заочное знакомство сообщило Вам хотя бы половину того уважения и доброжелательности ко мне, которые я испытываю к Вам, ничто не мешает нам стать друзьями (чего я почтительно домогаюсь). Но и в противном случае Вашим должником и читателем остаётся —

Юрий Колкер

P. S. Я надеюсь, что недостатки моей работы (быть может, я знаю их даже лучше, чем Вы) хотя бы частично искупаются в

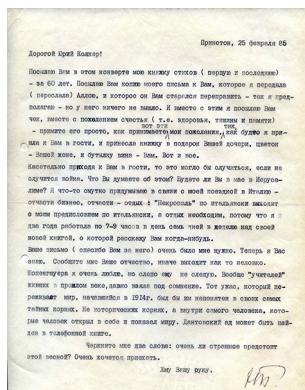
Ваших глазах моей любовью к поэзии В. Ф. [Владислава Фелициановича (Ходасевича)] Его стихи и его судьба сыграли в моей жизни исключительную роль. Литературоведом же я стал более чем неожиданно. Если бы ещё в начале 1981 мне сказали об этом, я бы не поверил. А уже в январе 1983 я отослал в Париж последние поправки к двухтомнику, касавшиеся, в основном, опечаток (они не дошли и не были использованы издателем, что стоило мне немалой крови). Дилетант должен спешить — иначе он становится профессионалом. Но в моём случае спешка была продиктована другим: постоянным ожиданием ареста за моё участие в еврейском правозащитном движении и публикации на Западе. Письмо это посылаю Вам с оказией — так будет и быстрее, и надёжнее. — Ю. К.

Принстон, 25 февраля 85

Дорогой Юрий Колкер!

Посылаю Вам в этом конверте мою книжку стихов (первую и последнюю) — за 60 лет. Посылаю Вам копию моего письма к Вам, которое я передала (переслала) [Владимиру] Аллоу, и которое он Вам старался переправить — так я предполагаю — но у него ничего не вышло. И вместе с этим я посылаю Вам чек [на \$100], вместе с пожеланием счастья (т. е. здоровья, тишины и памяти) — примите его просто, как принимаете вот эти мои пожелания, так, как будто я пришла к Вам в гости, и принесла книжку в подарок Вашей дочери, цветок — Вашей жене, и бутылку вина — Вам. Вот и все.

Касательно прихода к Вам в гости, то это могло бы случиться, если не случится война. Что Вы думаете об этом? Будете ли Вы в мае в Иерусалиме? Я что-то смутно придумываю в связи с моей поездкой в Италию — отчасти бизнес, от-



части — отдых: «Некрополь» [книга литературных очерков Владислава Ходасевича] по итальянски [sic] выходит с моим предисловием по итальянски [sic], а отдых необходим, потому что я два года работала по 7-9 часов в день семь дней в неделю над своей новой книгой, о которой расскажу Вам когда-нибудь.

Ваше письмо (спасибо Вам за него) очень было мне нужно. Теперь я Вас знаю. Сообщите мне Ваше отчество, иначе выходит как то неловко. Шопенгауера я очень люблю, но слепо ему не следую. Вообще «учителей» живших в прошлом веке, давно взяла под сомнение. Тот ужас, который переживает мир, начавшийся в 1914 г.[.] был бы им непонятен в своих самых тайных корнях. Не исторических корнях, а внутри самого человека, которые человек открыл в себе и показал миру. Дантовский ад может быть найден в телефонной книге.

Черкните мне два слова: очень ли страшное предстоит этой весной? Очень хочется приехать.

Жму Вашу руку,

Н. Б.

Не нахожу копии моего ответного письма к Берберовой, в которой, среди прочего, сообщаю ей моё отчество.

Принстон, 4 апреля 1985

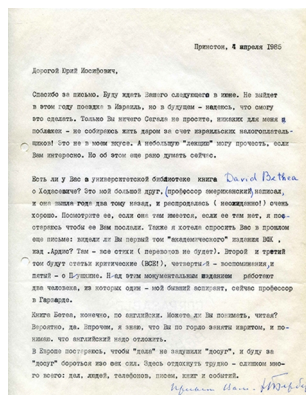
Дорогой Юрий Иосифович,

Спасибо за письмо. Буду ждать Вашего следующего в июне. Не выйдет в этом году поездка в Израиль, но в будущем — надеюсь, что смогу это сделать. Только Вы ничего Сегала [Дмитрий Сегаль заведовал кафедрой русской литературы в Еврейском университете в Иерусалиме] не просите, никаких для меня поблажек — не собираюсь жить даром за счет израильских налогоплательщиков! Это не в моем вкусе. А небольшую «лекцию» могу прочесть, если Вам интересно. Но об этом еще рано думать сейчас.

Есть ли у Вас в университетской библиотеке книга David Bethea о Ходасевиче? Это мой большой друг, (профессор американский) написал, и она вышла года два тому назад, и распродалась (неожиданно!) очень хорошо. Посмотрите ее, если она там имеется, если ее там нет, я постараюсь чтобы ее Вам послали. Также я хотела спросить Вас в прошлом еще письме: видели ли Вы первый том «академического» издания ВФХ [Владислава Фелициановича Ходасевича], изд. Ардис? Там — все стихи (переводов не будет). Второй и третий том будут статьи критические (ВСЕ!), четвертый — воспоминания, и пятый — о Пушкине. Над этим монументальным изданием работают два человека, из которых один — мой бывший аспирант, сейчас профессор в Гарварде.

Книга Бетеа, конечно, по английски. Можете ли Вы понимать, читая? Вероятно, да. Впрочем, я знаю, что Вы по горло заняты ивритом, и понимаю, что английский надо отложить.

В Европе постараюсь, чтобы «дела» не задушили «досуг», и буду за «досуг» бороться изо всех сил. Здесь отдохнуть трудно — слишком много всего: дел, людей, телефонов, писем, книг и событий.



Привет Вам. Н. Берберова

Не нахожу копии моего ответного письма к Берберовой.

Принстон, 17 августа 85

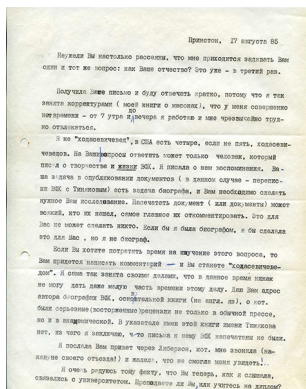
Неужели Вы настолько рассеяны, что мне приходится задавать Вам один и тот же вопрос: как Ваше отчество? Это уже — в третий раз. [Рассеянна Берберова, не я. В предыду-

щем письме (от 4 апреля 1985 года) она обращается ко мне по имени-отчеству, стало быть, получила мой ответ, да и вопрос об отчестве задан в этом письме *во второй раз*, не в третий.]

Получила Ваше письмо и буду отвечать кратко, потому что я так занята корректурами (моей книги о масонах), что у меня совершенно нет времени — от 7 утра и до вечера я работаю и мне чрезвычайно трудно отвлекаться.

Я не «ходасевичевед», в США есть четыре, если не пять, ходасевичеведов. На Ваши вопросы ответить может только человек, который писал о творчестве и жизни ВФХ. Я писала о нем воспоминания. Ваша задача в опубликовании документов (в данном случае — переписки ВФХ с Тиняковым) есть задача биографа, и Вам необходимо сделать нужное Вам исследование. Напечатать документ (или документы) может всякий, кто их нашел, самое главное их откомментировать. Это для Вас не может сделать никто. Если бы я была биографом, я бы сделала это для Вас, но я не биограф.

Если Вы хотите потратить время на изучение этого вопроса, то Вам придется написать комментарий — и Вы станете «ходасевичеведом» [не странно ли?! неужто составленный и прокомментированный мною двухтомник Ходасевича со статьёю о нём объёмом с небольшую монографию, не сделали меня *ходасевичеведом*? Неужто эти письма важнее?]. Я сама так занята своими делами, что в данное время никак не могу дать даже малую часть времени этому делу. Даю Вам адрес автора биографии ВФХ, основательной книги (на англ. яз), о кот. были серьезные (восторженные) рецензии не только в обычной прессе, но и в академической. В указателе имен этой книги имени Тинякова нет, из чего я заключаю, что письма к нему ВФХ напечатаны не были.



Я послала Вам привет через Либерзон [израильскую поэтессу Рину Левинзон], кот. мне звонила (накануне своего отъезда!) и жалела, что не смогла меня увидеть!..

Я очень радуюсь тому факту, что Вы теперь, как я слышала, связались с университетом. Преподаете ли Вы или учитесь на диплом? [Удивительнейшие вопросы — это после моих-то подробных объяснений! Вот уж где «рассеянность»!]

Напишите мне более подробно о Вашей работе там, т. к. это может Вам в будущем пригодиться.

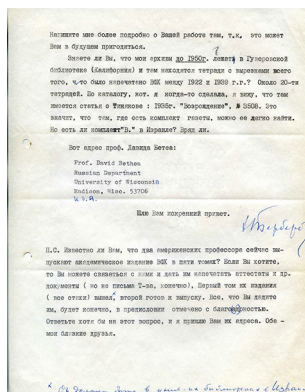
Знаете ли Вы, что мои архивы до 1950 г. лежат в Гуверовской библиотеке (Калифорния) и там находятся тетради с вырезками всего того, что было напечатано ВФХ между 1922 и 1939 г.г.? Около 20-ти тетрадей. По каталогу, кот. я когда-то сделала, я вижу, что там имеется статья о Тинякове: 1935 г. «Возрождение», №3508. Это значит, что там, где есть комплект газеты, можно ее легко найти. Но есть ли комплект «В.» в Израиле? Вряд ли.

Вот адрес проф. Давида Бетеа:

Prof. David Bethea
Russian Department
University of Wisconsin
Madison, Wisc. 53706
USA

Шлю Вам искренний привет. Н. Берберова

П. С. Известно ли Вам, что два американских профессора сейчас выпускают академическое издание ВФХ в пяти томах? Если Вы хотите, то Вы можете связаться с ними и дать им напечатать аттестаты и др. документы (но не письма Т-ва [то есть не письма Ходасевича к Тинякову], конечно). Первый том их издания (все стихи) вышел*, второй готов к выпуску. Все, что Вы дадите им, будет конечно, в предисло-



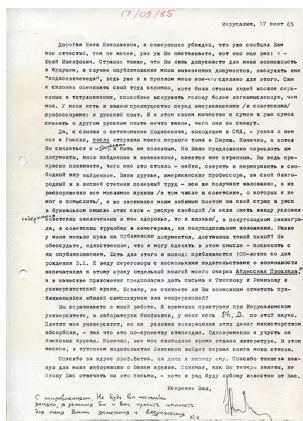
вии отмечено с благодарностью. Ответьте хотя бы на этот вопрос, и я пришлю Вам их адреса. Оба — мои близкие друзья.

* Он должен быть в унив-их библиотеках в Израиле!

Иерусалим, 17 сент 85

Дорогая Нина Николаевна, я совершенно убежден, что уже сообщал Вам мое отчество [следовало бы послать ей копию её письма от 4 апреля 1985 года, где Берберова обращается ко мне по имени-отчеству], тем не менее, раз уж Вы настаиваете, вот оно еще раз: я — Юрий Иосифович. Странно также, что Вы лишь допускаете для меня возможность в будущем, в случае опубликования мною вывезенных документов, заслужить имя «ходасевичевода», ведь уже и в прошлом мною кое-что сделано для этого. Сам я склонен оценивать свой труд скромно, хотя были отзывы людей вполне серьезных и титулованных, способные вскружить голову более легкомысленную, чем моя. У меня есть и важное преимущество перед американскими (и советскими) профессорами: я русский поэт. И в этом своем качестве я сумею и уже сумел сказать о другом русском поэте нечто такое, чего они не скажут.

Да, я слышал о пятитомнике Ходасевича, выходящем в США, — узнал о нем еще в России, после отправки моего первого тома в Париж. Конечно, я хотел бы связаться с издателями и быть им полезным. Но Ваше предложение переслать им документы, мною найденные и вывезенные, кажется мне странным. Вы ведь прекрасно понимаете, чего мне это стоило — найти, сверить и переправить в свободный мир найденное. Ваши друзья, американские профессора, за свой



благородный и в высшей степени полезный труд — все же получают жалование, в их распоряжении все мыслимые архивы (в том числе и советские, о которых я не мог и помыслить), я же занимался моим любимым поэтом на свой страх и риск в буквальном смысле этих слов — рискуя свободой (а если иметь в виду условия содержания советских заключенных и мое здоровье, то и жизнью), в полуголодном Ленинграде, в советских трущобах и кочегарках, на полуподпольном положении. Разве у меня меньше прав на публикацию документов, достанных такой ценой? Не обессудьте, единственное, что я могу сделать в этом смысле — поспешить с их опубликованием. Есть для этого и повод: приближается 100-летие со дня рождения В. Х. [Ходасевича]. Я веду переговоры с несколькими издательствами о возможности напечатания к этому сроку отдельной книгой моего очерка *Айдесская Прохлада** [этот проект осуществить не удалось], а в качестве приложения предполагаю дать письма к Тинякову и Ремизову и университетский архив. Кстати, не считаете ли Вы возможным отметить приближающийся юбилей симпозиумом или конференцией?

Вы спрашиваете о моей работе. Я временно пристроен при Иерусалимском университете, в лаборатории биофизики, у меня есть Ph. D. по этой науке. Платит мне университет, но на условии возвращения этих денег министерством абсорбции, — так что это по существу стипендия. Одновременно я учусь на языковых курсах. Конечно, все мое свободное время отдано литературе. В этом месяце, в тутошнем издательстве *Лексикон* выйдет первая книга моих стихов.

Спасибо за адрес проф. Бетеа, на днях я напишу ему. Спасибо также за важную для меня информацию о Вашем архиве. Понимая, как Вы теперь заняты, не прошу Вас отвечать на это письмо, — хотя и рад буду любому известию от Вас.

Искренне Ваш,

Юрий Колкер

*С исправлениями. Не будь Вы настолько заняты, я решился бы и Вас просить написать для меня Ваши замечания

и возражения.

Принстон 14 окт. 85

Дорогой Юрий Иосифович,

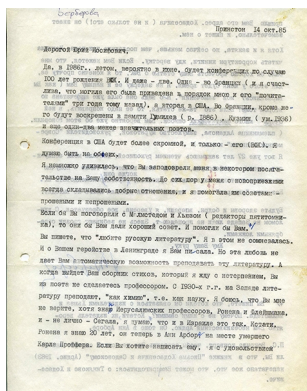
Да, в 1986 г., летом, вероятно в июне, будет конференция по случаю 100 лет рождения ВФХ. И даже — две. Одна — во Франции (и я счастлива, что могила его была приведена в порядок мною и его «поччитателями» три года назад), а вторая в США. Во Франции, кроме него будут воскрешены в памяти Гумилев (р. 1886), Кузмин (ум. 1936) и еще один-два менее значительных поэтов [sic!].

Конференция в США будет более скромной, и только — его (ВФХ). Я думаю быть на обеих.

Я немножко удивляюсь, что Вы заподозрили меня в некотором посягательстве на Вашу собственность. До сих пор у меня с новоприезжими всегда складывались добрые отношения, и я помогала им советами — прошенными и непрошенными.

Если бы Вы поговорили с Малмстедом и Хьюзом (редакторы пятитомника), то они бы Вам дали хороший совет. И помогли бы Вам.*

Вы пишете, что «любите русскую литературу». Я в этом не сомневаюсь. И о Вашем геройстве в Ленинграде я Вам писала. Но эта любовь не дает Вам автоматически возможность преподавать эту литературу. А когда выйдет Ваш сборник стихов, который я жду с нетерпением, Вы из поэта не сделаетесь профессором. С 1930-х г.г. на Западе литературу преподают, «как химию», т. е. как науку. Я боюсь, что Вы мне не верите, хотя зная Иерусалимских профессоров, Ронена и Флейшмана, и — не лично — Сегала, я думаю, что и в Израиле это так. Кстати, Ронена я знаю 20 лет, он теперь в Анн Ар-



боре, на месте умершего Карла Проффера. Если Вы хотите написать ему, я с удовольствием пришлю Вам его адрес. Ходасевича (и не только его!) он знает замечательно, и пишет о нем.

Хоть я и занята, но сейчас меньше, чем последние три года. Кончила читать корректуры книги, жду верстку. Если Вам кажется, что мне было бы хорошо прочесть Вашу статью о ВФХ, то я конечно прочту ее, для этого у меня будет время. Я не задержу ее и напишу Вам (как Вы выразились) мои «замечания». Но ведь она уже была напечатана во втором томе? Если эта та-же статья, то ее надо исправить, в ней очень много фактических ошибок. Вам вероятно уже об этом говорили (племянница Алданова, замужество Муратовой, «руководители «Современных записок» и т. д.)

Я вот уже 27 лет занимаюсь чтением рукописей: сначала моих аспирантов, потом — профессоров, затем моих коллег, а также — получаю из университетских издательств рукописи, когда они просят рекомендовать их. Без двух «ридеров» (т. е. чтецов) в США никакая книга не выходит.

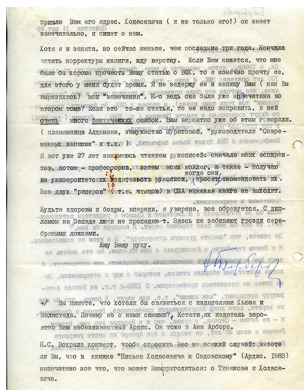
Будьте здоровы и бодры, впереди, я уверена, все образуется. С дипломом на Западе люди не пропадают. Здесь не забывают гвозди серебряными ложками.

Жму Вашу руку.

Н. Берберова

* Вы пишете, что хотели бы связаться с издателями Хьюза и Малмстеда. Почему не с ними самими? Кстати, их издатель вероятно Вам небезизвестный Ардис. Он тоже в Анн Арборе.

П. С. Вскрыла конверт, чтобы спросить Вас на всякий случай: знаете ли Вы, что в книжке «Письма Ходасевича к



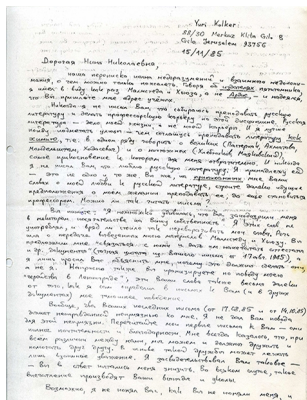
Садовскому» (Ардис. 1983) напечатано кое что, что может Вам пригодиться: о Тинякове и Ходасевиче.

Yuri Kolker:
88/30 Merkaz Klita Gilo B,
Gilo, Jerusalem 937565
15 / 11 / 1985

Дорогая Нина Николаевна,
наша переписка полна недоразумений и взаимного недопонимания, о чем можно только пожалеть. Говоря об издателях пятитомника, я имел в виду как раз Малмстеда и Хьюза, а не Ардис, — и надеялся, что Вы пришлёте мне адрес ученых.

Никогда я не писал Вам, что собираюсь преподавать русскую литературу и делать профессорскую карьеру по этой дисциплине. Русская литература — дело моей жизни, а не моей карьеры. И я лучше пойду подметать улицы — чем соглашусь преподавать литературу, *как химию*, то есть в одном ряду говорить о великих (Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Ходасевич) и ничтожных (Хлебников, Маяковский), самое прикосновение к которым для меня отвратительно. И никогда я не писал Вам, что люблю русскую литературу. Я принадлежу ей — это не одно и то же. Вы же, на *приписанных* мне Вами словах о моей любви к русской литературе, строите далеко идущие предположения о моём желании преподавать ее, да еще становиться профессором. Можно ли так читать письма?

Вы пишете: «Я немножко удивилась, что Вы заподозрили меня в некотором посягательстве на Вашу собственность». Я этих слов не употреблял, и вряд ли стоило так переворачивать мои слова. Речь шла о передаче вывезенных мною материалов Малмстеду и Хьюзу. Вы предложили мне



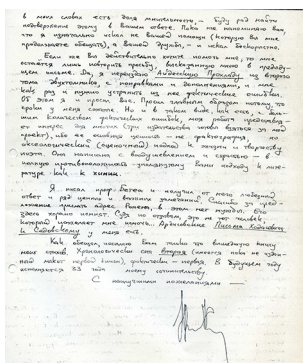
«связаться с ними и дать им напечатать аттестаты и др. документы» (точная цитата из Вашего письма от 17 авг. 1985), а я лишь просил Вас объяснить мне, почему это должны делать они, а не я. Напрасно также Вы иронизируете по поводу моего «геройства в Ленинграде»; эти слова также весьма далеки от того, как я сам определил в письмах к Вам (и в других документах) мое тамошнее поведение.

Вообще, два Ваших последних письма (от 17.08.85 и от 14.10.85) дышат неоправданной неприязнью ко мне. Я не дал Вам повода для этой неприязни. Перечитайте мои первые письма к Вам — они полны почтительности и благодарности. Мне всегда казалось, что, при всём различии между нами, мы можем и должны дружить и помогать друг другу.

В основе такой дружбы может лежать лишь взаимное уважение. Я засвидетельствовал Вам таковое — Вы в ответ пытались меня унижить. Во всяком случае, такое впечатление производят Ваши выпады и уколы.

Возможно, я не понял Вас, как Вы не поняли меня, и в моих словах есть доля мнительности, — буду рад найти подтверждение этому в Вашем ответе. Пока же напоминаю Вам, что я изначально искал не Вашей помощи (которую Вы мне продолжаете обещать), а Вашей дружбы, — и искал бескорыстно.

Если же Вы действительно хотите помочь мне, то мне остаётся лишь повторить просьбу, высказанную мною в предыдущем письме. Да, я переиздаю *Айdessкую прохладу* [проект осуществить не удалось] из второго тома двухтомника [из Собрания стихов Владислава Ходасевича], с поправками и дополнениями, и мне как раз и нужно устранить из нее фактические ошибки. Об этом я и просил Вас. Просил главным образом потому, что сроки у меня сжатые. Но и в таком виде, как есть, с большим количеством фактических ошибок,



моя работа представляет интерес для многих (три издательства готовы взяться за мой проект), ибо ее основная ценность — не фактография, но аксиологический (оценочный) подход к жизни и творчеству поэта. Она написана с воодушевлением и страстью — в полную противоположность упомянутому Вами подходу к литературе как к химии.

Я писал проф. Бетеа и получил от него любезный ответ и ряд ценных и важных замечаний. Спасибо за предложение прислать адрес Ронена, в этом нет нужды. Его здесь хорошо помнят. Судя по отзывам, это не тот человек, который пожелает мне помочь... Ардисовские *Письма Ходасевича к Садовскому* у меня есть.

Как обещал, посылаю Вам только что вышедшую книгу моих стихов. Хронологически она вторая (имеется пока не изданный макет первой книги), фактически — первая. В будущем году исполняется 33 года моему сочинительству.

С наилучшими пожеланиями —

Юрий Колкер

Ответа не последовало. На упомянутые Берберовой конференции памяти Ходасевича меня не пригласили.

В 2011 году, письмом от 9 февраля, я запросил разрешение на публикацию писем Берберовой у держателя прав на её литературное наследие, французского издательства *Actes Sud* (18, rue Séguier, 75006 Paris, France). Оттуда, письмом от 24 марта, меня просили прислать копии писем, что я и сделал письмом от 28 марта 2011. На это моё письмо я ответа не получил, из чего и заключаю, что разрешение мною получено.

ЛЕВ ЛОСЕВ

Судьба не свела меня со Львом Лосевым (1937-2009) ни в Ленинграде, где мы оба родились и прожили полжизни (и где у нас было немало общих литературных знакомых), ни в эмиграции, где он оказался в 1976 году, а я — в 1984 году. Знакомство так и осталось заочным, эпистолярным. При начале переписки мы оба чувствовали расположение друг к другу; потом разного рода несогласия поссорили нас.

В январе 1985 года, уже из Иерусалима, я послал Лосеву в Америку рукопись моей статьи 1983 года о дерзкой и остроумной мистификации поэта Владимира Лифшица (1913-1978), отца Лосева, в советское время напечатавшего «переводы» из вымышленного английского поэта Джеймса Клиффорда, в которых дан страшный образ советского тоталитаризма.

Сохранилось пять моих писем к Лосеву, шесть его писем ко мне и его «внутри-издательский» отзыв на мою статью 1987 года о Бродском. Эта коллекция документов представительна: хорошо отражает наши с Лосевым характеры, наши отношения в их развитии и даёт представление о состоянии литературных дел в эмиграции той поры (все письма так или иначе связаны с литературой), но она — неполна: несколько писем утрачено. Сохранился фрагмент одного утраченного письма Лосева, где он сообщает о своем отце следующее: в июне 1941 года, освобожденный от военной службы по инвалидности (по зрению), Лифшиц «записался добровольцем, воевал уже в первые летние дни, вывел из окружения остатки своего батальона, был ранен, получил награды за храбрость (их в те дни не слишком щедро выдаваемые людям с еврейскими фамилиями), в блокадном Ленинграде писал стихи, которые и теперь старые блокадники вспоминают со слезами».

Я воспроизвожу письма без пропусков, с сохранением их графики, не всегда общепринятой, с исправлением только очевидных опечаток, а необходимые пояснения даю преимущественно в квадратных скобках внутри текста, что облегчает чтение.

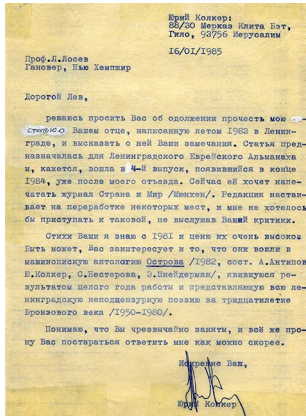
Любопытный момент: не сохранилось письма с отзывом Лосева о моей первой книге стихов; и память не удержала ни слова из его критики.

Разрешение на публикацию писем Льва Лосева я получил от сына писателя, Д. Л. Лосева, в его электронном письме ко мне от 31 августа 2010 года.

Юрий Колкер:
88/30 Мерказ-Клита Гило Бэт,
Гило, 937565 Иерусалим
16/ 01/1985

Проф. Л. Лосев
Гановер, Нью-Хемпшир

Дорогой Лев,



решаюсь просить Вас об одолжении прочесть мою статью о Вашем отце, написанную летом 1983 в Ленинграде, и высказать о ней Ваши замечания. Статья предназначалась для Ленинградского Еврейского Альманаха [машинописного] и, кажется, вошла в 4-й выпуск, появившийся в конце 1984 [ЛЕА №4, август 1984], уже после моего отъезда. Сейчас её хочет напечатать журнал *Страна и Мир* [Мюнхен]. Редакция настаивает на переработке некоторых мест, и мне не хотелось бы приступать к таковой, не выслушав Вашей критики.

Отец Ваш и я знаю с 1961 и ценю их очень высоко. Буду очень благодарен и то, что они вошли в машинописную антологию *Острова* (1982, сост. А. Антипов, Ю. Колкер, С. Нестерова, Э. Шнейдерман), явившуюся результатом целого года работы и представляющую всю ленинградскую неподцензурную поэзию за тридцатилетие Бронзового века (1950-1980).

Понимаю, что Вы чрезвычайно заняты, и всё же прошу Вас постараться ответить мне как можно скорее.

Искренне Ваш,

Юрий Колкер

26 января 1985 г.

Дорогой Юрий,
я был глубоко тронут Вашей
статьёй о моём покойном отце. Боль-
шое спасибо. Скажу Вам то, что бы-
ло бы неудобно в глаза: мне очень
симпатична личность автора статьи
— это ведь довольно редко встреча-
ется (по крайней мере, мне встреча-
ется), чтобы критический ум и эру-
диция сочетались с таким человече-
ским (не коллекционерским) ин-
тересом, с такой любовью к поэзии,
к русской культуре.

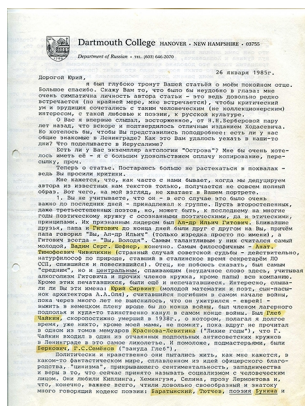
О Вас я впервые слышал, восторженное, от Н. Н. Бербе-
ровой пару лет назад, что вскоре и подтвердилось отличным
изданием Ходасевича [Владислав Ходасевич. Собрание сти-
хов в двух томах. (Составление, биографический очерк), ре-
дакция и примечания Юрия Колкера. *La Presse Libre, Paris*,
1982-83.]. Но хотелось бы, чтобы Вы представились попо-
дробнее: есть ли у нас общие знакомые в Ленинграде? Как
это Вам удалось уехать в наши-то дни? Что поделяваете в
Иерусалиме?

Есть ли у Вас экземпляр антологии «Острова»? Мне бы
очень хотелось иметь её — я с большим удовольствием опла-
чу копирование, пересылку, проч.

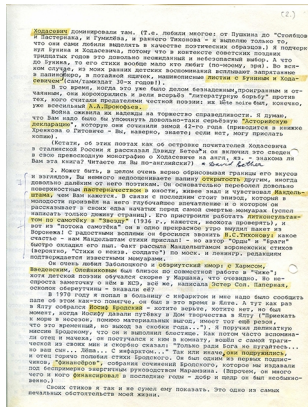
Теперь о статье. Постараюсь больше не растекаться в по-
хвалах — ведь Вы просили критики.

Мне кажется, что, как часто с нами бывает, когда мы де-
дуцируем автора из известных нам текстов только, получает-
ся не совсем полный образ. Вот чего, на мой взгляд, не хвата-
ет в Вашем портрете.

1. Вы не учитываете, что он — в его случае это было
очень важно до последних дней — принадлежал к группе.



Пусть второстепенных, даже третьестепенных поэтов, но, может быть, к последнему на многие годы поэтическому кружку с осознанными поэтическими, да и этическими, принципами. Их признанным лидером был Ал-др Ильич Гитович. Ближайшие друзья, папа и Гитович до конца дней были друг с другом на Вы, причём папа говорил «Вы, Ал-др Ильич» (только изредка просто по имени), а Гитович всегда — «Вы, Володя». Самым талантливым у них считался самый молодой, Вадим Серг. Шефнер, конечно. Самым философичным — Анат. Тимофеевич Чивилихин (странный случай советской судьбы — действительно, натурфилософ по природе, ставший в сталинское время секретарём ЛО ССП [т. е. ленинградского отделения союза советских писателей], спившийся и повесившийся). Отец, не побоюсь сказать, был самым «средним», но и центральным, спаивающим (неудачное слово здесь, учитывая алкоголизм Гитовича и прочих членов кружка, кроме папы) всю компанию. Кроме этих печатавшихся, были ещё и непечатавшиеся. Интересно, слышали ли Вы эти имена: Юрий Сирвинт (молодой математик и поэт, сын-пасынок архитектора А. А. Оля), считавшийся погибшим в самом начале войны, пока через много лет не выяснилось, что он ухитрился — еврей! — выжить в немецком плену вроде бы до конца войны, был членом лагерного подполья и куда-то таинственно канул в самом конце войны. Был Глеб Чайкин, скоропостижно умерший в 1938 г., о котором, полагал я долгое время, уже никто, кроме моей мамы, не помнит, пока вдруг не прочитал в одном из томов мемуаров Краснова-Левитина («Лихие годы»), что Г. Чайкин входил в один из отчаянных подпольных антисоветских кружков в Ленинграде в это самое лихолетье. И помоложе, подмастерьями, были Бернович, Г. С. Семёнов («зануда Глеб»).



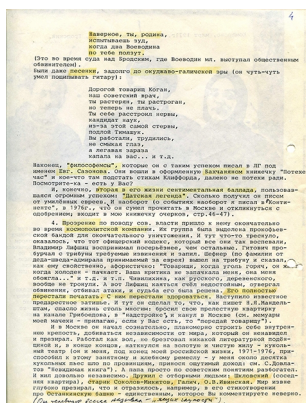


Политически и нравственно они пытались жить, как мне кажется, в каком-то фантастическом мире, сплавленном из идей офицерского благородства, «цинизма», прикрывающего сентиментальность, западничества и веры в то, что сейчас принято называть социализмом с человеческим лицом. Они любили Киплинга, Хемингуэя, Селина, прозу Лермонтова и, что, конечно, важнее

всего, чтли довольно своеобразный и знатоку много говорящий кодекс поэзии: Баратынский, Тютчев, поэзия Бунина и Ходасевич доминировали там. (Т. е. любили многое: от Пушкина до «Столбцев» и Пастернака, и Гумилёва, и раннего Тихонова — я выделяю только то, что они сами любили выделять в качестве поэтических образцов.) Я подчеркнул Бунина и Ходасевича, потому что в контексте советских поздних тридцатых годов это довольно неожиданный и небезопасный выбор. А что до Бунина, то его стихи вообще мало кто любит (по-моему, зря). Во всяком случае, из моих ранних детских воспоминаний всплывают запрятанные в папино бюро, в потайной ящик, машинописные листки с Буниным и Ходасевичем (сам/тамиздат 30-х годов!).

В то время, когда это уже было делом безнадежным, проигранным и отчаянным, они хорохорились и вели всерьёз «литературную борьбу» против тех, кого считали предателями честной поэзии: их *bête noire* был, конечно, уже всесильный А. А. Прокофьев.

Война оживила их надежды на торжество справедливости. Я думаю, что Вам надо было бы упомянуть довольно-таки серьёзную «Ас-

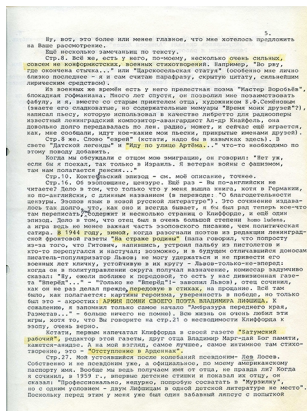


торийскую декларацию», которую они сочинили зимой 42-го года (приводится в книжке Хренкова о Гитовиче — Вы, наверно, знаете; если нет, могу прислать копию).

(Кстати, об этих поэтах как об островке почитателей Ходасевича в сталинской России я рассказал Дэвиду Бетеа (David Bethea) и он включил эти сведения в свою превосходную монографию о Ходасевиче на англ. яз. — знакома ли Вам эта книга? Читаете ли Вы по-английски?)

2. Может быть, в целом очень верно обрисовывая границы его вкусов и взглядов, Вы немного недооцениваете папину открытость другим, иногда довольно далёким от него поэтикам. Он основательно переболел довольно поверхностным пастерначеством в юности, живее знал и чувствовал Мандельштама, чем Вам кажется. В связи с последним стоит эпизод, который в молодости произвёл на него глубочайшее впечатление и о котором он рассказывает в своих едва начатых перед самой смертью мемуарах (успел написать только половину страниц). Его пристроили работать литконсультантом по самотёку в «Звезду» (1936 г., кажется, неохота проверять), и вот из «потока самотёка» он в одно прекрасное утро выудил пакет из Воронежа! С радостными воплями он бросился звонить Н. С. Тихонову: какое счастье — нам Мандельштам стихи прислал! — но автор «Орды» и «Браги» быстро охладил его пыл. Факт рассылки Мандельштамом воронежских стихов (вероятно, «Стихи о неизв. солдате») по моск. и ленингр. редакциям подтверждается известными мемуарами.

Он очень любил Заболоцкого и обэриутский юмор: с Хармсом, Введенским, Олейниковым был близок по совместной работе в «Чиж»; хотя детской поэзии обучался скорее у Маршака, что очевидно. Но неспроста заметочку о нём в КСЭ, всё же, написала Эстер Сол. Паперная, осколок обэреутчины —



знавали её?

В 1970 году я попал в больницу с инфарктом и мне надо было сообщить папе об этом как-то помягче, он был в это время в Ялте. А тут как раз в Ялту собрался Иосиф Бродский — хотите верьте, хотите нет, но был момент, когда Иосифу давали путёвку в Дом творчества в Ялту («Приехать к морю в несезон, помимо материальных выгод, имеет тот ещё резон, что это временный, но выход за скобки года...»). Я поручил деликатную миссию Бродскому, что он и выполнил блестяще. Как потом часто вспоминали отец и мачеха, он постучался к ним в комнату, вошёл с самой трагической из своих мин и скорбно сказал: «Только ради Бога не пугайтесь... но ваш сын... Лёша... С инфарктом...» Так или иначе, они подружались, и отец горячо полюбил стихи Бродского. Он был одним из первых подписчиков, «финансёров», собрания сочинений Бродского, которое мы издавали под беспримерно энергичным руководством Марамзина. (Впрочем, он много чего и кого финансировал в последние годы — добр и щедр он был необыкновенно.)

Своих стихов я так и не сумел ему показать. Это одно из самых печальных обстоятельств моей жизни.

3. Ещё, мне кажется, Вы невольно упустили из виду одну в жизни каждого поэта немаловажную деталь: при всей скромности своих внешних достижений он, всё же, вкусил славы — популярности, хотя и не совсем той, какой бы ему хотелось. Во-первых, и это, конечно, в чисто комическом плане, был период, конец 50-х-начало 60-х гг., когда ему проходу не было — из каждой подворотни слышал он собственные творения: не было алкаша, который бы не распевал «Пять минут, пять мину-у-ут...» или «Сто тысяч девчонок в столице живёт и полмиллиона курносых...» или «Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой...» (Люба, Люба, Любочка — это уже из скабрёзной народной переделки).

Серьёзнее — он очень всерьёз относился к своим сатирическим опытам. С удовольствиям повторял фразу какого-то московского остряка: «Теперь модно пародироваться у Лиф-

шица». Эти пародии были очень популярны, как прежде Архангельского, а позднее А. Иванова. Их и сейчас помнят. Недавно в Бозе почивший ньюйоркский журнал «7 дней», как-то напечатал целую их подборку. Некоторые из его непечатных эпиграмм приобрели в лит. кругах фольклорную ходячесть и анонимность:

Семён Михайлович Будённый,
Семён Михалыч Бытовой.
Один — любитель жизни конной,
другой — любитель половой.

Есть пивная на Литейном
под названием «Уют»,
в заведении том питейном
люди русские блюют.
Отчего-то, почему-то
на Руси, ...на мать,
не заведено уюта
без того, чтоб не блевать!

Наверное, ты, родина,
испытываешь зуд,
когда два Воеводина
по тебе ползут.

(Это во время суда над Бродским, где Воеводин мл. выступал общественным обвинителем).

Были даже песенки, задолго до окуджаво-галичской эры (он чуть-чуть умел пощипывать гитару):

Дорогой товарищ Коган,
наш советский врач,
ты растерян, ты растроган,
но теперь не плачь.
Ты себе расстроил нервы,
кандидат наук,
из-за этой самой стервы,

подлой Тимашук.
Вы работали, трудились,
не смыкая глаз,
а легава я зараза
капала на вас... и т.д.

Наконец, «философемсы», которые он с таким успехом писал в ЛГ [московской Литературной газете] под именем Евг. Сазонова. Они вошли в оформленную Бахчаняном книжечку «Потехе час» и кое-что там подстать стихам Клиффорда, далеко не потехи ради. Посмотрите-ка — есть у Вас?

И, конечно, вторая в его жизни сентиментальная баллада, пользовавшаяся огромным успехом: «Датская легенда». Сколько получил он писем от умиленных евреев. И наоборот (о событиях наоборот я писал в «Континенте», в 1976 г., что он сумел прочитать в Москве и откликнуться с одобрением; входит в мою книжечку очерков, стр.46-47) .

4. Прозрение по поводу сов. власти пришло к нему окончательно во время космополитской компании. Их группа была выделена прокофьевской бандой для окончательного уничтожения. И тут что-то треснуло, оказалось, что тот офицерский кодекс, который все они так воспевали, Владимир Лифшиц воспринимал посерьёзнее, чем остальные. Гитович пробурчал с трибуны требуемые извинения и запил. Шефнер (по фамилии от деда-шведа-адмирала принимаемый за еврея) вышел на трибуну и сказал, как ему свойственно, афористично: «Товарищи, когда уголь горяч, он жжет, когда холоден — пачкает. Ваша критика не запачкала меня, она меня обожгла...» и т.д. и т.п. Чивилихина, как русского, деревенского, вообще не тронули. А вот Лифшиц каяться счёл недостойным, отвергал обвинения, отбивал атаки, и судьба его была решена. Его полностью перестали печатать. С ним перестали здороваться. Наступило известное предрестное затишье. И тут он сделал то, что, как пишет Н. Я. Мандельштам, спасло жизнь столь многим: бросил свою прелестную квартирку на канале Грибоедова, в «надстройке», и канул в Москве (см. мемуары моей мачехи — прилагаю, если у Вас есть, то «передай товари-

щу») [письмо и несколько книг от Лосева, в том числе книгу Ирины Кичановой-Лифшиц *Прости меня за то, что я живу* (NY, 1982), привез мне Юз Алешковский, гостивший в 1985 году в Израиле. Название книги Кичановой — строка из стихотворения Владимира Лифшица].

И в Москве он начал сознательно, планомерно строить себе внутреннюю крепость, добиваться независимости от мира, который он ненавидел и презирал. Работал как вол, не брезговал никакой литературной подёнщиной и, в конце концов, наткнулся на золотую и чистую жилу — кукольный театр (он и меня, под конец моей российской жизни, 1971-1976, приспособил к этому занятому и хлебному ремеслу — у меня около десятка кукольных пьес шло по провинциям, принося ощутимый доход: см. С. Довлатов «Невидимая книга»). А папа просто по советским понятиям разбогател. И жил довольно независимо. Дружил с отборными людьми: Шкловский (соседняя квартира), старик Соколов-Микитов, Галич, О. В. Ивинская. Мир извне глубоко презирал, что и отразилось, например, в его стихотворении про Останкинскую башню — единственным, которое Вы комментируете неверно. [Лифшиц сравнивает шпиль Останкинской башни с вонзившимся в небо шприцем; в первой редакции моей статьи я допускал, что это — не сатирический выпад, а невольная оговорка.] (Он телевизор всегда называл — «ящик глупости»).

Ну, вот, это более или менее главное, что мне хотелось предложить на Ваше рассмотрение.

Ещё несколько замечаний по тексту.

Стр. 8. Всё же, есть у него, по-моему, несколько очень сильных, совсем не конформистских, военных стихотворений. Например, «Во рву, где окончена стычка...» или «Царскосельская статуя» (особенно мне лично близко последнее — я и сам считаю парафразу, скрытую цитату, сильнейшим лирическим средством).

Из военных же времён есть у него прелестная поэма «Мастер Воробьёв», блокадная гофманиана. Много лет спустя, он позволил мне позаимствовать фабулу, и я, вместе со

старым приятелем отца, художником Б. Ф. Семёновым (знаете его сладковатые, но содержательные мемуары «Время моих друзей»?) написал пьесу, которую использовал в качестве либретто для радиооперы известный ленинградский композитор-авангардист Ал-др Кнайфель, она довольно долго передавалась по лен. радио, может, и сейчас ещё играет, как, мне сообщали, идут кое-какие мои пьески, прикрытые именами друзей.

Стр. 8 же. Слово «еврей» (кстати, надо бы в кавычках здесь) [Лосев не знал, и я не стал ему объяснять, что я использую кавычки только для выделения цитат; для внимательного и вдумчивого читателя сочетание *слово еврей* никаких кавычек не требует]. В свете «Датской легенды» и «Иду по улице Артёма...» что-то необходимо по этому поводу добавить. Когда мы обсуждали с отцом мою эмиграцию, он говорил: «Нет уж, если бы я поехал, так только в Израиль. Я ветеран войны с фашизмом, там нам полагается пенсия...»

Стр. 10. Коктебильский эпизод — см. моё описание, точнее.

Стр. 16. Об эзоповщине, цензуре. Ещё раз — Вы по-английски не читаете? Дело в том, что только что у меня вышла книга, хотя в Германии, но по-английски, с длинным названием (в переводе: «О благодетельности цензуры. Эзопов язык в новой русской литературе»). Это сочинение издавалось так долго, что, как оно и всегда бывает, я бы был рад теперь кое-что там переписать. Оно содержит и несколько страниц о Клиффорде, и ещё один эпизод. Дело в том, что отец был в очень большой степени *homo ludens*, а игра ведь не менее важная часть эзоповского писания, чем политическая сатира. В 1944 году, зимой, когда разогнали поэтов из редакции ленинградской фронтовой газеты «На страже родины» (папа говорил, что попросту из-за того, что Гитович, напившись, устроил пальбу из пистолетов и кто-то перепугался и наступал; возможно, и в будущем отличавшийся доносами писатель-популяризатор Львов; не могу удержаться и не привести его военных лет кличку, устойчивую в их кругу — Львов-

только-не-вперед: когда он в политуправлении округа получал назначение, комиссар задумчиво сказал: «Ну, ежели поближе к передовой, то есть у нас дивизионная газета "Вперёд"...» — «Только не "Вперёд"!»! — завопил Львов), отец сочинил, как он не раз делал прежде, передовую в стихах, на прощание. Всё там было, как полагается: картины героизма, уверенность в победе, но только был это — акrostих: АРМИЯ ПОМНИ СВОЕГО ПОЭТА ВЛАДИМИРА ЛИФШИЦА. К сожалению, я запомнил только самое начало «Амбразура переднего края, Разметав...» — больше ничего не помню. Всю жизнь он очень любил эти игры, хотя то, что Вы говорите на стр. 21 о несводимости Клиффорда к эзопу, очень верно.

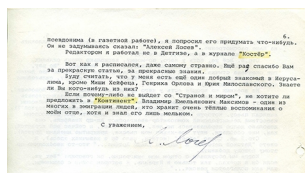
Кстати, первым напечатал Клиффорда в своей газете «Батумский рабочий», редактор этой газеты, друг отца Владимир Марг- дай Бог памяти, кажется -анидзе. А на мой взгляд, самое лучшее, самое интимное там стихотворение, это — «Отступление в Арденнах».

Стр. 27. Мой устоявшийся после колебаний псевдоним — Лев Лосев [в ленинградском самиздате Лев Лосев был поначалу известен как Алексей Лосев; под этим псевдонимом он, к этому времени уже эмигрант, вошёл и в ленинградскую самиздатскую антологию *Острова* (1983)]. Собственно и не псевдоним уже, а официальное, по моему американскому паспорту имя. Вообще мы ведь получаем имя от отца, не правда ли? Когда я сочинил, в 1959 г., впервые детские стишки и показал их отцу, он сказал: «Профессионально, недурно, попробую сосватать в "Мурзилку", но с одним условием — двум Лифшицам в одной детской литературе не место». Поскольку перед этим у меня уже был один забавный ляпсус с попыткой псевдонима (в газетной работе), я попросил его придумать что-нибудь. Он не задумываясь сказал: «Алексей Лосев».

Редактором я работал не в Детгизе, а в журнале «Космётр».

Вот как я расписался, даже самому странно. Ещё раз спасибо за прекрасную статью, за прекрасные знания.

Буду считать, что у меня есть ещё один добрый знакомый в Иерусалиме, кроме Миши Хейфеца, Генриха Орлова и Юрия Милославского. Знаете ли Вы кого-нибудь из них?



Если почему-либо не выйдет со «Страной и миром», не хотите ли предложить в «Континент». Владимир Емельянович Максимов — один из многих в эмиграции людей, кто хранит очень тёплые воспоминания о моём отце, хотя и знал его лишь мельком.

С уважением —

Л. Лосев

[В том же письме от 26 января 1985 года, на отдельном листе, Лосев приводит неопубликованное к тому времени стихотворение Владимира Лифшица и пояснения к нему:]

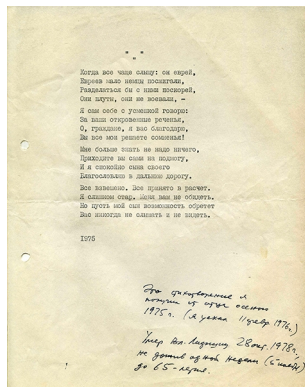
* * *

Когда все чаще слышу: он еврей,
Евреев мало немцы посжигали,
Разделаться бы с ними поскорей,
Они плуты, они не воевали, —

Я сам себе с усмешкой говорю:
За ваши откровенные реченья,
О, граждане, я вас благодарю,
Вы все мои решаете сомненья!

Мне больше знать не надо ничего,
Приходите вы сами на подмогу,
И я спокойно сына своего
Благословляю в дальнюю дорогу.

Все взвешено. Все принято в расчет.
Я слишком стар. Меня вам не обидеть.
Но пусть мой сын возможность обретет
Вас никогда не слышать и не видеть.

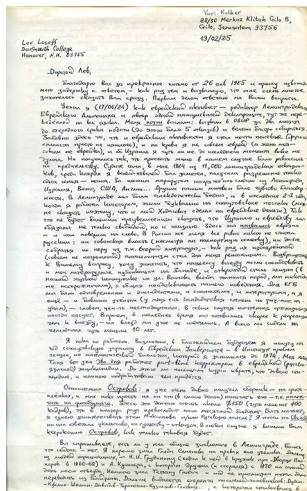


Это стихотворение я получил от отца осенью 1975 г. (я уехал 11 февр. 1976 г.).

Умер Вл. Лифшиц 28 окт. 1978 г., не дожив одной недели (5 ноября) до 65-летия.

Lev Loseff
Dartmouth College
Hanover, N.H. 03755

Yuri Kolker
88/30 Merkaz Klita Gilo B,
Gilo, Jerusalem 93756
19/02/85



Дорогой Лев,

благодарю Вас за прекрасное письмо от 26 янв 1985 и прошу извинить мою задержку с ответом, — как раз тем и вызванную, что мне очень много захотелось сказать Вам сразу. Первым делом отвечаю на Ваши вопросы.

Уехал я (17/06/84) как еврейский активист — редактор Ленинградского Еврейского Альманаха и автор одной на шумевшей декларации, тут же переведенной на все языки. Меня почти выслали: вызвали в

ОВИР за два месяца до очередного срока подачи (до этого было пять отказов) и велели быстро собираться. Забавно здесь то, что и еврейским активистом я стал почти поневоле (другого стилиста просто не нашлось), и по крови я не совсем еврей (а жена моя — совсем не еврейка), и об Израиле я чуть ли не до последнего момента вовсе не думал. Но получилось так, что проехать мимо в нашем случае было равносильно предательству. Судите сами, в мае 1984 из 11,000 ленинградских отказников, среди которых я волей-неволей был замечен, получила разрешение только одна семья — наша. За нашим

маршрутом напряжённно следили из Ленинграда, Израиля, Вены, США, Англии... Другим нашим мотивом было чувство благодарности. В Ленинграде мы были анекдотически бедны, а в последние 2-3 года, когда я работал кочегаром, жили буквально на сохнутовские посылки (можно сказать поэтому, что и мой Ходасевич сделан на еврейские деньги). Так что не будет большим преувеличением сказать, что Израилю и евреюству мы обязаны не только свободой, но и жизнью. Здесь мы *назвались* евреями — и нам поверили на слово. В России же меня все равно никто не считал русским: ни советская власть (несмотря на паспортную отметку), ни даже соотечественники по перу из т. н. второй литературы, — как раз их изощрённый (совсем не погромный) антисемитизм стал для меня решающим... Возвращаясь к Вашему вопросу, хочу заметить, что нашему выезду могли способствовать и мои литературные публикации на Западе, и открытый стиль жизни (в нашей жуткой коммуналке на ул. Воинова всегда толпился народ, мы никогда не осторожничали), и общая неадекватность нашего поведения. Для КГБ мы были одновременно и диссидентами, и сионистами, и литераторами, а я еще — и бывшим учёным (у меня есть кандидатская степень по физ-мат. наукам), — словом, чем-то нестандартным. В таких случаях почтенная организация иногда пасует. Впрочем, в последнее время мы готовились скорее к репрессиям, чем к выезду, — на выезд мы уже не надеялись. А всего мы сидели на чемоданах чуть меньше 10 лет.

Я пока не работаю. Возможно, в ближайшем будущем я получу на год сохнутовскую зарплату в Еврейском Университете — в Институте проблем жизни, по математической биологии, которой я занимался до 1974 года. Моя жена Таня вот уже *два дня* работает part-time корректором в еврейской (русскоязычной) энциклопедии. До этого мы посещали курсы иврита, что давало стипендию, и немного подрабатывали чем придётся.

Относительно *Островов*: я уже очень давно получил сборник — на фотоплёнках, и мне пока просто не на что (в смыс-

ле денег) напечатать его — т. е. *напечатать на фотобумаге*. Здесь это должно стоить около \$150 (чуть меньше 400 кадров), что в полтора раза превосходит наш месячный бюджет. Быть может, я сумею заинтересовать этим Максимова [редактора парижского журнала *Континент* Владимира Максимова] и/или [парижскую газету] *Русскую мысль*? Я написал на *Свободу* [американская радиостанция в Мюнхене], но они ответили уклончиво, по существу — отказом. В любом случае я вышлю Вам ксерокопию *Островов*, как только таковая будет.

Вы спрашиваете, есть ли у нас общие знакомые в Ленинграде. Боюсь, что сейчас — нет. Я хорошо знал Глеба Семенова [поэта, известного в ту пору наставника начинающих] на правах его ученика. Дальше, из людей официальных, — [поэтессу] Н. И. Груднину (ходил к ней в кружок при Дворце Пионеров в 1960-62) и А. Кушнера, с которым дружил (и ссорился) с 1970 по самый день моего отъезда. Немного знал [переводчицу] Татьяну Гнедич и под ее присмотром начал было переводить из Байрона. Дальше виднеется шеренга писателей-чиновников: Дудин-Куклин-Шошин-Давыдов-Торопыгин-Кузнецов-Гладкая..., с которыми я сталкивался в редакциях (я немного печатался в 1972-75), на конференциях молодых писателей Северо-Запада, в литературных объединениях, etc. Я не был знаком ни с Шефнером, ни с Гитовичем. Шефнеру я однажды (до 1975) послал в письме мои стихи; В. С. ответил мне: «строить строфу Вы уже умеете» (текстуально), и дальше что-то в том же снисходительно-уничижительном духе. (Действительно, строить строфу я уже умел, поскольку сочиняю стихи с 1952, с шести лет.) О Гитовиче я собирался писать такую же спекулятивную статью, как о Вашем отце. Ничего не зная об их дружбе и литературной группе, я видел их близость — литературную и человеческую, и оба меня очень интересовали. О Чивилихине я только слышал — от поэта И. Л. Михайлова (это его я расспрашивал о Лифшице). Других названных Вами участников группы Гитовича я не знал даже по именам. Вы говорите о моей эрудиции — между тем, я дилетант, и Ваше письмо вновь ставит мне на

вид этот печальный факт. Я вырос в семье, где моим литературным увлечениям всячески противодействовали. Меня сумели убедить в необходимости заниматься точными науками, и сейчас я очень чувствую нехватку филологического образования. Кстати, кто такой Селин? Литературной среды, атмосферы, где представления можно впитывать прямо из воздуха, в надлежащем возрасте у меня не было. Я всё время думаю об этом, перечитывая Ваше письмо... Может быть, общие знакомые найдутся у нас среди неподцензурных авторов, хотя и здесь у меня не было близких друзей. В 1980 я оказался в кочегарке — и в самом центре второй литературы. Я работал с Охапкиным, Пудовкиной, Вл. Хананом, знал Стратановского, Игнатову, Тамару Буковскую, Шнейдермана, Кривулина... и еще многих — в лицо и по их сочинениям... Мое положение в этом кругу было особым: я добивался отъезда, а в нем господствовали настроения почвеннические и православные... Здесь, в Иерусалиме, я подружился с Мишей Хейфецом, о Г. Орлове не слышал, а с Милославским, пожалуй, и не стану знакомиться: так мне несимпатичны его сочинения. О нем говорят как о талантливом прозаике — я же не могу судить об этом, ибо *физически* не в состоянии читать книги, написанные таким языком. Так же я отношусь и к Солженицыну, с Вашей оценкой которого не могу согласиться. Когда автор говорит «засматривает» (вместо «заглядывает»? — Милославский) или: «покинул попытки», «разгарчивый восход», «бесколебно», «укорно», «душилась от смеха», «чело прихмуренное» (Солженицын), я откладываю книгу и только что не бегу к раковине. Как хотите: человек, кощунственно урождающий родной язык, не может быть большим писателем. Язык обладает бесконечным набором выразительных средств, из которых важнейшее — интонация: ни тот, ни другой не понимают этого, не владеют ею. Кажется, о них — знаменитая эпиграмма Боратынского 150-летней давности: «Увы! творец не первых сил...». Чтобы закончить с этим невольным отступлением и до конца отрекомендоваться, добавлю, что по своим литературным (да и не только) убеждениям я консерва-

тор, ретроград — т. е. сторонник *естественного* хода вещей и слов. Я думаю, что левизна в политике (революционеры, большевики) и левизна в искусстве (модернизм, авангард) имеют одну и ту же тёмную, деструктивную, энтропийную природу, — направленную против человека. И еще: новизна присуща таланту как его неотъемлемая компонента — но сознательно ищет новизны только бездарность. Все эти изыски становятся ненужными, если быть человеком и думать о человеке.

20/02/85 [продолжение того же письма]

Все Ваши замечания по статье справедливы. На одну из моих ошибок (с телевизионной башней) мне уже указали. Теперь ясно, что статья должна быть переписана заново, — и переделка затянется, т. к. на меня обрушилась прямо-таки лавина новой информации. Теперь было бы стыдно отделаться поверхностным взглядом — а именно им я и хотел обойтись: я ведь прочел *только одну* книгу Вашего отца — упомянутую. Вторым (и последним) источником были устные рассказы И. Л. Михайлова. Я не читал ни детских, ни сатирических стихов В. Лифшица, ни его переводов, ни *Датской Легенды*; я не знал ни его песен, ни о его участии в Евг. Сазонове [пародийный муляж советского писателя, коллективный псевдоним сатириков московской Литературной газеты]. Все это подталкивает меня от спекулятивной заметки перейти к исследованию — и я не знаю, достанет ли у меня на это сил и времени в моей новой жизни (где всё пока так зыбко). А [мюнхенский журнал] еще требует сократить текст до 17 стр. Быть может, пристойным компромиссом будет — исправить очевидные неточности, сосредоточиться на Клиффорде, и отложить исследование до лучших времен... Вы спрашиваете, есть ли у меня книги Хренкова и Бахчаняна. Дорогой Лев, у меня нет *ничего*, я вывез 18 книг, в основном — словари. Ибо ничего везти нельзя. И ничего нельзя послать по почте. У меня нет даже книги Вашего отца, на которую я ссылаюсь. Так что если Ваша симпатия ко мне не перейдёт в нечто противоположное после моих признаний и деклараций, и

если у Вас найдется лишний экземпляр, — пришлите, пожалуйста... Да, я читаю по-английски, хотя и неважно. Здесь волей-неволей мне придется совершенствоваться, ибо английский тут чуть ли не важнее иврита (в научной среде), и говорят на нем решительно все. Книги Bethea о Ходасевиче я, конечно, не знаю. Как и статья о В. Лифшице, мой Ходасевич — безрассудная затея дилетанта, оправданная разве лишь любовью. Но и любовь эта замутнена борьбой эстетических школ, идеологизирована, и мой комментарий — скорее полемика, чем исследование. Затем, всё это сделано менее чем за 2 года, обстоятельства заставляли меня спешить. В начале января 1981 года из 5 книг Ходасевича я знал две (причем плохо) — а в феврале 1983 *вышел* (в типографском исполнении) первый том. Конечно, выношенный десятилетиями труд литературоведа предпочтительнее, но иногда очень к месту оказывается, когда поэт комментирует поэта. Помните собрание Ап. Григорьева, составленное Блоком? Неизбежное оплощение и односторонность бывают плодотворны. А в наши дни мне казалось просто необходимым, чтобы весы качнулись в другую сторону: чтобы консервативное начало в поэзии получило свою апологику. Сейчас пол-Ленинграда и пол-Москвы подражают обэриутам; ёрничество, разнузданность и поиск экстравагантности стали общим местом — и, в силу курьезной инерции мысли, продолжают считаться условием *sine qua non* высокой поэзии. Наоборот, точность и уравновешенность, прозрачность и строгость — есть для большинства синоним советского академизма. Что же касается обращения со звуком, то здесь вообще утрачены все ориентиры. Точная рифма считается устаревшей, между тем она — языковая данность, и пренебрегать ею — значит пренебрегать родным языком... Не посетуйте на этот набор сентенций: Вы просили представиться подробнее, это я и делаю.

Вы упомянули Э. С. Паперную. В последние полгода в Ленинграде всё шло к тому, что нас с нею познакомят. Моя жена Таня (сама человек очень больной — она перенесла тяжелую операцию на позвоночнике) ухаживала за одной по-

жилой дамой, вдовой Антона Шварца, а Э. С. была ее ближайшей подругой. Но — не привелось, и виноват в этом я: в молодости я отдал дань Хлебникову и обэриутам, в последнее же время эти имена вызывают у меня только скуку, и я не искал сближения с адептами этой школы.

Об эпизоде в *Звезде* мне уже рассказал С. Максудов (Ба-бёнышев) из Страны и Мира.

Знаете ли Вы, что Ваши стихи о гербе Льва Лосева (*Континент* 41) почти в точности описывают красующийся в центре Иерусалима герб известного благотворителя прошлого века Моше Монтефьоре? В нем — «справа лось сохатый», «слева — лев пархатый», а посередине щит с надписью ירושלים (Иерусалим), и еще кое-что. Мы читали Вашу подборку с Мишей Хейфецем, в его новой квартире в Рамоте [район Иерусалима], — и с равным воодушевлением. Если не ошибаюсь, он сказал, что из современных поэтов читает и ценит только Вас и всё еще не может опомниться от этой приятной неожиданности на Ваш счёт.

Спасибо за присланные книги, я прочел их с интересом. Благодаря им и другим подаркам моя библиотека уже отлична от нуля. (Мне подарили здесь даже прижизненного Ходасевича, чего у меня никогда не было в Ленинграде.) Но почему Вы не прислали сборника Ваших стихов? Вы — в числе немногих поэтов, к которым я испытываю безусловное доверие. (Более сильные характеристики я приберегаю для будущих рецензий.) Но я знаю Вас в этом качестве недостаточно, и, как ни интересны очерки, но стихи для меня важнее. Не хотите же Вы сказать, что Вы их не издавали?

Мои литературные планы таковы. Зарабатывать на жизнь я собираюсь чем-то отличным от литературы, вплоть до ручного труда. Со мной четыре макета сборников объемом по 1,500–900 строк каждый, охватывающих годы с 1970 по 1984, — стихи. Своими силами мне, конечно, их не издать. Ефимов спросил за книжку в 120 стр. \$1,500; *Ардис* мне не ответил, — я отправил туда пакет перед самой смертью Проффера. Меня поощряют в Париже [«поощряли» меня редактор газе-

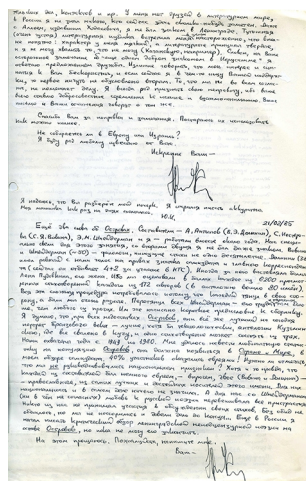
ты *Русская мысль* Ирина Иловай-ская-Альберти и, в меньшей мере, редакторы журнала *Континент* Владимир Максимов и Наталья Горбаневская], видимо, по ошибке. Мне (через [сотрудника *Русской мысли*] Дедюлина) почти обещаны: а) бесплатная поездка в Париж; б) бесплатное или дешевое издание книжки стихов. Но обещания были даны давно, и за ними ничего не последовало. Я был бы рад получить от Вас советы и наставления насчет издательских дел, контактов и пр. У меня нет друзей в литературном мире, в России я не знал нико-

го, кто сейчас здесь сколько-нибудь заметен. Даже с Аллоем, издавшим [мною двухтомник] Ходасевича [я еще не знал, что Владимир Аллой (1945-2001) издавал двухтомник не в своём издательстве, а в издательстве *La Presse Libre* при *Русской мысли*], я не был знаком в Ленинграде. Тутюшняя (очень густая) литературная публика встретила меня в целом настроенно, что вполне понятно: характер у меня мягкий, а литературные принципы твердые, и я не могу хвалить то, что не могу (Каганскую, например). Словом, на Ваше осторожное замечание об «еще одном добром знакомом в Иерусалиме» я отвечаю предложением дружбы. Излишне говорить, что мои интерес и симпатия к Вам бескорыстны, и если сейчас я в чем-то ищу Вашей поддержки, то первое ничуть не обусловлено вторым. То, что мы не во всем согласны, не мешает делу. Я всегда рад признать свою неправоту, ибо выше всего ставлю добросовестное стремление к истине и взаимопониманию. Ваше письмо и Ваши сочинения говорят о том же.

Спасибо за Ваши поправки и замечания. Постараюсь их использовать как можно полнее.

Не собираетесь ли в Европу или в Израиль?

Буду рад любому известию от Вас.



Искренне Ваш —

Юрий Колкер

Я надеюсь, что Вы разберёте мой почерк. Я старался писать аккуратно. Моя машинка как раз на днях сломалась. Ю.К.

21/02/85 [продолжение того же письма]

Еще два слова об *Островах*. Составители — А. Антипов (В. Э. Долинин), С. Нестерова (С. Вовина), Э. М. Шнейдерман и я — работали вместе около года. Нас специально свели для этого занятия, со вторыми двумя я не был даже знаком. Вовина и Шнейдерман (~50) — филологи, пишущие стихи не одно десятилетие. Долинин (38) имел равный с нами голос на правах знатока самиздата и главного корреспондента (сейчас он отбывает 4 + 2 [года заключения в ГУЛАГе] за участие в НТС [политическая партия Народно-трудовой союз, преимущественно зарубежная]). Иногда за него выставляла баллы Лена Пудовкина, его жена. Ибо мы оценивали в баллах каждое из 6200 просмотренных стихотворений каждого из 172 авторов (в антологию вошло 80 имён). Вся эта сложная процедура потребовалась потому, что каждый тянул в свою сторону, а были мы очень разные. Перетянул всех Шнейдерман — его труда и терпения там больше, чем любого из прочих. Им же написано короткое предисловие к сборнику. Я думаю, что при всех недостатках *Островов*, они всё же лучший на сегодня портрет бронзового века — лучше, хотя бы текстологически, антологии Кузьминского, где все свалено в кучу, и одно стихотворение может состоять из трех. Нами охвачены годы с 1949 по 1980. Мне удалось навести любопытную статистику на популяцию *Островов*, она должна появиться в *Стране и Мире* [№1-2, 1985, стр. 104-113], в моем обзоре самиздата. 40% участников оказались евреями! Нужно ли отмечать, что мы не руководствовались национальными признаками? Хотя и то правда, что каждый из составителей был немного евреем, — впрочем, двое (Вовина и Долинин) — православные, из лучших и достойнейших носителей этого имени. Для них национальность и в самом деле ничего не

значила. А для нас со Шнейдерманом (ни в чём не согласных) любовь к русской поэзии перевешивала все пристрастия. Никто из нас не принимал участия в обсуждении своих стихов. Без обид не обошлось, но мы не поссорились и довели дело до конца... Еще в России я начал писать критический обзор ленинградской неподцензурной поэзии на основе *Островов*, но пока не могу его закончить.

На этом прощаюсь. Пожалуйста, напишите мне.

Ваш —

Юрий Колкер

25 июля 1985 г.

Дорогой Юрий,

я рад, что книжки [привезённые мне Юзом Алешковским] пришлось Вам кстати (и что дошли). А-то мне была просто невыносима мысль, что ленинградский интеллигент сидит там в Иерусалиме с пустыми книжными полками, а, может, даже и без полок.

Посылаю Вам ещё сантиметр полочного пространства [это письмо пришло вместе с книгой: Лев Лосев. *Чудесный десант*. Стихотворения, издательство *Эрмитаж*, 1985, — только что изданной тогда первой книгой стихов Лосева]. Второй экземпляр передайте, пожалуйста, Мише Хейфецу, которого очень бы хотел почитать.

Если [израильский журнал] "22" напечатает статью об отце [не напечатал], я буду рад — культурный журнал, хотя и срывается порой. Я терпеть не могу снобистский удешевленный структурализм для бедных Бар-Селлы (Зеев Змеевич Оборзелло). Конечно, "Континент" [парижский журнал, напечатавший «статью об отце»] заплатил бы... А не отвечают они авторам — это у них такой принцип: я вроде старинный автор и друг, но мне никогда не отвечает. Помните, в прошлом письме Вы осторожно выражали несогласие с моими оценками Солженицына. Дорогой мой, хотим мы этого или не хотим, нас заклевывает политика. И антисолженицынская политика — самого возмечного качества, куда хуже советнической, при всей её жестокости и одиночнейности. Впрочем, тут сейчас такая влажная жара, что рассуждать на эти темы нет никакой возможности.

Как у Вас дела? Книжки буду ждать с интересом.
Ваш

друг, но мне никогда не отвечают.

Помнится, в прошлом письме Вы осторожно выражали несогласие с моими оценками Солженицына. Дорогой мой, хотим мы этого или не хотим, нас захлестывает политика. И антисолженицынская политика — самого вонючего качества, куда хуже солженицынской, при всей её жестковатости и односторонности. Впрочем, тут сейчас такая влажная жара, что рассуждать на эти темы нет никакой возможности.

Как у Вас дела? Книжки буду ждать с интересом [речь идёт о моей книге стихов, в ту пору печатавшейся: Юрий Колкер. *Послесловие*. Стихи 1972-78. Издательство *Лексикон*, Иерусалим, 1985; не нахожу письма Лосева с отзывом о ней; не помню его критики; книгу он мою забыл — и так прочно, что свою книгу стихов 1998 года тоже назвал *Послесловие*].

Ваш [подпись забыта]

Странно! Я ведь, помнится, не о политике писал в связи с Солженицыным, а о языке Солженицына, и на примерах показал, что этот язык, — вот уж где выражение Лосева приемлемо, — «самого вонючего качества». Причём здесь «антисолженицынская политика»? И почему политика, а не партия? Ведь на самом деле тут речь о партийности. Было две партии: гонители Солженицына (советская чернь) и почитатели Солженицына (православные почвенники-патриоты, обычно чуть-чуть антисемиты). Отчего Лосев не оставляет места человеку беспартийному? Я восхищался гражданским мужеством Солженицына, но не ценил его как писателя, — только и всего. Литература и политика с её партийностью — очень разные вещи.

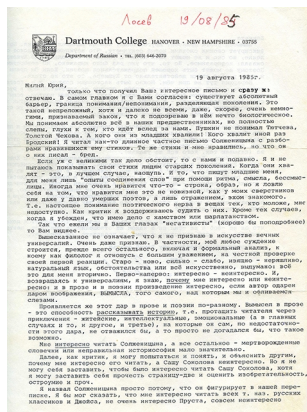
19 августа 1985 г.

Милый Юрий,

только что получил Ваше интересное письмо [не найдено] и сразу же отвечаю. В самом главном я с Вами согласен: существует абсолютный барьер, граница понимания/непонимания, разделяющая поколения [я писал примерно следующее: каждому народу открыта некая своя истина, самая дра-

гоценная и задушевная, которая не передаётся вполне другому народу, и в этом смысле поколение подобно народу, поколение же в литературе — десять лет; и еще: каждое литературное поколение инстинктивно считает себя последним, вершинным; я приводил при этом слова Виктора Сосноры, в голос заявившего перед младшими поэтами Ленинграда, что после его (Сосноры) поколения в русской литературе ничего существенного не произошло]. Это такой непреложный, хотя и далеко не всеми, даже, скорее, очень немногими, признаваемый закон, что я подозреваю в нём нечто биологическое. Мы понимаем абсолютно всё в наших предшественниках, но полностью слепы, глухи к тем, кто идёт вслед за нами. Пушкин не понимал Тютчева, Толстой Чехова. А кого они из младших хвалили! Кого хвалит иной раз Бродский! Я читал как-то длинное частное письмо Солженицына с разборами нравившихся ему стихов. Те же стихи и мне нравились, но что он о них писал — бред.

Если уж с великими так дело обстоит, то с нами и подавно. Я и не пытаюсь показывать свои стихи людям старших поколений. Когда они хвалят — это, в лучшем случае, наощупь. И то, что пишут младшие меня, для меня лишь «опыты соединения слов» при помощи ритма, смысла, бессмыслицы [отсылка к книге Константина Вагинова *Опыты соединения слов посредством ритма* (1931).]. Иногда мне очень нравится что-то — строка, образ, но я ловлю себя на том, что нравится мне это не новизной, как у моих сверстников или даже у давно умерших поэтов, а лишь отражением, эхом знакомого. Т. е. настоящее понимание поэтического нерва в вещах тех, кто моложе, мне недоступно. Как критик я воздерживаюсь судить о них. Кроме тех случаев когда я убежден, что имею дело с хамством или шарлатанством.



Так что ежели мы в Ваших глазах «негативисты» (хорошо бы поподробнее), то Вам виднее.

Вышесказанное не означает, что я не признаю в искусстве вечных универсалий. Очень даже признаю. В частности, моё любое суждение строится, прежде всего остального, включая и формальный анализ, к коему как филолог я отношусь с большим уважением, на честной проверке своей первой реакции. Старо — ново, сильно — слабо, изящно — неряшливо, натуральный язык, обстоятельства или всё искусственно, выдуманно: всё это для меня вторично. Перво-наперво: интересно — неинтересно. И, возвращаясь к универсалиям, я знаю, *почему* мне интересно или неинтересно: и в прозе и в поэзии произведение интересно, если автор одарен даром воображения, ВЫМЫСЛА, того самого, над которым мы и обливаемся слезами.

Проявляется же этот дар в прозе и поэзии по-разному. Вымысел в прозе — это способность рассказывать историю, т. е. протащить читателя через приключения — житейские, интеллектуальные, эмоциональные (а в главных случаях и то, и другое, и третье), на которые он сам, по недостаточности этого дара, не отважился бы, а то просто не догадался бы, что такое возможно.

Мне интересно читать Солженицына, а все остальное — мертворожденные словечки или неправильная историософия мало значительно.

Далее, как критик, я могу попытаться и понять, и объяснить другим, почему мне интересно его читать, а Сашу Соколова неинтересно. Но я не могу себя заставить, чтобы было интересно читать Сашу Соколова, хотя я могу заставить себя прочесть страницу-две и оценить изобретательность, остроумие и проч.

Я назвал Солженицына просто потому, что он фигурирует в нашей переписке. Я бы мог сказать, что мне интересно читать всех т. наз. русских классиков и Джойса, не очень интересно Пруста, совсем неинтересно Беккета.

Вымысел поэта приносит другой плод, нежели вымысел

прозаика. Поэт фиксирует своими словами новый сентимент. Это неуклюжее и неясное определение, но оно и не может быть ясным и уклужим, поскольку ещё Жуковский сказал: невыразимое. Но то, что уже раз было выражено, не невыразимое. Поэтому не может быть хорошей подражательной поэзии. Если Вы правы и есть у меня стихи действительно от Кушнера, то это не стихи.

Иерархия тут не [sic] при чём. Можно быть настоящим поэтом, т. е. всегда называть своими стихами что-то новое, прежде не запечатлённое в русских словах, но при этом быть всё же малым, даже крошечным поэтом, если сила (глубина? ширина? — в нашем словаре нет ничего кроме избитых пространственных метафор) нового сентимента недостаточна. Но это уж от Бога. У всех поэтов общий лозунг: кляйне абер майне.

Предисловие. М. б. мне не следовало соглашаться с издателем и писать это предисловие [авторское введение к первому сборнику стихов Льва Лосева *Чудесный десант* (1985)]. Но я написал его честно: и Горбовский, и все остальные названные [т. е. «созвездие поэтических дарований: Сергей Кулле (1936-1984), Глеб Горбовский, Евгений Рейн, Михаил Еремин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлянд, Иосиф Бродский»] восхищали и питали меня своими дарованиями в большей степени чем, скажем, более именитые современники — Ахмадулина, Кушнер, Окуджава (называю тех, кого всё же уважаю).

Может быть, Вам не стоило так скороговоркой расправляться с Хлебниковым, [обэриутом] Введенским и вступаться за [Григория] Померанца. Ну их, эти российские разговорчики «под водочку и закусочку» (Набоков), в основном, из двух слов: гений и говно. Ведь если я скажу Вам, как я думаю, что Хлебников — гений, Введенский — высокий талант, а Померанец — классический дилетант, не написавший в жизни ни одного эссе, ни одной статьи (то, что он пишет, вне жанра — это бесконечно выползающая колбаса, которую можно нарезать так, а можно и этак), то это будет так же голословно,

как и Ваши замечания наоборот.

Центрист я тоже. И Солженицын только и делает, что пытается доказать, что он не -фоб и не -фил ни в каком из отношений, а центрист, центрист, центрист. И, если отнести к нему не предвзято, он убеждает.

С огромным интересом жду Вашей статьи [о стихах Лосева].

Ваш

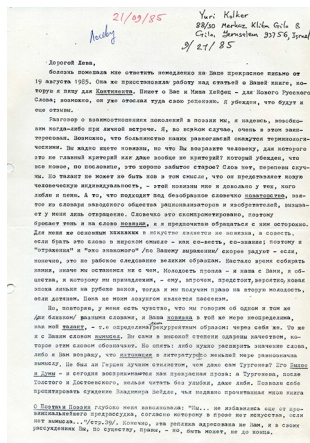
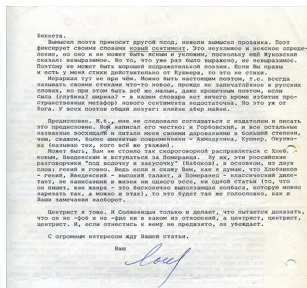
Лосев

Yuri Kolker
88/30 Merkaz Klita Gilo B,
Gilo, Jerusalem 93756, Israel
9/21 [то есть 21 сентября] /85

Дорогой Лев,

болезнь помешала мне ответить немедленно на Ваше прекрасное письмо от 19 августа 1985. Она же приостановила работу над статьей о Вашей книге, которую я пишу для *Континента*. Пишет о Вас и Миша Хейфец — для [нью-йоркской газеты] *Нового Русского Слова*; возможно, он уже отослал туда свою рецензию. Я убежден, что будут и еще отзывы.

Разговор о взаимоотношениях поколений в поэзии мы, я надеюсь, возобновим когда-либо при личной встрече. Я, во всяком случае, очень в этом заинтересован. Возможно, что большинство наших разногласий окажутся терминологическими. Вы жадно ищете новизны, но что Вы возразите человеку, для которого это не главный критерий или даже вообще



не критерий? который убежден, что все новое, по пословице, это хорошо забытое старое? Слов нет, перепевы скучны. Но талант не может не быть нов в том смысле, что он представляет новую человеческую индивидуальность, — этой новизны мне и довольно у тех, кого люблю и ценю. А то, что подходит под безобразное словечко *новаторство*, взятое из словаря заводского общества рационализаторов и изобретателей, вызывает у меня лишь отвращение. Словечко это скомпрометировано, поэтому бросает тень и на слово *новизна*, и я предпочитаю обращаться с ним осторожно. Для меня же основным в искусстве является не новизна, а совесть, если брать это слово в широком смысле — как со-весть, со-знание; поэтому и «отражения» и «эхо знакомого» (по Вашему выражению) скорее радуют — если, конечно, это не рабское следование великим образцам. Настало время собирать камни, иначе мы останемся ни с чем. Молодость прошла — и наша с Вами, и общества, к которому мы принадлежим, — ему, впрочем, предстоит, вероятно, новая эпоха линьки на рубеже веков, тогда и мы получим право на вторую молодость, если дотянем. Пока же моим лозунгом является пессимизм.

Но, повторяю, у меня есть чувство, что мы говорим об одном и том же (или близком) разными словами, и Ваша *новизна* в той же мере неопределима, как мой *талант*, — т. е. определима лишь рекуррентным образом: через себя же. То же и с Вашим словом *вымысел*. Вы сами в высокой степени одарены качеством, которое этим словом обозначают. Но опять: либо нужно расширить значение слова, либо я Вам возражу, что интонация в литературе по меньшей мере равнозначна вымыслу. Не был ли Герцен лучшим стилистом, чем даже сам Тургенев? Его *Былое и Думы* — и сегодня воспринимаются как прекрасная проза: а Тургенева, после Толстого и Достоевского, нельзя читать без улыбки, даже любя. Позволю себе процитировать суждение Владимира Вейдле, чья недавно прочитанная мною книга *О Поэтах и Поэзии* глубоко меня взволновала: «Мы... не избавились еще от провинциальнейшего предрассудка, согласно которому в прозе нет ис-

кусства, если нет вымысла...» (стр. 39). Конечно, эта реплика адресована не Вам, и в своих рассуждениях Вы, по существу, правы, — но, быть может, не до конца.

Я очень рад, что мы согласны насчет Беккета, Саши Соколова и русских классиков, и огорчен, что это не совсем так в отношении Джойса и Пруста. Но здесь мне еще предстоит думать: оба читаны мною недостаточно.

Вы пишете: «Если Вы правы и есть у меня стихи действительно от Кушнера, то это не стихи». Смею думать, что это сказано в запальчивости. Конечно, Вы совсем не похожи на Кушнера, но ведь и величайшие поэты влияют друг на друга, ибо поэзия, этот символ индивидуализма, все же труд коллективный, как и все в человечестве. И можно, например, показать, как ранний Бродский повлиял на раннего Кушнера, а более поздний Кушнер, по принципу обратной связи, повлиял на Бродского. Этим и займются будущие исследователи. А пока, угадывая (или воображая) у одного поэта характерные интонации другого, но — простиупающие через своё, я и в мыслях не имею зачеркивать первого вторым.

Заметьте, что, говоря в прошлом письме о Померанце, я вовсе не поднимал вопроса о его значении как литератора: я только сказал, что *Континент* допустил в его адрес отвратительную низость. Вы говорите: «бесконечно выползающая колбаса». Да, согласен, композиционно его вещи плохи, ему не хватает сдержанности, но эрудиция его прекрасна, наблюдения иногда остры, а найденный им тон доверительного разговора с читателем, так живо и по-человечески умно противопоставленный отвратительной надменности многих ([Майя] Каганская, и т. п.), оставляет за ним известное место в литературе. Вообще: словом *дилетант* русского писателя не проймешь, дилетантами были величайшие: Тютчев, Толстой, Анненский, Ахматова. Зато каковы профессионалы! Федин, Дудин...

О Хлебникове: в положенном возрасте я пережил увлечение им и прочим дыр-бул-шил'ом. Я буду счастлив увидеть, что я неправ, что он — гений или высокий талант. Я внима-

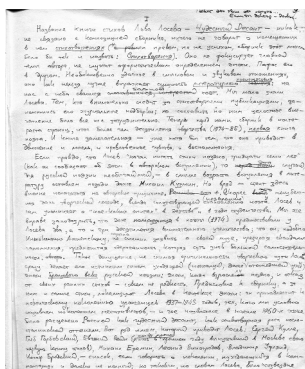
тельнейшим образом слушаю и читаю все, что говорят в его пользу — и не встречаю ничего убедительного. Переучите меня. Я, в свои сорок лет, вообще предпочитаю учиться, а не учить, — и, кроме шуток, ради одного этого поступил бы к Вам в аспирантуру (когда меня здесь отовсюду выгонят). Но боюсь, что в отношении Хлебникова Вы просто находитесь в плену господствующего предрассудка. Гениальность Хлебникова — общее место. И надо вовсе забыть Пушкина и Фета, чтобы признать хорошими пять стихов, цитированных Вами в предисловии [то есть в авторском введении к сборнику *Чудесный десант*]. Но само предисловие — очень уместно, и хорошо написано; только две вещи в нем лишние: рисунок Еремина и стихи Хлебникова*.

[Необходимое пояснение. В предисловии Лосев пишет: «В честь моего переименования [из Льва Лифшица в Льва Лосева] М. Еремин нарисовал вот такую картинку: [изображён лось с головой льва]. Начитанный Еремин безусловно намекал на воспетую Хлебниковым метаморфозу:

Оленю нету, нет спасенья.
Но вдруг у него показалась грива
И острый львиный коготь,
И беззаботно и игриво
Он показал искусство трогать...»

Понятно, что я, не столь начитанный, как Ерёмин, эту «метаморфозу», — с её ритмическим наполнителем «нету, нет» (человек неуклюже запихивает в строку недостающий слог), с двумя однокоренными глаголами в близком соседстве («показалась... показал») и рабским следованием за звуком в рифме (Хлебников по этой части просто глух), уж не говоря о сбое ритма, будто бы художественном, — всегда считал ребячески-беспомощной.]

В заключение решаюсь просить у Вас помощи и совета: не возьмете ли на себя труд прочесть мой очерк жизни и творчества Ходасевича (II том двухтомника) и высказать мне



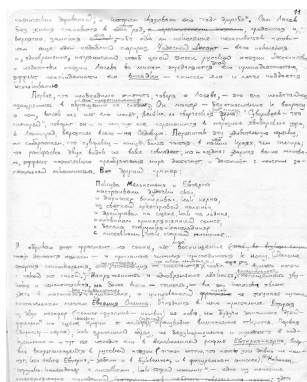
Название книги стихов Льва Лосева — *Чудесный Десант* — никак не связано с композицией сборника, ничего не говорит о помещенных в нём стихах (с равным правом, но не успехом, книгу можно было назвать *Стихотворения*). Оно не фокусирует главной темы автора, не служит афористическим определением пережитой эпохи. Пафос его в другом. Необыкновенно удачное в звуковом

отношении, оно как нельзя лучше выражает сущность *литературного происшествия*: на нас с неба свалился поэт. Мы мало знали Лосева. Тем, кто внимательно следит за стихотворными публикациями, запомнились его журнальные подборы; но составить по ним целостное впечатление было все же затруднительно. Теперь перед нами сборник в полтораста страниц, итог более чем десятилетия творчества (1974-1985), *первая* книга поэта. И книга замечательная — уже хотя бы тем, что она приводит в движение и мысль, и нравственное чувство, и воспоминания.

Если правда, что Лосев «начал писать стихи поздно, тридцати семи лет» (как он сообщает об этом в авторском вступлении), то это случай для русской поэзии почти беспрецедентный, — в смысле возраста вступления в литературу оставлен позади даже Михаил Кузмин. Но вряд ли стоит вполне полагаться на это признание Лосева. Скорее здесь обнаруживается неизбежная дань творческой легенде, всегда сопутствующей поэту. Лосев и сам упоминает о «кое-каких опытах» в детстве и в годы студенчества. Мы же вправе подозревать, что дате помзания в поэты (1974) предшествовали у Лосева два, а то и три десятилетия внимательного ученичества; что он, подобно Иннокентию Анненскому, нарочно не спешил заявить о своей музе, презирал скандалы сомнения, предпочитая сдержанность, которая — знак большой самостоятельности. Это наше подозрение, не снимая origi-

нальности творческого пути Лосева (оригинального ещё и тем, что его творческое становление как поэта целиком приходится на годы эмиграции; он выехал из Ленинграда в начале 1976 и с тех пор живёт в Америке), сразу делает его истинным сыном отошедшей эпохи *бронзового века* русской поэзии: эпохи, когда взрослые поздно, и отказ от ранее написанного не был редкостью. Предисловие к сборнику, а за ним и самые стихи, локализуют Лосева в контексте эпохи: он принадлежит к поэтическому поколению уроженцев 1937-1943 годов, тех, кого мы условно называем *поколением негативистов*, — и чье появление в начале 1960 тоже было расценено читающей Россией как чудесный десант, как животворная роса послесталинской оттепели. Вот ряд имен, который приводит Лосев: Сергей Кулле, Глеб Горбовский, Евгений Рейн (между прочим, лишь в 1984 году выпустивший в Москве свою первую книгу стихов), Михаил Ерёмин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлянд, Иосиф Бродский, — список, если говорить о поколении, нуждающийся в комментариях и далеко не полный; но таковым, по словам Лосева, было «созвездие поэтических дарований», с которым связывали его «годы дружбы». Сам Лосев без усилия становится в этот ряд, продолжая и, вероятно, замыкая его, — ибо едва ли *поколение негативистов* готовит нам еще один подобный сюрприз. *Чудесный Десант* — веха поколения и, одновременно, пограничный столб целой эпохи русской поэзии. Достоинства и недостатки поэзии Лосева во многом определяются его принадлежностью к поколению негативистов, эффект неожиданности его *высадки* — снижен ею и легче поддается истолкованию.

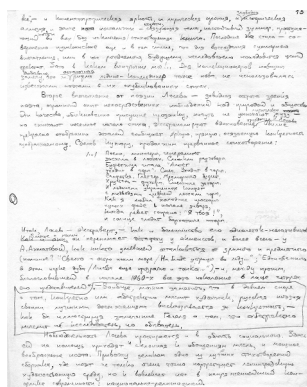
Первое, что необходимо отметить, говоря о Лосеве, — это его необычайная изощренность в обращении со словом, его первоклассный профессионализм. Он мастер — безотно-



сительно к вопросу, «высок или нет его полет, велика ли творческая дума». Вот пример. «Суворовцев — что снегирей», говорит поэт — и мы тут же переносимся в морозное январское утро, в Ленинград, вернее всего — на Садовую. Перечитав эту удивительную строчку, мы соображаем, что суворовец в наших краях птица более частая, чем снегирь; что раскраска двух видов не вовсе совпадает; но — поздно: звуковая волна миновала, поэтическое преображение мира достигнуто, и — с поистине замечательной лаконичностью. Вот другой пример:

Покуда Мельпомена и Евтерпа
настраиwали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из светлой оркестровой полыньи,
и дрейфовал на сцене, как на льдине,
пингвином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист...

Я обрываю этот фрагмент на стихе, где мое восхищение делается полным, и приглашаю читателя присоединиться к нему. (Дальше энергия стихотворения и его интонация снижаются, что совсем немудрено, — чтобы ещё раз взмыть с такой же силой.) Напряженность и одновременно легкость, выразительность, насыщенность звуковая и семантическая, но более всего — точность, — все эти качества явлены здесь в масштабах без преувеличения пушкинских, а цитированный кусок выдерживает сравнение с лучшими описательными местами из *Евгения Онегина*. Вглядимся в него пристальнее. Метафора *солист-фрочник* — *пингвин* не нова, но будучи дополнена «дрейфующим» по сцене световым кругом от юпитера («льдиной»), производит впечатление открытия. Другая метафора *дирижер-нерпа* как зри-



тельный образ не безукоризненна и нуждается в подкреплении — и тут же находит его в великолепной рифме *Ев-терпа-нерпа*, впервые встречающейся в русской поэзии (отчасти оттого, что поэты уже давно не помнят, кто такая Евтерпа, — забыли и в буквальном, и в фигуральном смыслах). Звук дорисовывает образ, доставляя ему убедительность. Наконец, «старушка-капельдинер с листовками, как старый нигилист» — одно из поистине ошеломляющих попаданий: здесь и кинематографическая яркость, и лирическая ирония, и глубокая историческая аллюзия, и даже нотка ностальгии — кстати, связующая тема, настойчивый зуммер, проступающий почти во всех стихах книги... Эти два стиха — совершенно пушкинские ещё и потому, что, для воссоздания суммарного впечатления, ими в нас рождаемого, будущему Набокову или Лотману понадобится целый трактат. Зато в каком выигрыше мы!.. Для коллекционеров новизны добавлю, что и остаточная рифма *льдине-капельдинер* нова.

Второе впечатление от стихов Лосева — завидная острота зрения поэта, огромный опыт непосредственных наблюдений над природой и обществом. Эти качества, обыкновенно присущие прозаику, вообще говоря, не унижают лирическую музу, но неизбежно снижают песенное начало стиха: вдохновение как бы экстраполируется трудом. У Лосева обилие прекрасно отобранных деталей сообщает яркую, пряную, осязаемую конкретность изображаемому. Сделав купюру, продолжим прерванное стихотворение:

Послы, министры, генералитет
застыли в ложах. Смолкли разговоры.
Буфетчица читала «Алитет
уходит в горы». Снег. Уходит в горы.
Салфетка. Глетчер. Мраморный буфет.
Хрусталь — фужеры. Снежные заторы.
И льдинами украшенных конфет
с медведями пред ней лежали горы.
Как я любил холодные просторы

пустых фойе в начале января,
когда ревет сопрано: «Я твоя!»,
и солнце гладит бархатные шторы.

Искусству конкретного негативисты учились у акмеистов, прежде всего — у Ахматовой, как никто умевшей схватить деталь, оттолкнуться от зримого и предметного образа (вспомним хотя бы: «Свежо и остро пахли морем / На блюде устрицы во льду», или: «Единственного в этом парке дуба / Листва еще прозрачна и тонка»). Ахматова, между прочим, наблюдала подъём этого поколения в начале 1960-х и напутствовала четырех его представителей (А. Наймана, Е. Рейна, Д. Бобышева и И. Бродского, которых обычно называют ахматовскими сиротами). Но родство двух эпох, двух поколений (последнего поколения серебряного века — с первым бронзового) лежит, несомненно, глубже отмеченной мною поверхностной общности, да и своей поэтической зоркостью те и другие распорядились уж очень по-разному. Лев Лосев, как и большинство негативистов, по преимуществу экстраверт.

Наблюдательность дополняется у Лосева склонной к общению мыслью и мощным воображением. Привожу целиком одно из важнейших (и лучших) стихотворений сборника, где поэт не только очень точно портретирует полуподпольную литературную среду, но и вовлекает нас в напряженный конфликт современности: национально-религиозный.

«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю, — говорил мне поэт. —
Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил»,
— и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаяясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,

достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки,
и под утро, вместо примочки,
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копы
и актерскую их хрипоту,
наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного: нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

Оба собеседника утрируют: и воображаемый автор монолога, и его молчаливый оппонент, так умело направляющий взгляд обличителя на ухоженный шпиль Петропавловки — и тем переводящий разговор из сферы бытовой в сферу апокалиптическую и мессианскую. Реплики обличителя злы и поразительно метки: ничего случайного, нарисованная им картина реалистична и одновременно пародийна. Кто позволит себе сказать такое о России? «Поэт», как бы невзначай роняет Лосев. Но нам этого мало, нас провоцируют доискиваться и домысливать, и мы добавляем еще одну важную характеристику: интеллигент. Интеллигенция (конечно, не в советском значении этого слова, а в единственно возможном: русском) была и остается в России *национальным меньшинством*; перед нами монолог жертвы культурного геноцида. Сложность, однако, в том, что в последние десятилетия появились новые

основания (а с ними — и новый соблазн) понимать это ино-сказание буквально. Этнос русской интеллигенции сдвинулся, незначительные тюркская и немецкая примеси, не исчезнув, уступили первенство вполне ощутимой семитской. Возможно, автор монолога и не еврей, прямых указаний на это нет. Мы знаем, что он — просто статистически — окажется *полукровкой* или *квартиронцем*, если этот образ собирательный. Но довольно и того, что он — интеллигент, самой природы меньшевик, страдающий и протестующий, а потому и приравниваемый черню к еврею. Да и кто ещё назовет российский дух — худым? А вот кто: Чаадаев и Есенин, — отвечает Лосев. Монолог обличителя лишь в части своих реалий современен (и, повторю, очень точен; его вариации я слышал десятки раз); вообще же он лишь повторяет мысли Чаадаева да мимоходом цитирует Есенина («страна негодяев»). Пётр Чаадаев, русский европеец с ордынской фамилией, приятель Шеллинга, собеседник Ламенне, оппонент Пушкина, — вот кто прежде говорил о России подобное. Он и стал, по замечанию современного мыслителя, отцом русской интеллигенции, касты отверженных протестантов, где, как мы видим, духовная преемственность осуществляется куда вернее кровной. Мы видим это — в настойчиво повторяемом местоимении *наши*, *нас*, в той страсти, с которой герой стихотворения говорит о России. Чужак не найдет в себе на это душевных сил, не станет расходовать их попусту. Так снимается (или, по крайней мере, разрешается внутри стихотворения) болезненный конфликт современности, живо волнующий Лосева. — Но куда же смотрит новый Чаадаев? — На плоскую, аккумулятивно позолоченную, круто накрененную фигуру архангела с отброшенной в сторону трубой (все вместе — как крыло птицы, ибо это флюгер), обнимающего подножие громадного латинского креста, — на шпиль барочного собора бывшей царской тюрьмы. В последних четырех стихах, произнесённых уже голосом автора, мы слышим и совершенно тютчевскую удрученность ношей крестной, и его же веру в христианское возрождение России (высмеянную другими интеллигентами:

Герценом и теми, кого он разбудил), и ноты жертвенной экзальтации, — все то, что в высшей степени характерно для сегодняшней творческой интеллигенции. Строфа уравновешена антистрофой, картина получилась стереоскопически емкой и удивительно живой...

К сожалению, именно здесь приходится начать неизбежный разговор о недостатках* книги. Досадная неточность в восьмом стихе портит это прекрасное стихотворение: «кривить губы» можно с выражением отчаянья, презрения, досады, но никак не угрозы (неподходящей здесь и по смыслу). Мимике гнева служат брови.

.....

*«Неизбежный разговор о недостатках» не состоялся. Статья не закончена. Писалась она в 1985 году, во времена тысячелетнего большевистского рейха, с верой в читателя и литературу... с верой в людей, с мечтой о людях... Пиши я несколько позже, я назвал бы Лосева и его «созвездие поэтических дарований» (с именами совершенно забытыми) не поколением негативистов, а гастрономическим поколением. Уж больно эти духовидцы и жизнелюбы сильны по части брюховки. Выбираю наугад у Бродского (с непременно желудочным себе): «Купи себе на ужин / какого-нибудь сладкого вина...», «Возьмем себе чуть-чуть икорки / и водочки на ароматной корке...». Водочки! Вижу русского человека, чисто по-русски самовлюбленного, самодовольного, себя ублажающего... Или вот вам Рейн, певец Елисеевского гастронома: «Здесь плыла лососина, как регата под розой заката». Но полный чемпион тут, конечно, сам Лосев: «Осетринка с хреном поплыла вниз по батюшке по пищеводу...».

6 сентября 1986 г.

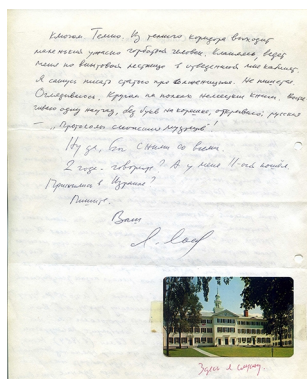
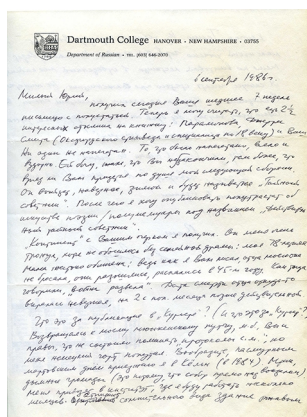
Милый Юрий,

получил сегодня Ваше шедшее 7 недель письмо с полустатьей [моей незаконченной статьёй о стихах Лосева]. Теперь я могу считать, что есть 2½ интересных отклика на книжку: Парамонова, Джерри Смита (Оксфордского стиховеда специалиста по 18 веку [опозорившего себя фразой, достойной

«учёного соседа» Чехова: «Everybody knows that for about twenty years the most important living Russian poet has been Joseph Brodsky. G. S. Smith. Another time, another place. *The Time Literary Supplement* № 43956, June 26, 1987.» Вот уж довод, достойный учёного: «Everybody knows»!) и Ваш. Ни один не напечатан. То, что было напечатано, вяло и вздорно. Ей богу, жаль, что Вы не закончили, тем более, что вряд ли Вам придется по душе мой следующий сборник. Он выйдет, наверное, зимой и будет называться «Тайный советник». После чего я хочу опубликовать полутрактат об искусстве поэзии (полумемуары под названием «Действительный тайный советник»).

«Континент» с Вашим очерком я получил. Он меня очень тронул, хотя не обошлось без семейной драмы: моя 78-летняя мама жестоко обижена: ведь как я Вам писал, отца моего она не бросала, они разошлись, распались в 45-м году. Как тогда говорили, «война развела». Дата смерти отца откуда-то вкралась неверная, на 2 с пол. месяца позднее действительной.

Что это за публикация в «Курьере»? (и что это за «Курьер»?) [не помню, о чём шла речь в утраченном письме] Возвращаясь к моему мюнхенскому путчу, м. б. Вы и правы, что не стоило поминать «протоколы с. м.» [протоколы сионских мудрецов, упомянутые в какой-то публикации Лосева], но меня немецкий чорт попутал. Вообразите, пасмурным мартовским днём приезжаю я в Кёльн (в 1984). Мрак, дымные громады (это потому, что собор прямо над вокзалом).



Меня привозят в институт, где я буду работать несколько месяцев. Отпирают сомнительного вида здание ржавым ключом. Темно. Из темного коридора выходит маленький ужасно горбатый человек. Кланяясь, ведет меня по винтовой лестнице в отведенный мне кабинет. Сажусь писать статью про Солженицына. Не пишется. Оглядываюсь. Кругом на полках немецкие книги. Вытягиваю одну наугад, без букв на корешке, открываю: русская — «Протоколы сионских мудрецов»!

Ну, Бог с ними со всеми.

2 года, говорите? [отклик Лосева на мои слова о том, что я живу в Израиле уже два года] А у меня 11-ый пошел. Прижились в Израиле?

Пишите.

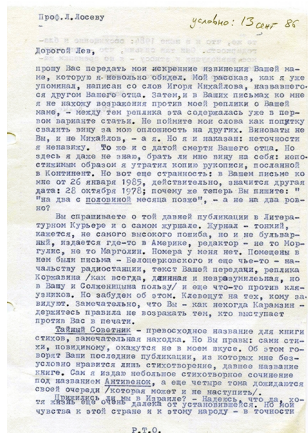
Ваш

Л. Лосев

[≈ 13 сентября 1986; дата условная; исхожу из того, что на письмо Лосева от 6 сентября 1986 я ответил сразу]

Проф. Л. Лосеву

Дорогой Лев,
прошу Вас передать мои искренние извинения Вашей маме, которую я невольно обидел. Мой рассказ, как я уже упоминал, написан со слов [советского поэта] Игоря [Леонидовича] Михайлова, назвавшегося другом Вашего отца. Затем, и в Ваших письмах ко мне я не нахожу возражения против моей реплики о Вашей маме, — между тем реплика эта содержалась уже в первом варианте статьи. Не поймите мои слова как попытку свалить вину за

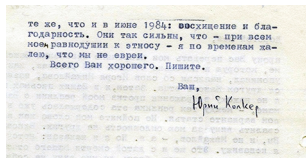


мою оплошность на других. Виноваты не Вы, и не Михайлов, — а я. Но я и наказан: неточности я ненавижу. То же и с датой смерти Вашего отца. Но здесь я даже не знаю, брать ли мне вину на себя: непостижимым образом я утратил копию рукописи, посланной в *Континент*. Но вот еще странность: в Вашем письме ко мне от 26 января 1985, действительно, значится другая дата: 28 октября 1978; почему же теперь Вы пишете: «на два с половиной месяца позже», — а не на два ровно?

Вы спрашиваете о той давней публикации в *Литературном Курьере* и о самом журнале. Журнал — тонкий, кажется, не самого высокого пошиба, но и не бульварный, издается где-то в Америке, редактор — не то Моргулис, не то Марголин. Номера у меня нет. Помещены в нем были письма — Белоцерковского и еще чье-то — начальству радиостанции, текст Вашей передачи, реплика Коржавина (как всегда, длинная и невразумительная, но в Вашу и Солженицына пользу) и еще что-то против кляузников. Но забудем об этом. Клеветают на тех, кому завидуют. Замечательно, что Вы — как некогда Карамзин — держитесь правила не возражать тем, кто выступает против Вас в печати.

Тайный Советник — превосходное название для книги стихов, замечательная находка. Но Вы правы: сами стихи, по-видимому, окажутся не в моем вкусе. Об этом говорят Ваши последние публикации, из которых мне безусловно нравится лишь стихотворение, давнее название книги. Сам я издаю небольшое стихотворное сочинение под названием *Антивенок*, а еще четыре тома дожидаются своей очереди (которая может и не наступить).

Прижились ли мы в Израиле? — Надеюсь, что да, хотя жизнь еще очень далека от установившейся. Но мои чувства к этой стране и к этому народу — в точности те же, что и в июне 1984: восхищение и благодарность. Они так сильны, что — при всем моем равнодушии к этносу — я по временам



жалею, что мы не евреи.

Всего Вам хорошего. Пишите.

Ваш,

Юрий Колкер

18 ноября 1986 г.

Дорогой Юрий,

спасибо за письмо.

Отвечать-то кляузникам я не отвечаю, но материал для новых инсинуаций собираюсь подкинуть. Написал довольно большую работу, озаглавленную попросту — "Солженицын и евреи". Там я исследую проклятый вопрос в рамках сдержанного структурализма.

«Тайный советник» выйдет, видимо, весной. А вообще я стихов сейчас не пишу (месяца полтора), а когда не пишу, то думаю, что и не буду больше писать. А так и спокойнее.

Несколько дней гостил у меня Ю. Кублановский, поэт, конечно, не очень ровный и со слишком уж монолитной идеологией, но иногда такой замечательный, что дух захватывает.

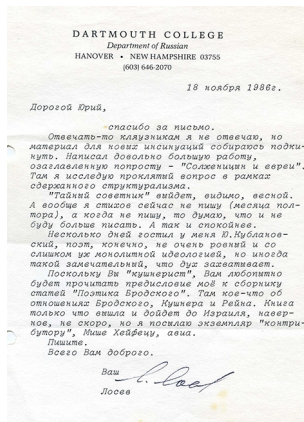
Поскольку Вы «кушнерист», Вам любопытно будет прочитать предисловие моё к сборнику статей "Поэтика Бродского". Там кое-что об отношениях Бродского, Кушнера и Рейна. Книга только что вышла и дойдет до Израиля, наверное, не скоро, но я посылаю экземпляр "контрибутору", Мише Хейфецу, авиа.

Пишите.

Всего Вам доброго.

Ваш

Лосев



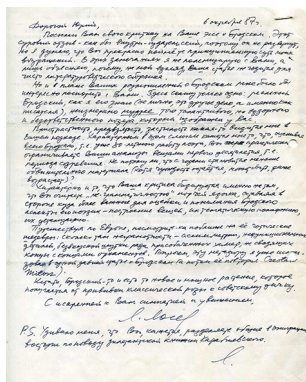
В сентябре 1987 года я закончил статью о Бродском, заказанную мне В. Полухиной для её университетского литературоведческого сборника. В письме от 26 сентября Полухина пишет мне: «Спасибо за статью, которую я прочла с большим интересом, правда, в два приседа: потребовался перерыв, так как я начала задыхаться от Вашего негативного пафоса... Статья Ваша очень длинная. Я предпочитаю, чтобы Вы сократили её сами. Я прошу прощения, что не ограничила Вас в размере статьи раньше...».

Тогда же выяснилось, что соредактором сборника Полухиной становится Лосев. Я написал Полухиной, что мою статью он, человек партийный, не пропустит. В письме от 12 октября 1987 года она подтвердила это: «Вы предугадали реакцию Лосева...».

Заключительная часть моей переписки с Лосевым состоит из двух писем и «внутри-издательского отзыва» Лосева на мою статью о Бродском.

6 октября 87 г.

Дорогой Юрий,



Посылаю Вам свою критику на Ваше эссе о Бродском. Этот суровый отзыв — как бы внутри-издательский, поэтому он не развернут, но я думаю, что Вы прекрасно поймёте принципиальную суть моих возражений. В этих замечаниях я не полемизирую с Вами, а лишь объясняю, почему, на мой взгляд, Ваша статья не годится для чисто литературоведческого сборника.

Но и в плане Ваших размышлений о Бродском мне было бы интересно поспорить с Вами. Здесь скажу только одно: реальный Бродский, как я его знаю (не лично, это другое дело, а именно как писателя), неизмеримо мудрее того талантливого, но вздорного и безответственного позера, который изображен у Вас.

Пристрастность, предвзятость, застылость какая-то видит-

ся мне в Вашем подходе. Характерным в этом смысле кажется мне то, что, оценивая всего Бродского, т. е. уже 30-летнюю работу поэта, Вы практически ограничиваете Ваши анализы вещами первого десятилетия, т. е. периода созревания. Не потому ли, что с годами становится меньше обвинительного материала (хотя чуждость остаётся, может быть, даже возрастает)?

Характерно и то, что Ваша критика базируется именно на том, что Вы считаете «не-грамматичностью», порчей языка, оставляя в стороне куда более важные для оценки и понимания Бродского аспекты его поэзии — построение его вещей, их тематическую полифонию, их детализацию.

Путешествуя по Европе, посмотрите-ка поближе на её готические шедевры: сколько там неграмотности — асимметрии, нефункциональных деталей, безвкусной шутки ради прищипанных химер, не сводящих концы с концами орнаментов. Впрочем, эту метафору я уже использовал в одной давней статье о Бродском (а потом её повторил Czeslaw Milosz).

Кстати, Бродский-то и есть то новое и мощное растение, которое получается от прививки классической розы к советскому дичку [отсылка к стихам Ходасевича: «Привил-таки классическую розу / К советскому дичку...»].

С искренней к Вам симпатией и уважением,

Л. Лосев

Р. S. Удивило меня, что Вы, кажется, разделяете общие в эмиграции восторги по поводу дилетантской книжки Карабчиевского [Юрий Карабчиевский. *Воскресение Маяковского*. Мюнхен, 1985.].

Л.

Приведённое письмо, единственное от Лосева — не на бланке Дартмутского колледжа, было написано на обороте первой страницы его «внутрииздательского отзыва» (по его собственному определению) на мою статью о Бродском, отправленного письмом к Полухиной. Вот этот отзыв:

где слишком загромождает свой текст иллюстративным материалом, демонстрирует слишком уж тонкие грамматические нюансы в солецизмах Бродского, когда было бы достаточно нескольких наиболее ярких примеров.

Но пафос, содержание и, конечно, метод литературоведения (любой школы) совершенно иные.

Прежде всего, литературоведческая работа не может быть оценочна. Литературовед одинаково заинтересован Пушкиным и Кукольниковым, Пастернаком и Долматовским не потому, что он всеяден, а потому, что он обращается к тому или иному автору с целью выявить структурные (в том числе и в до-, и в постструктуралистском смысле) особенности процесса создания автором литературного текста, бытования этого текста как такового и его (текста) прагматики, участия в культурном процессе.

Последняя область литературоведения включает в себя и аксиологический аспект, но лишь при строго системном подходе. Как литературовед я не могу рассуждать, почему Бродский лучше или хуже Кушнера или Дмитрия Острового, тем более, апеллируя к своему собственному религиозно-философскому опыту, это было бы и некорректно, и непрактично — таким путём никого, кроме заведомых единомышленников, не убедишь. Задача литературоведческой аксиологии — очертить возможно точнее и подробнее контуры той культурно-исторической модели, которая вырабатывает свою ценностей незыблемую скалу, которая помещает Бродского выше или ниже Кушнера (или Анатолия Чепурова).

Выступление Колкера неприемлемо в научной дискуссии ещё и потому, что даже важнейшие для своих построений термины — «романтизм», «консерватизм», «модернизм», «авангардизм» — он не считает нужным определить. Между тем, без таких дефиниций серьёзному читателю просто трудно понять Колкера. На каждом шагу возникают сомнения. Взять, например, как он употребляет термин «романтизм» (см. стр. 15 и др.). Похоже, что романтизм для него это литературное течение, для которого характерен образ автора,

лирического героя, противопоставляющего себя обществу, презирающего толпу, «странного человека» почти в духе штабс-капитана Солёного. Но ведь для романтизма не менее характерно и беспрецедентно пристальное внимание к «другим» людям. Надо ли объяснять — даже странно — такому образованному автору, как Колкер, что и романтическая ирония — это сложная система философствования, а не презрительная насмешка надо всем и вся, как он это пытается представить в пылу полемики.

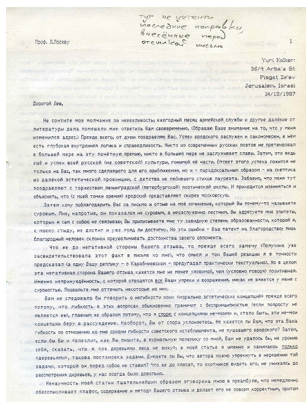
Ещё хуже обстоит дело с использованием таких понятий, как «модернизм» и «авангардизм». Уже то, что Колкер уверенно ставит между ними знак равенства дисквалифицирует его, на мой взгляд, как участника научной дискуссии о поэтике Бродского (равно как и Ахматовой, и Маяковского, и Ходасевича, и любого другого художника, работавшего в период модернизма, ок. 1860 – ок.1940 г.г.).

Наконец, обязательным в корректной научной полемике является учёт всего накопленного знания о дискутируемом предмете, тогда как Колкер, в духе полемики риторической (журналистской, проповеднической, застольной) игнорирует широко доступные сведения и мнения о поэзии Бродского. Например, солидная часть его статьи отведена разбору двух важнейших для раннего Бродского вещей, «Исаака и Авраама» и «Большой элегии Джону Донну». Колкер обсуждает их, даже не упоминая их жанра, непосредственно связанного с западно-европейским барокко (вероятно, впервые после Державина так смело введенного в русскую поэзию Бродским). Оставляет он без внимания и другую жанрообразующую традицию, освоенную в русской поэзии впервые Бродским — традицию англо-американского модернизма (см. пред. абзац). А ведь без учёта уникальных жанровых особенностей этих и других вещей все наблюдения над словоупотреблением либо мало-, либо вовсе не-релевантны. Дело не в списывании грамматических небрежностей на «высокое косноязычие», а в требованиях жанра — отражать с максимальной точностью именно поток сознания, фиксация на процес-

Проф. Лосеву

Yuri Kolker
36/4 Arba'a St
Pisgat-Ze'ev
Jerusalem, Israel
24/12/1987

Дорогой Лев,



Не сочтите мое молчание за невежливость: ежегодный месяц армейской службы и другие далекие от литературы дела помешали мне ответить Вам своевременно. (Обращаю Ваше внимание на то, что у меня изменился адрес.)

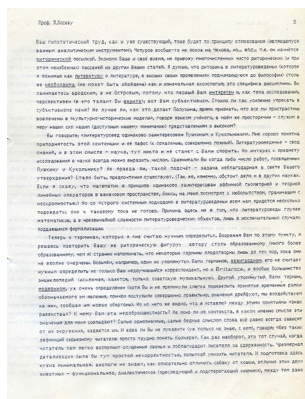
Прежде всего, от души поздравляю Вас. Успех Бродского [присуждение ему нобелевской премии] заслужен и закономерен, в нем есть глубокая внутренняя логика и справедливость.

Никто из современных русских поэтов не претендовал в большей мере на эту почетную премию, никто в большей мере не заслуживает славы. Затем, это ведь еще и успех всей русской (не советской) культуры, гонимой ее чести. Отсвет этого успеха ложится не только на Вас, так много сделавшего для его приближения, но и — парадоксальным образом — на скептика из далекой эстетической провинции, с детства не любившего стихов лауреата. Забавно, что меня тут поздравляют с торжеством ленинградской (петербургской) поэтической школы. И приходится извиняться и объяснять, что (с моей точки зрения) Бродский представляет скорее московскую.

Затем хочу поблагодарить Вас за письмо и отзыв на мое сочинение, который Вы почему-то называете суровым. Мне, напротив, он показался не суровым, а незаслуженно лестным. Вы адресуете мне эпитеты, которых я сам с собою не связываю; Вы приписываете мне ту завидную степень образован-

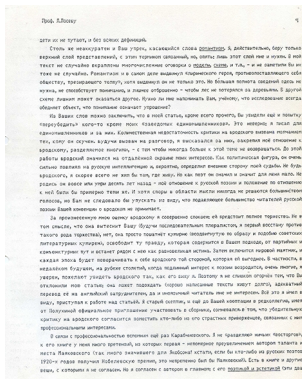
Ненаучность моей статьи тщательнейшим образом оговорена мною в преамбуле, что немедленно обесмысливает «пафос, содержание и метод» Вашего отзыва и делает его не совсем корректным, притом сразу в обоих смыслах этого слова, этическом и интеллектуальном. Более того, эта ненаучность — факт совершенно априорный, и Ваше удивление ему выглядит не совсем естественным. Полухиной, заказавшей мне эту статью, как и Вам, было заранее известно, что я — не ученый, во всяком случае, в близком Вам смысле этого слова. Меня и не просили выступить как ученого. В письмах получив представление о моем отношении к Бродскому (здесь мне важно подчеркнуть, что даже в письмах я не искал случая это отношение сформулировать; я лишь отвечал моему корреспонденту по долгу вежливости), Полухина просила меня «высказаться о Бродском обстоятельнее» в специальной статье, сопроводив эту просьбу официальным приглашением участвовать в сборнике. Я не сразу решился принять это приглашение. Прежде моим правилом было демонстрировать строй моих мыслей на примерах позитивных, с этим строем согласующихся, поэтому сам я никогда бы писать о Бродском не стал. Но тут была просьба, и просьбе я, после некоторого колебания, уступил.

Но сама по себе ненаучность статьи — сомнительное препятствие для включения ее в литературоведческий сборник. Я говорю это не потому, что, подобно многим, сомневаюсь, вправе ли мы называть литературоведенье наукой в обычном смысле этого слова, без нескольких специальных оговорок, — нет, я просто опираюсь тут на Ваш авторитет. В *Вашем* сборнике *Поэтика Бродского* (1986) — 6 из 15 статей (т.е. 40%) могут быть, осторожно говоря, заподозрены в той же самой ненаучности, что и моя. По меньшей мере две из



них ненаучны наверное. Но мне в качестве аргумента, который Вы не сможете отвести, хватит и одной. Возьмем, например, статью Кривулина (Коломирова), тоже скептическую: научнее ли она, чем моя? Едва ли. Но, быть может, в новый сборник, предназначенный для западного, более подготовленного читателя, войдут уже только научные статьи? Я слышал, что статьи заказаны Горбаневской, Морич, Савицкому, Копейкину (всех их Вы остроумно проводите под наименованием «и др.» в том месте Вашего отзыва, где говорится, что моя статья окажется «белой вороной» в академическом окружении) — получены ли от них статьи более научные, чем моя? И отклоните ли Вы по признаку ненаучности статью панагирическую?

Признаюсь, мне неловко было читать в Вашем отзыве, что «литературоведческая работа не может быть оценочной». Ваши собственные статьи (как, впрочем, и все другие мною читанные литературоведческие работы), говорят о чем-то противоположном. Оценкой начинается вообще любое исследование: оценивается перспективность объекта. Литературовед же (в отличие, скажем, от физика) просто не может обойтись без оценки, созданной до него критикой; по ней он *a priori* знает, что является, а что не является литературой. Почему, например, нет ни одного исследования об Афанасии Эвдокимовиче Анаевском, творце смелых неологизмов типа «зердутовых крыл» и, как-никак, первом русском авангардисте? Потому что его сочинения не сочли литературой. Анаевскому не повезло: он был старшим современником Пушкина. Родись он на сто лет позже, он бы по праву пополнил плеяду Хлебникова или Введенского. Но литературоведенье не только изначально оценочно. Как показывают многочисленные примеры, в дополнение к этому литературовед еще и хочет (и



может как следует) исследовать только то, что любит. То, что он не любит, ему скучно. Вы, например, не написали работы о чеховском лиризме у Анатолия Чепурова [намёк на статью Лосева: *Чеховский лиризм у Бродского*. Поэтика Бродского. Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 185-197], хотя — уверяю Вас — такой труд возможен и вовсе не бесполезен, и потребует он *еще больше* остроумия, блеска, изобретательности, знания родной культуры и чело- века вообще, чем Вы проявили в Вашей замечательной статье о чеховском лиризме у Бродского. Однако метод, к которому Вы должны будете прибегнуть, окажется, говоря Вашими сло- вами, «субъективным, риторическим». Организован этот Ваш гипотетический труд, как и уже существующий, тоже будет по принципу отмежевания (являющемуся важным аналитическим инструментом): Чепуров вообще-то непохож на Чехова, но... etc.; то есть он начнется *риторической* посылкой. Экономя Ваше и свое время, не привожу многочисленных чисто рито- рических (и при этом необходимых) пассажей из других Ва- ших статей. Я думаю, что риторика в литературоведении (ко- торое я понимаю как *литературу* о литературе, в высших своих проявлениях поднимающуюся до философии) столь же *необходима* (не может быть обойдена) как и изначальная ак- сиология; это специфика дисциплины. Вы занимаетесь Брод- ским, а не Островым, потому что первый Вам интересен и, как тема исследования, перспективен (в его талант Вы вери- те): вот Вам субъективизм. Стоило ли так усиленно упрекать в субъективизме меня? Не лучше ли, как это делает Полухи- на, прямо признать, что все мы пристрастны: вовлечены в «культурно-исторические модели», говоря языком ученого, в моем же просторечии — служим в меру наших сил доступ- ным нашему пониманию представлениям о высоком?

Вы говорите: «литературовед одинаково заинтересован Пушкиным и Кукольников». Мне хорошо понятна приподня- тость этой сентенции и ее пафос (к сожалению, совершенно ложный). Литературоведение — свод знаний, и в этом смысле — наука, тут никто и не станет с Вами спорить. Но интерес к

предмету исследования всегда можно выразить числом. Сравнивали Вы когда либо число работ, посвященных Пушкину и Кукольникову? Не правда ли, такой подсчет — задача неблагодарная в свете Вашего утверждения? Стало быть, предпочтения существуют. (Так же, конечно, обстоит дело и в других науках. Если я скажу, что математик в принципе одинаково заинтересован аффинной геометрией и теорией линейных операторов в банаховом пространстве, боюсь, на меня посмотрят с любопытством, граничащим с нескромностью.) Но со «строго системным подходом» в литературоведении всем нам придется несколько подождать: оно к такому пока не готово. Причина здесь не в том, что литературоведы глупее математиков, а в чрезвычайной сложности литературоведческих объектов, лишь в исключительных случаях поддающихся формализации.

Теперь о терминах, которые я «не считаю нужным определять». Возражая Вам по этому пункту, я решаюсь повторить Вашу же риторическую фигуру: автору столь образованному (много более образованному, чем я) странно напоминать, что некоторые термины плодотворны лишь до тех пор, пока они не вполне очерчены. Возьмем, например, один из упомянутых Вами терминов, *авангардизм*: его не считает нужным определить не только Ваш недоучившийся корреспондент, но и Britannica, и вообще большинство энциклопедий (исключая, кажется, только советскую музыкальную). Другой упомянутый Вами термин, *модернизм*, уж очень определен (хотя Вы и не преминули слегка пошевелить принятые временные рамки обозначаемого им явления, причем поступили совершенно правильно: значения дрейфуют, мы воздействуем на них, сообщая им новые обертоны). Но из чего же видно, что я «ставлю» между этими понятиями «знак равенства»? К чему Вам эта недобросовестность? Не ясно ли из контекста, в каком именно смысле эти значения для меня совпадают? Самые однозначные, самые бедные смыслом слова все равно всегда зависят от их окружения, задаются им. И едва ли Вы не лукавите (уж только не знаю, с кем), говоря: «без та-

ляемое многими, — с тем, чтобы никогда больше к этой теме не возвращаться. До этой работы Бродский значился на отдаленной окраине моих интересов. Как политическая фигура, он очень сильно повлиял на русскую интеллигенцию и, вероятно, определил внешнюю сторону моей судьбы. Не будь Бродского, я скорее всего не жил бы там, где живу. Но как поэт он значил и значит для меня мало. Не родился он вовсе или умри десять лет назад — мое отношение к русской поэзии и положение по отношению к ней были бы примерно теми же. И хотя споры в области мысли никогда не решаются большинством голосов, но Вам не следовало бы упускать из виду, что подавляющее большинство читателей русской поэзии Вашей конвенции о Бродском не принимает.

За произнесенную мною оценку Бродскому я совершенно спокоен: ей предстоит полное торжество. Не в том смысле, что она вытеснит Вашу (будучи последовательным плюралистом, я первый восстану против такого рода торжества), нет, она просто пошатнет кумирню (воздвигнутую по образу и подобию советских литературных кумирен), освободит ту правду, которая содержится в Вашем подходе, от партийных и конъюнктурных пут и встанет рядом с нею как равновеликая истина. Затем включится мировой маятник, и каждая эпоха будет поворачивать к себе Бродского той стороной, которая ей выгоднее. В частности, в недалеком будущем, на рубеже столетий, когда подлинный интерес к поэзии возродится, очень многие, я уверен, пожелают увидеть Бродского так, как его вижу я. Поэтому я не слишком огорчен тем, что Вы отклонили мою статью: она может подождать (хорошо написанные тексты живут долго), адекватный перевод ее на английский затруднителен, да и иноязычный читатель мне не интересен. Все это я имел в виду, приступая к работе над статьей. Я старый скептик, и еще до Вашей кооптации в редколлегию, имея от Полухиной официальное приглашение участвовать в сборнике, сомневался в том, что убедительную критику на Бродского согласится поместить кто-либо из его страстных приверженцев, связанных с ним профессиональными интересами.

В связи с профессиональностью
вспомним еще раз Карабчиевского.
Я не «разделяю» ничьих «восторгов»,
к его книге у меня много претензий,
из которых первая — непомерное
преувеличение автором таланта
и места Маяковского (так много
значившего для Jakobsona; кстати,
если бы кто-либо из русских поэтов
1920-х годов получил нобелевскую
премию, это непременно был бы
Маяковский). Есть в книге и другие вещи,
с которыми я не согласен. Но я согласен
с автором в главном: с его *поэтикой* и
эстетикой (эти два слова Вы остроумно
берёте в кавычки, говоря о позиции
Костиной [Татьяна Костина. «Дивьясь
жестоковывной». К 50-летию Александра
Кушнера, *Русская мысль*, № 3640,
26 сентября 1986; Лосев не знал, что я —
соавтор этой статьи], Максимовой [О.
Максимова. *Страна и мир* № 7, 1986.]
и моей), которая у Карабчиевского
простирается, как и должно быть у поэта,
в этику и философию; я согласен
(в целом) с его отношением к
русскому языку, которому он
старается вернуть утраченное (не
без помощи второго из Ваших
нобелевских лауреатов, Солженицына)
достоинство; согласен с его оценкой
Хлебникова. Карабчиевский на-
правлен к человеку, а не от него
(как Бродский): это уже очень
много. Что же до его дилетантизма,
то, как Вы догадываетесь, для
меня это похвала. Поэт, писатель
(а в России — и философ) —
всегда дилетант. Дилетант отличает
от профессионала одушевление,
бескорыстие, благородный авантюризм,
готовность брать на себя ответственность
за многое, наконец, часто и самая
его неудачливость; профессионала
от дилетанта — его принадлежность
к истеблишменту и склонность к
существованию на дивиденды.
Подумайте: ведь этого много
успевает в профессионализме
Федину. Поэтому дилетантскую
книжку Карабчиевского будут,
пожалуй, читать и обсуждать и тогда,
когда имя Ефима Эткинда будет

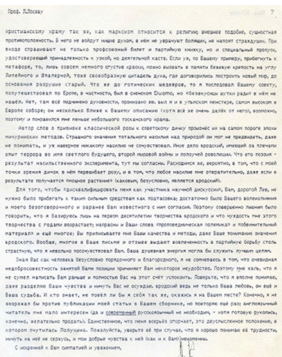
вспоминаться с усилием. И уж не обижайтесь, но мне трудно было сдерживать улыбку, когда я увидел, что Вы, «сурово» упрекнув меня в дилетантизме, тут же удивляетесь моим симпатиям к другому дилетанту.

Вы пишете: «обязательным в корректной научной полемике является учет всего накопленного знания о дискутируемом предмете, тогда как Колкер...», etc. Позвольте спросить Вас, знакома ли Вам такая форма критики, как умолчание (равносильное непризнанию), и всерьез ли Вы полагаете, что в работе, ограниченной пространством и временем, можно учесть «все накопленное знание» о каком бы то ни было предмете? Допустим (сверх всякого ожидания), что на второй вопрос Вы ответили положительно. Я скажу Вам, что из соприкосновения с науками менее спекулятивными, чем литературоведенье, я вынес другую этику: сформулировав задачу, привлекать лишь тот материал, который необходим и достаточен для ее решения, если же имеются несколько путей решения, то из этого множества выбирать простейший и наиболее аскетический. Ученость не сводится к бряцанию эрудицией. Простые мысли (а научная мысль всегда проста) лучше всего выражаются простыми словами. Поэтому я сомневаюсь, что, отметив зависимость Бродского от западноевропейского барокко («смело», однако же «после Державина введенного...») и от англо-американского модернизма, я пролью свет на художественный смысл встречающихся у него скабрёзностей. Едва ли мог бы служить этому и «провозглашенный Элиотом принцип objective correlative», о котором, к нашей обоюдной радости, до Вашего письма я не слышал. Это ведь тоже одна из привилегий дилетанта: он может позволить себе выборочно овладевать «знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» [слова Лосева «учет всего накопленного знания» напомнили мне ходульное нравоучение советской поры «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» (Ленин)]. Малейшее прикосновение к Элиоту всегда вызывало во мне чувство, которое, щадя Ваше почте-

ние к этому имени, я осторожно назову оттапливанием.

В Вашем письме, приложенном к отзыву, Вы пишете нечто в высшей степени знаменательное: «реальный Бродский, как я его знаю (не лично, это другое дело, а именно как писателя), неизмеримо *мудрее* того талантливого, но вздорного и безответственного позера, который изображен у Вас...». Боюсь, что *дело* здесь не *другое*, а как раз это, и перед потомками Бродский представит таким, каким Вы его здесь обрисовали. Мне легко поверить, что Бродский в жизни мудрее, чем в стихах, и я рад слышать, что это так. В стихах же его есть очень многое (в том числе и прекрасное), но мудрости им не хватает; ее условно меньше, чем вздорности. Мне, некоторым образом, посчастливилось: я никогда не видел и не слышал Бродского, поэтому мой эксперимент чист: я — *уже потомок*. И я не сомневаюсь, что аберрация, которой подвержены Вы, Полухина, Эткинд и еще многие, а точнее — немногие, но влиятельные в литературных кругах люди, есть результат колоссального личного обаяния Бродского, качества, сделавшего его не только литературным эпонимом, но и политической эмблемой эпохи. Мне всегда казалось и по сей день кажется, что главная часть гигантского дарования Бродского покойся в области нелитературной.

«Пристрастность, предвзятость, застылость какая-то видится в Вашем подходе...» — Дорогой Лев, зачем Вы даете мне такой повод для внутреннего торжества? Пристрастность и предвзятость мы только что обсудили, но *застылость* — ведь это же аргумент из разряда *сам дурак*. Вы увидели из моей статьи, что *средо* Бродского (а значит, и Ваше) кажется мне вчерашним днем, что оно слишком привязано ко времени, к 1960-м, где и по сей день «тикают» его стихи, что нравственно-эстетическая работа 1970-х и 1980-х, выведшая нас в



эпоху постмодернизма, новая простота, новая гармоническая точность, — все это не далось ему, и это (а не эмиграция, как твердит «общий глас») вредит его поэзии. Вы могли догадаться, что негативная привязанность Бродского к советской власти, к системе, которую поэту пора бы уже не замечать, кажется мне чрезмерной до забавного. Конечно, мы все — продукт тоталитаризма, когда-нибудь по этому признаку нас и объединят. Но в следующем (за вами) поколении многим кажется застылостью, *позитивной* привязанностью к советской власти три вещи: ваша (Ваша, Бродского и других) приверженность к соприродному ей авангарду; ваша потребность господствовать в сегодняшней литературе посредством внешних регалий, владеть ею на правах нового литературного генералитета; и ваша нетерпимость к инакомыслию. Вы непроизвольно переносите в свободный мир худшие из советских моделей.

О Вашей неумеренной привязанности к прошлому стоит сказать отдельно. Вы засвидетельствовали ее уже в самой первой фразе введения к Вашему сборнику 1986-го года. Вы пишете: «Иосиф Бродский занимает исключительное положение — первого поэта в стране, где к поэзии относятся как к самому значительному искусству» [*Бродский: От мифа к поэту*. Поэтика Бродского. Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 7-14]. Оба содержащиеся тут утверждения не просто неверны: они карикатурны. Сознаете ли Вы, что в этой Вашей сентенции Вы одновременно подражаете Ленину и Сталину? Подобно первому, Вы провозгласили важнейшее из наших искусств, подобно второму — талантливейшего поэта. Но смешны они еще и потому, что Вы в них представляете этаким школьным учителем литературы, не только уверяющим, но и верящим, что Чернышевский был вершителем судеб России. Между тем Россия не Исландия, и не только Бродский, но и поэзия, за пределами школьных учебников, не занимает в ней никакого места. О тамошнем месте Бродского даст представление тот *факт*, что читателей у него несоизмеримо меньше, чем у (неудачно) высмеянного

им Андрея Вознесенского; о месте поэзии как искусства — то, что в народном сознании поэт либо шут во князьях, на правительственном довольствии (Евтушенко, Вознесенский), либо отщепенец, продавший западным спецслужбам (Галич). Ваши слова не выглядели бы столь смешно, если бы Вы уточнили, о какой «стране» (аудитории) идет речь, если бы Вы сказали: «Россия — это я и кругок близких мне людей». Это такое заявление Вы делаете право как поэт. Как исследователь, учитывающего «все накопленное знание о дискутируемом предмете», Вас, вероятно, заинтересует, что думают о дискутируемом предмете в России. А думают так по-разному, например, так: «Крупные эпохи культуры часто проходят под знаком одного определяющего рода искусства. XX век, особенно вторая его половина, — время музыки. Почему рок определил развитие культуры последних двадцати пяти лет — тема другого разговора...» (*Страна и мир* 4(40), 1987, с. 120). Что «определил» — сомнений для автора тут нет. По своему построению и даже интонационно это авторитетное свидетельство в точности совпадает с Вашим.

Ваше уподобление Бродского «готическим шедеврам» Европы, хоть и заимствованное у Вас еще одним нобелевским лауреатом, третьим в моем сегодняшнем письме, тоже крайне неудачно, — если только вы имели в виду соборы. За деревьями Вы не разглядели леса. Поэзия Бродского — сооружение, относящееся к христианскому храму так же, как марксизм относится к религии: внешнее подобие, сущностная противоположность. В него не войдут нищие духом, в нем не утешают болящих, не напоят страждущих. При входе спрашивают не только профсоюзный билет и партийную книжку, но и специальный пропуск, удостоверяющий принадлежность к узкой, но деятельной касте. Если уж, по Вашему примеру,

прибегнуть к метафоре, то, лишь совсем немного сгустив краски, можно вызвать в памяти бежевую крепость [«Литейный, бежевая крепость, подъезд четвертый, КГБ» (Бродский)] на углу Литейного и Шпалерной, тоже своеобразную цитадель духа, где договорились построить новый мир, до основания разрушив старый. Что же до готических шедевров, то я последовал Вашему совету, попутешествовал по Европе, в частности, был в сиенском Duomo, но «безвкусицы шутки ради» в нем не нашёл. Нет, там всё подчинено духовности, пронизано ею. Был я и в ульмском мюнстере, самом высоком в Европе; он несколько ближе к Вашему описанию (хотя всё же очень далёк от него), возможно поэтому и понравился мне меньше небольшого тосканского храма.

Автор слов о прививке классической розы к советскому дичку [Ходасевич; эти его слова цитирует Лосев] произнес их на самом пороге эпохи мичуринских методов. Страшного значения тотального насилия над природой Ходасевич мог не предвидеть, даже не понимать, и уж наверное никакому насилию не сочувствовал. Иное дело Бродский, имеющий за плечами опыт террора во имя светлого будущего, второй мировой войны и ползучей революции. Что его поэзия — результат насильственного эксперимента, тут мы согласны. Расходимся же, вероятно, в том, что с моей точки зрения дичок в нём перешибает розу, и в том, что любое насилие мне отвратительно, даже если в результате получается «мощное растение» (каковым, безусловно, является Бродский).

Для того, чтобы «дисквалифицировать меня как участника научной дискуссии», Вам, дорогой Лев, не нужно было прибегать к таким сильным средствам как подтасовка: достаточно было Вашего волеизлияния и моего безоговорочного и заранее Вам известного с ним согласия. Поэтому совершенно лишним было говорить, что я базируюсь лишь на первом десятилетии творчества Бродского и что чуждость мне этого творчества с годами возрастает; напрасны и Ваши слова «проповедническая полемика» и «обвинительный материал» и еще многое: Вы приписываете мне Ваши качества и мето-

ды, даже Ваше понимание значения Бродского. Вообще, многое в Вашем письме и отзыве выдает вовлеченность в партийную борьбу столь страстную, что я невольно посочувствовал Вам. Ваша душевная энергия могла бы служить лучшим целям.

Зная Вас как человека безусловно порядочного и благородного, я не сомневаюсь в том, что очевидная недобросовестность занятой Вами позиции [по отношению ко мне; Лосев отклоняет мою статью о Бродском, формально заказанную мне Полухиной] причиняет Вам некоторое неудобство. Поэтому мне жаль, что я не сумел написать Вам раньше и полностью Вас на этот счет успокоить. Поверьте, что я вполне понимаю, даже разделяю Ваши чувства и ничуть Вас не осуждаю. Бродский ведь не только Ваша любовь, он еще и Ваша судьба. И кто знает, не повел ли бы я себя так же, окажись я на Вашем месте? Конечно, я не возражал бы против публикации моей статьи в Вашем сборнике, но повторяю еще раз: англоязычный читатель мне мало интересен (да и современный *русскоязычный* не необходим), — хотя готовую рукопись, конечно, желательно продать. Единственное, что меня всерьез огорчает, это двусмысленное положение, в котором очутилась Полухина. Пожалуйста, уверьте ее при случае, что я хорошо понимаю ее трудности, ничуть на нее не сержусь, и мои добрые чувства к ней (как и к Вам) неизменны. С искренней к Вам симпатией и уважением,

Юрий Колкер

P. S. 4/01/1988

Я перечитал Ваше предыдущее письмо ко мне (от 18.11.86) и вижу, что на некоторые реплики Вы могли ждать ответа.

Я целиком согласен с Вашей оценкой Кублановского. К ней хочу добавить лишь, что как поэт он еще более выиграл бы, не пиши он вовсе никакой прозы. Затем, было бы хорошо, если бы он чуть меньше выставлял напоказ свое православие, что выглядит нарочитостью при столь откровенно еврейской фамилии. Но мой кандидат — не Кублановский, а Кенжеев. Я

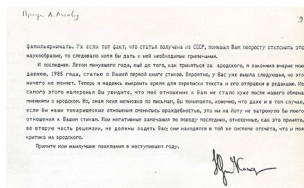
давно к нему приглядываюсь. В Москве он несколько зависел от Сопровского, в Америке стал поначалу подражать Цветкову, но за всем этим чувствовалась мощь. Теперь же он, я думаю, дописался до своего. По-моему, последняя подборка Кенжеева в *Континенте* ставит его в совершенно исключительное положение среди поэтов, живущих за рубежом.

Вы отсылаете меня к Вашему предисловию *От мифа — к поэту* [Поэтика Бродского. Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 7-14]. Что ж, вот два слова о нём. И в стихотворении [Кушнера] *В кафе*, и в стихотворении [Кушнера] «Он встал в ленинградской квартире...» Вы, мне кажется, проглядели главное: Бродский в них — лишь повод, а тема — отталкивание от Бродского, неприятие его *поэтики* и *эстетики*. Обе вещи — лирические эпиграммы. Но еще более, чем против Бродского, они направлены против Вас и Ваших единомышленников: против фетишизации новизны и смелости как самодовлеющих качеств поэзии. Кушнер знает, что сущностная новизна является раз в тысячелетие, а суетной новизны можно приобиться и в кинематографе, почему и не стоит отягощать ею поэзию. Он мог бы повторить вслед за Линником: основополагающих идей — пять или шесть, всё остальное — приложения. Что же до заимствования — то оно тут шекспировское: сюжет Гамлета ведь тоже не Шекспиром изобретен, он им только прославлен. (Кстати, Толстой, при том как раз той самой поры, откуда Вы извлекли его остроумную выдержку, Шекспира на дух не переносил и считал по-

средственностью; этот общеизвестный факт сообщает своеобразный и тоже прозрачный смысл Вашему цитированию.)

Есть в упомянутых стихах Кушнера, конечно, и кукиш, показанный властям, но это уже вовсе десятое дело. Но шестикрылый серафим — не Бродский. Вы это понимаете, поэтому и не утверждаете прямо, но исподволь подводите читателя к этой мысли, давая тем самым мастерский образец бездоказательной риторики.

Вообще, в сборнике много неудач. Обидно, что как редактор Вы пропустили удивительные несуразности в первой (анонимной) статье [(Аноним) Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Эрмитаж, 1986, стр. 16-37]. Возьмем, например, математику: дважды два в степени пять равно 64, а не 1/16 (в источнике перепутаны знаки, что Вам уж можно было бы заметить и исправить); хуже, что автор получает вероятность 1/16 там, где она фактически равна 1/486, причем ошибается и как математик (должен был, исходя из *его* посылок, получить 1/32, а не 1/16), и как филолог (не замечает, что предложный падеж тоже может дать здесь рифму к дательному и творительному); еще хуже, что вероятность в 1/16 он считает малой, хотя здесь и вероятность 1/486 не достаточно мала: речь ведь идет о стихотворном (самом организованном) тексте, да еще большого поэта! — какие уж тут случайности? Вся эта арифметика нацелена в пустоту, на доказательство очевидного. Но самое отвратительное — упоминание теоремы Гёделя для подтверждения расхожей банальности. Эта теорема — одно из величайших достижений мысли за всю историю человечества, она определила лицо современности (кризис рационализма) в большей мере, чем теория относительности. С такими результатами нельзя фамильярничать. Уж если тот факт, что статья получена из СССР, помешал Вам отклонить это жалкое наукообразие, то следовало хотя бы дать к ней необходимые примечания.



И последнее. Летом минувшего года, еще до того, как приняться за Бродского, я закончил вчерне мою давнюю, 1985 года, статью о Вашей первой книге стихов [сохранился только незаконченный вариант]. Вероятно, у Вас уже вышла следующая, но это ничего не меняет. Теперь я надеюсь выкроить время для переписки текста и его отправки в редакцию. Из самого этого намерения Вы увидите, что мое отношение к Вам не стало хуже после нашего обмена мнениями о Бродском. Но, зная меня немножко по письмам, Вы понимаете, конечно, что даже и в том случае, если бы наши товарищеские отношения сменились враждебностью, это ни на йоту не затронуло бы моего отношения к Вашим стихам. Мои негативные замечания по поводу последних, отнесенные, как это принято, во вторую часть рецензии, не должны задеть Вас: они находятся в той же системе отсчета, что и моя критика на Бродского.

Примите мои наилучшие пожелания в наступающем году.

Юрий Колкер

На этом наша с Лосевым переписка и наши отношения обрываются. Что до моей статьи *Лев Лосев и поколение негативистов*, то она так и не была вполне закончена и опубликована — в первую очередь потому, что появилась уже следующая книга стихов Лосева и на подходе была третья, которую он по недосмотру назвал *Послесловием*, повторив название моей книги стихов 1985 года.

НЕ О РОССИИ

Ходасевич утверждает своё право «любить и проклинать» Россию, — я же, как мне приходилось слышать, будто бы только проклинаю её. Это неправда. Презираю и проклинаю я не Россию, а страну, возникшую на месте России. С Россией подлинной, давно уже отошедшей в историю, мои узы не порваны. Некогда они были жаркими, сыновними. Сохранилось письмо, свидетельствующее об этом. Оно вообще не о России написано; о ней там сказано мимоходом, но — важное. И для меня, и для моего адресата — как нечто само собою разумеющееся — содержанием жизни, иначе родиной, была тогда русская просодия, русская поэзия, а через это посредство — и Россия.

Ходасевич, вернусь к нему на минуту, любил Россию Пушкина и её историческую проекцию в будущее, Россию надежды. В отличие от Ходасевича я дожил до времён вполне безнадежных, когда приходится по совести сказать, что России больше нет. Россию 1922 года нельзя было не проклинать, Московию XXI века, отвернувшуюся от Пушкина, следовало бы ненавидеть, если б её можно было признать Россией.

Письмо, которое привожу, начато мною 5 ноября, а закончено 17 декабря 1986 года и отправлено из Иерусалима в Ленинград. Оно адресовано поэтессе Е. И., с которой меня связывала литературная дружба, скреплённая моей верой в талант Е. И. и некоторой общностью судеб: оторванностью от гутенбергова пресса, литературным полуподпольем, участием в самиздате. Бездарная советская власть, отнимавшая у человека самый воздух, сплотила очень разных людей. Мы оба, Е. И. и я, были патриотами, жили верой в возрождение России после большевизма, но Е. И. понимала патриотизм через православие, что в годы репрессий не казалось мне бедой, а после наступления свобод нас развело и поссорило. К началу нового тысячелетия я с оторопью увидел, что Бог и отечество для Е. И. — синонимы. Человек умный, образованный и талантливый, Е. И. не понимала, что это тождество есть прямое отрицание христианства, худшая форма язычества.

Последней каплей стал наш спор о второй мировой войне. Здесь патриотизм Е. И. выступил в форме иммунитета к истине. Оказалось, что правду о зверствах Красной армии в Европе в 1944-1945 годах, фактах хорошо документированных, обсуждать нельзя, потому что она, Е. И., —

«дочь фронтовика», и «победа» для неё — «святое». Когда я заикнулся о необходимости доискиваться исторической правды, Е. И. возразила мне совсем уже неожиданно: спросила, как я могу говорить о зверствах «наших солдат», будучи «всё-таки наполовину русским». Тут, задолго до захвата Крыма и украинской войны, я понял: если лучшие из «русских» в моём поколении таковы, то России — конец.

Год 2014-й, когда оккупацию Крыма поддержали восемьдесят с лишним процентов «россиян», подвёл черту нашему с Е. И. спору. Последние надежды рассеялись. Знак равенства между Богом и отечеством оказался пропиленными русского нацизма.

Слышу вопрос: причём здесь Пушкин? разве он не был империалистом? На это отвечаю словами Толстого, которого без Пушкина не случилось бы: вчера было стыдно выезжать иначе как шестёркой цугом, а сегодня стыдно, когда служанка за тобою горшок выносит. Времена меняются, и мы меняемся с ними. Без Пушкина не было бы ни Толстого, ни Ходасевича, которые и есть Россия... Но их нет для сегодняшних «русских». Толстого московиты опять отлучили от церкви. Школьники не понимают стиха «В багрец и золото одетые леса». Я сам, уже в новом тысячелетии, своими ушами слышал от молодого человека из Петербурга, не головореза, не вора, не купца, не программиста или слесаря, а от преуспевающего адвоката, по роду своих занятий, казалось бы, не чуждого слову, что Пушкин — вдохните глубже — ...«поэт салонный».

Но что такое Россия без Пушкина? Об этом уже сказано: «Вычтем из России Пушкина, получим Малюту Скуратова...» Сказано с надеждой, когда ещё не верилось, что Малюта — уже тут, за углом.

Письмо, повторяю сказанное, не о России, а обо мне, о моей жизни.

5/11/86

Как видишь, и я, дорогая, не умею отвечать сразу. И то, что вспоминаю тебя часто, скорее мешает, чем помогает писать. Обыкновенно отвечать тебе мысленно начинаю в самых неподходящих обстоятельствах: в автобусе (где вокруг меня тараторят на пяти языках, включая русский); по дороге в университет, поднимаясь в гору через ботанический сад со всякой экзотической зеленью (а из-под ног, из камней — ибо тут всюду скалы — выскакивают ящерицы, которых я уже начи-

наю различать по видам, и на столб, ничуть меня не боясь, опускается большая хищная птица); словом, там, где не только писать, но и закрепить промелькнувшую мысль или настроение — трудно. Вдобавок я еще медлителен, и далеко не обладаю твоим экспромпентальным даром...

Прежде всего спасибо за стихи и фотографии. Они у меня не залежатся [я рассылал по журналам стихи Е. И. и других знакомых; их фотографические портреты иногда требовались для публикаций]. (Знает ли Сопр. [московский поэт Александр Сопровский, 1953-1990], что я напечатал его стихи [в парижском журнале *Континент*]? Почему он мне не пишет?) О *Круге* [сборнике ленинградского Клуба-81] ты

[illegible]

знаешь: я похвалил тебя и [молодого ленинградского поэта Валерия] Слуцкого, поругал Кривулина и Куприянова. Надеюсь, что моя статья [в парижской газете *Русская мысль*] до тебя дойдёт. Очень интересен твой рассказ [в письме Е. И ко мне] о посещении «какого-то клуба какой-то пятилетки»; я вижу, что слово *самодетельный* прочно увязывается с *Клубом-81*, я сам слышал нечто подобное той реплике, которую ты приводишь, — и упомянул об этом в моей парижской ста-

ть. Если бы при этом хоть помнили об этимологии этого слова! Тогда бы, собственно говоря, оно означало: нонконформист. А так — лишь ирония и пренебрежение. Теперь о Ходасевиче. Митя [Дмитрий Волчек; он не совсем добросовестно распорядился собранными мною архивными материалами о Ходасевиче, которые я оставил ему в 1984 году, уезжая в эмиграцию] — Бог ему судья! — пусть говорит, что хочет, но Ходасевича издавать ему не дадут [на самом деле дали]: этим хочет заняться... Вознесенский! Что-то где-то уже объявлено. Забавно ты описала реакцию наших общих друзей на моё вступление в СП [Союз писателей Израиля], — но я-то писал об этом событии лишь потому, что оказался в компании М. Хейфеца и А. Воронеля [я был принят в союз писателей на одном заседании с ними, 19 ноября 1985 года], которые в стране давно и, как видишь, со вступлением не спешили, а имя Хейфеца (это видно из давнего твоего письма) не пустой звук для тебя. Мои отношения с тутошними литераторами — натянутые. Так было и в Ленинграде, с вашими тамошними, — исключая только тебя (и только в последние годы). Тут большинство пишущих по-русски считает себя еврейскими писателями, но не смешно, а правдоподобно это — лишь в одном или двух случаях. Я был очень удивлен, увидев, что такое возможно, — увидел же на примере прозы Эли Люксембурга и Феликса Розинера (в основном, первого). Ты упоминаешь О. Чухонцева: у нас с Таней ещё в России было впечатление, что этот самостоятельный и хороший поэт в чём-то важном зависит от Кушнера: воспроизводит выработанную Кушнером нравственную позицию и точно перелагает его стихи с малопонятного языка на более доступный. (Таня упомянула об этом в её статье на 50-летие Кушнера, которая произвела некоторое движение среди читателей. [Татьяна Костина. «Дивясь красе жестоковыйной...». Парижская газета *Русская мысль*, № 3640, 26 сентября 1986; статья написана в соавторстве со мною]).

Что касается Битова, то он — лучший русский прозаик современности, здесь я тебя очень понимаю. Велик, на мой

взгляд, был и покойный Трифонов. Прозы А. Кима я не читал. Понимаю и одобряю (хотя тебе, конечно, никакого одобрения не надо) твои мысли о правильности сделанного тобою выбора: остаться на родине. Будь я на твоём месте, я бы тоже остался. Но и мой выбор — правильный. Современная Россия, не только верхняя, но и нижняя, не захотела увидеть во мне русского (каковым я себя считал всю первую половину жизни), ей оказался не нужен ни мой патриотизм, ни мои стихи, ни мой заряд созидательного позитивизма, готовность участвовать в «малых делах», «довольствоваться малым». Я же не захотел навязываться. И гордость, и здравый смысл, и желание работать, а не разглагольствовать — всё побуждало меня к отъезду, о котором я ни разу не пожалел. (Сейчас странно вспоминать, как там, в Ленинграде, сжималось сердце — при мысли: как будет сжиматься сердце здесь. Но ничего подобного не происходит, ни тени ностальгии нет не только у меня, но и у Тани, — и едва ли от нашей бесчувственности. Нельзя приобретать, не теряя; и нельзя не терять.) Моя Россия со мною, и другой мне не нужно. На идеальную, домысливаемую Россию — у меня столько же прав, сколько у Солоухина или Солженицына. От имени этой России я говорю, ради неё живу и пишу. Реальная же Россия нужна мне ровно настолько, насколько я нужен ей. В эмигрантской печати, по временам, обсуждается вопрос, кто и на каких условиях готов вернуться в Россию. Представлен весь спектр мнений. Есть люди, готовые вернуться хоть сейчас, на любых условиях. (Недавно мы читали про одну семью, вернувшуюся из Америки; она *вернулась назад*, в Америку, ровно через 8 дней.) Я — на другом полюсе: я не вернусь ни на каких условиях. Точнее: готов вернуться на тех условиях, на каких в СССР сейчас возвращается Набоков. Это — говоря реалистически, ибо парламентаризма в России не увидят, я уверен, и наши внуки. Говоря же отвлеченно, можно вообразить (но лишь вообразить!) ситуацию, при которой я согласился бы вернуться в эту страну. Россия не всегда будет империей, не всегда будет первостепенной державой. Вообрази на минуту,

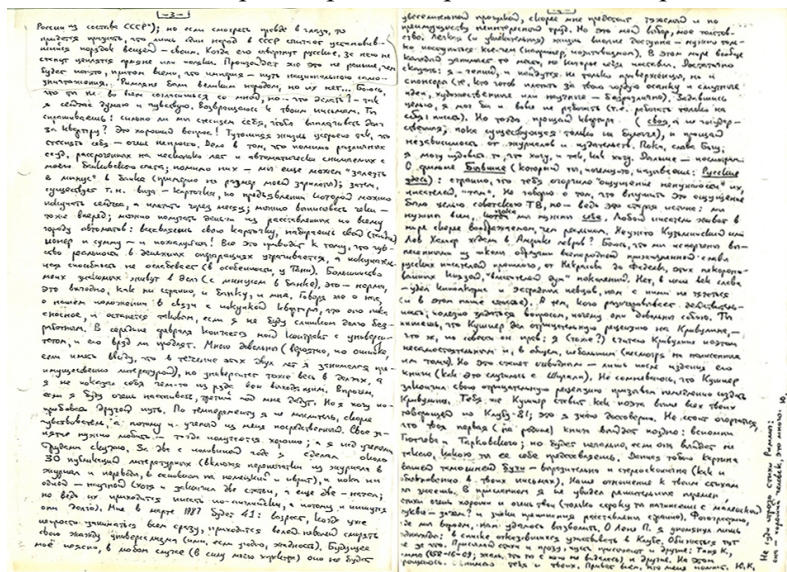
что она не просто отдала все колонии, включая Украину и Сибирь, но оказалась в окружении воинственных и циничных соседей, провозглашающих своей целью уничтожение России как государства и русских как народа [то есть я мысленно ставлю будущую Россию в условия, в которых находился и находится Израиль]. Если этой России потребуются руки и сердца всех изгнанников (независимо от того, как звучат для русского уха их фамилии), то в эту Россию я вернусь и, если потребуется, погибну, защищая её границы и культуру. Я с теми, кому хуже. Конечно, евреи сохранятся как народ и за пределами Израиля, а русским угрожает национальное вырождение в самой России (это и дает Зиновьеву основание утверждать, что самый угнетенный из подсоветских народов — русский; на этом же построен не очень добросовестный эвфемизм: вопрос «о выходе России из состава СССР»); но если смотреть правде в глаза, то придётся признать, что лишь один народ в СССР считает установившийся порядок вещей [имперский большевизм, советский строй] своим. Когда его отвергнут русские, за него не станут цепляться армяне или поляки. Произойдёт же это не раньше, чем будет понято, притом всеми, что империя — путь национального самоуничтожения. Римляне были великим народом, но их нет... Боюсь, что ты не во всем согласишься со мной, но — что делать? — так я сейчас думаю и чувствую.

Возвращаюсь к твоим письмам. Ты спрашиваешь: сильно ли мы стесняем себя, чтобы выплачивать долг за квартиру [купленную на ипотечную ссуду, но еще не построенную; мы живём и до конца 1987 года будем жить в центре абсорбции]? Это хороший вопрос! Тутошняя жизнь устроена так, что стеснять себя — очень непросто. Дело в том, что помимо различных ссуд, рассроченных на несколько лет и автоматически снимаемых с нашего банковского счета; помимо них — мы ещё можем «залезть в минус» в банке (примерно на размер моей зарплаты); затем, существует так называемая виза — карточка, по предъявлении которой можно покупать сейчас, а платить через месяц; можно выписывать чеки — тоже

вперёд; можно получать деньги из расставленных по всему городу автоматов: вставляешь свою карточку, набираешь свой (тайный) номер и сумму — и пожалуйста! Всё это приводит к тому, что чувство реальности в денежных операциях утрачивается, а покупательная способность не ослабевает (особенно у Тани). Большинство моих знакомых живут в долг (с минусом в банке), это — норма, это выгодно, как ни странно, и банку, и мне. Если же говорить о нас, о нашем положении в связи с покупкой квартиры, то оно пока сносное, и останется таковым, если я не буду слишком долго безработным. В середине февраля кончается мой контракт с университетом, и его вряд ли продлят. Мною довольны (вероятно, по ошибке, если иметь в виду, что в течение этих двух лет я занимался преимущественно литературой), но университет тоже весь в долгах, а я не показал себя чем-то из ряда вон выходящим. Впрочем, если я буду очень настаивать, третий год мне дадут. Но я хочу попробовать другой путь. По темпераменту я не мыслитель, скорее чувствитель, а потому и ученый из меня посредственный. Своё занятие нужно любить — тогда получается хорошо; а я над учёными трудами скучаю. За два с половиной года я сделал около 30 публикаций литературных (включая перепечатки из журнала в журнал и переводы, в основном на немецкий и иврит), и пока ни одной — научной (хотя и закончил две статьи, а ещё две начал; но ведь их приходится писать по-английски, а потому и пишутся они долго). Мне в марте 1987 будет 41: возраст, когда уже не просто заниматься всем сразу, приходится волей-неволей смирять свою жажду универсализма (или, если угодно, жадность). Будущее моё неясно, в любом случае (в силу моего характера) оно не будет увеселительной прогулкой, скорее мне предстоит тяжёлый и по преимуществу неинтересный труд. Но это мой выбор, моё толстовство. Лёгкая и увлекательная жизнь вполне доступна — нужно только поступиться кое-чем (например, позитивизмом). В этом мире вообще каждый занимает то место, на которое себя поставил. Достаточно сказать: я — гений, и найдутся не только приверженцы, но и

спонсоры (т. е. те, кто готов платить за твою гордую осанку и смутные идеи, художественные или научные — безразлично). Задавшись целью, я мог бы и вовсе не работать (т. е. работать только на себя, писать). Но тогда прощай квартира (своя, а не государственная, пока существующая только на бумаге), и прощай независимость от журналов и издательств. Пока, слава Богу, я могу издавать то, что хочу, и так, как хочу. Дальше — посмотрим...

О фильме *Бывшие* (который ты почему-то называешь *Русские здесь*): странно, что тебя огорчило «ощущение ненужности» их, писателей, «там». Не говорю о том, что внушить это ощущение было целью советского ТВ, но — ведь это старая истина: мы нужны всем, пока мы нужны себе. Любой писатель живёт в мире скорее воображаемом, чем реальном.



Неужто Кузьминский или Лев Халиф ждали в Америке лавров? Боюсь, что мы испорчены вынесенными из школы образцами всенародной прижизненной славы русских писателей прошлого, от Некрасова до Фадеева, этих некоронованных князей, «властителей дум» поколений. Нет, в наш век слава — удел киноактрис и эстрадных певцов, нам с ними не

тягаться (и в этом наше счастье). А тем, кого разочаровывает действительность, полезно заняться вопросом, почему они довольны собою. Ты пишешь, что Кушнер дал отрицательную рецензию на Кривулина, — что ж, по совести он прав; я тоже считаю Кривулина поэтом несамостоятельным и, в общем, небольшим (несмотря на написанные им тома). Но это станет очевидным — лишь после издания его книги (как это случилось с Ширали). Не сомневаюсь, что Кушнер закончил свою отрицательную рецензию призывом немедленно издать Кривулина. Тебя же Кушнер ставит как поэта выше всех твоих товарищей по *Клубу-81*; это я знаю достоверно. Не стоит огорчаться, что твоя первая (на родине) книга выйдет поздно: вспомни Тютчева и [Арсения] Тарковского; но будет печально, если она выйдет не такою, какою ты её себе представляешь. Данная тобою картина вашей тамошней бучи — выразительна и стереоскопична (как и обыкновенно в твоих письмах). Наше отношение к твоим стихам ты знаешь. В присланном тобою я не увидел решительных перемен, стихи очень хороши и очень твои (только строчку ты начинаешь с маленькой буквы — зачем? и знаки препинания расставляешь странно). Фотографию, где мы втроём, нам удалось вызвать. О Лене П. [Пудовкиной] я упомянул лишь однажды: в списке отказавшихся участвовать в *Клубе* [в действительности у Пудовкиной были неприятности из-за другого упоминания, о котором я забыл, потому что не брал его в счёт: в предисловии к моей тоненькой стихотворной книжке *Антивенок* (1985); мне не шло в голову, что эта книжка — совершеннейший самиздат мизерным тиражом — могла вызывать в Ленинграде хоть какое-то движение]. Обижаться тут не на что. Присылай стихи и прозу, пусть присылают и другие: Тая К. [ленинградская поэтесса Татьяна Котович], Римма (158-16-09; жаль, что ты с нею не виделась) [Запесоцкая] и другие. На этом прощаюсь. Обнимаю тебя и твоих. Привет всем, кто меня помнит. [сбоку приписка:] Не суди строго стихи Риммы: она — хороший человек, это много. Ю. К.

В УНИВЕРСИТЕТЕ И В АРМИИ

В молодости, если человек внезапно видит, что жизнь начинает удаваться; если он счастлив от предчувствия большой удачи, им (такое случается) овладевает потребность не «творить добро» — эти слова слишком высокопарны — а в меру сил бескорыстно служить ближним и дальним, помогать нуждающимся, поддерживать тех, кому нужна поддержка. Готовность сносить обиды в спокойном сознании своей правоты — того же происхождения. Эти толстовские настрояния владели мною долгие годы, и мне, смею думать, долгое время неплохо удавалось придерживаться их в жизни. Я старался быть добрым. Мне казалось, что я люблю людей. Возможно, счастье делало меня добрее, чем я был от природы.

Я впервые сознательно отступаю от этого моего псевдо-толстовства по отношению к ленинградской поэтессе Р. З., от которой я зла не видел, видел только добро, хоть и сам в долгу не оставался. Дружба наша держалась на сходных культурных представлениях, на любви к строгой и стройной поэзии, на мечте о возрождении России. Прошли годы, и — этого стало не доставать для дружбы. Жизнь изменилась, мы оказались в разных странах, общего становилось всё меньше, наши интересы и взгляды всё больше расходились, возникло и копилось раздражение друг на друга, легко преодолеваемое при душевной близости, а без этой близости взрывоопасное. Мешала мне и религиозность Р. З., её московское православие. Наконец, я понял, что не вижу в себе сил продолжать эту исчерпавшую себя дружбу, с моей стороны уже неискреннюю, ничего мне больше не приносящую, — и впервые (с тех самых пор, как почувствовал себя отчасти толстовцем) нанёс прямую обиду человеку без всякой на то причины: помучавшись, сказал себе: «всем не угодишь», и повернулся к Р. З. спиной. В этом смысле Р. З. стала вехой в моей жизни. Потом я без нужды обижал и других — и теперь весь в шрамах от подобного рода хирургии над собою.

О том, как много значила для меня дружба Р. З. (в ту пору, когда я был добр), свидетельствует вот это дневниковое и исповедальное письмо 1987 года (из Иерусалима в Ленинград), в котором я с трудом себя узнаю.

[illegible]

273 -

с нашей общей подружкой [т. е. о ЛЕА, машинописным Ленинградским еврейским альманахом, начатом при участие Бейзера, Фрумкина и моём; к намёку пришлось прибегнуть потому, что письмо было послано открытой почтой, а письма в Совдепии перлюстрировались] всё должно уладиться: Гильберт виделся с нею и обещает подробно без пропусков рассказать мне о каждой встрече. [британский историк Martin Gilbert помогал издавать по-английски материалы, написанные Бейзером для ЛЕА (экскурсии по еврейским местам Петербурга); моей корреспондентке я сообщаю, что он получил посланные ему с оказией материалы и наблюдает за их подготовкой к печати]. Оба его адреса я знаю, конечно. Беда лишь в том, что он не всегда спешит с выполнением своих обещаний, — Миша знает об этом лучше меня. Твои стихи [отправленные в редакцию мною] вышли в 50-м К-те [парижском журнале *Континент*], это: *Прибалтийский мотив, Мой город, В переплетении над Временем, Постигжение, Бездомный дух, Безумной жизни цепкие химеры, В день рождения Предтечи, Быть может, два крыла, Моя единственная тема*, — все от слова до слова, что я им послал. Биографическую справку о тебе тоже написал я, так, что она точна: я не указал только год рождения. При выборе стихотворений я исходил не только из литературных соображений, но брал в расчет и конъюнктурные. Увы, отбор — та же редакция. Что делать! привыкай к этому. Вполне свободна ты только в творчестве, а при выходе к читателю всегда чем-нибудь да связана. Утешение в том, что будут еще публикации. Надеюсь, что вскоре твои стихи появятся в американском *Стрельце* [журнал *Стрелец* (Джерси-Сити–Париж), №10, 1987, подборка нескольких ленинградских поэтесса под названием *Островитянки* с моей вступительной статьёй], затем на очереди — Вестник РХД и 22 [то есть тель-авивский журнал *Двадцать два*; в первом, сколько помню, стихи Р. З. появились, во втором — нет]. В *Грани* [журнал издавался во Франкфурте-на-Майне] посылать не хочу — хотя они уже давно просят у меня материалов и приняли бы с благодар-

ностью всё, что мне вздумается: сейчас они на мели. С моей подачи они, конечно, и книжку бы твою издали — но теперь иметь с ними дело и нехорошо, и небезопасно (для вас): они прямо объявили себя партийным изданием. Впрочем, чорт их разберет. Подумай сама, и всем желающим передай, что *Грани* (как, впрочем, и К-т [*Континент*], и *Стрелец*) через меня открыты. Посоветуйся с Митей: [Дмитрий Волчек, литератор, выпускавший в Ленинграде машинописный журнал *Молчание* (потом — *Митин журнал*); впоследствии сотрудник радиостанции *Свобода*. Волчек не совсем добросовестно распорядился собранными мною в Ленинграде материалами по Ходасевичу, которые при эмиграции я ему оставил], он хоть и мальчишка, но всегда в курсе всех новостей, которые ты взвесишь и оценишь сама. Кстати, получил я от него окольным путем большое письмо с им найденными неизданными стихами Ходасевича; стихи эти я отправил тут же в парижский альманах *Минувшее* №3, с коротким комментарием указав, конечно, имя их открывателя [то есть Волчека; стихи Ходасевича появились в *Стрельце* (№10, 1987)]. Передай ему все это ([телефон Волчека] 553-64-00) и проси писать мне. Я ответил ему, и прямо, и непрямо. Да, вот еще: он бы меня обязал до конца дней, если бы взял на себя труд перечитать с карандашом мою старую работу о Ходасевиче *Айдесскую прохладу* и выписать все замечания и дополнения: рано или поздно я ведь буду ее переиздавать, а он нашел много нового и сильно продвинулся. По-прежнему ли ты сторонись литературной публики? Если будет время и желание, свяжись в Москве с молодым автором Витей Санчуком (М-ва 117071, Ленинский просп. 13 кв. 9). Он тоже просит меня опубликовать его там же, но оказия от него не пришла, а письма доходят беспрепятственно: пусть шлет в письмах. Я писал ему из Флоренции — получил ли он? У него в приятелях — Саша Сопровский [1953-1990], поэт и критик, один из лучших в нашем поколении; я его уже печатал в К-те [в парижском журнале *Континент*]. Не знаю, как тебе придутся эти знакомства: все это пьянь, хотя, кажется, и не совсем рвань; словом:

богема. Но Мите они были бы интересны. Что с [ленинградской поэтессой] Таней Котович? Ее стихи и ее судьба меня очень интересуют [я был знаком с нею с 1961 года, всегда любил ее стихи, никогда с нею не дружил, навсегда потерял ее из виду во второй половине 1970-х; в эмиграции напечатал ее стихи в *Континенте*]. Постарайся найти ее (164-41-60, Воронежская ул. 11 — ? кв. не помню, — уточни в справочном: она Николаевна 1947 г. р. — и сообщи мне при случае). Еще просьба: позвони, пожалуйста, [ленинградской поэтессе] Лене Игнатовой (266-05-10), скажи, что ее стихи пойдут, вероятно, в 52-м номере [*Континента*], и пусть пишет. Всё перечисленное — не срочно, и вообще — по желанию и по возможности, хотя и желательно: я всё надеюсь вытащить тебя из кельи. С Леной тебе будет интересно. Кстати, она пишет, что звонила тебе, но не застала дома. Помню, Р., обо всех твоих тяготах и болезнях — но вдруг развлечешься всем этим, и полегчает хоть ненадолго? Что ты ушла из котельной — правильно, я рад за тебя, но мои планы это несколько нарушает: я как раз хотел просить тебя описывать мне понемножку котельный быт, жаргон с этими жуткими аббревиатурами, оборудование, инструкции и т. п.: я грежу котельной прозой, а детали уже стали забываться. Поверишь ли? я с удовольствием вспоминаю свои котельные — на Адмиралтейской 6, где была написана *Айдесская прохлада* [очерк жизни и творчества Владислава Ходасевича, вошедший в подготовленный мною парижский двухтомник: Владислав Ходасевич. Собрание стихов в двух томах. (Составление,) редакция и примечания Юрия Колкера. *La Presse Libre*, Paris, 1982-83] и Уткину Дачу на Охте, где закончил двухтомник [Ходасевича] и ещё много чего написал и сделал. Мне в котельных было хорошо — а Тане, как и тебе, плохо. Знакома ли ты с моим коллегой по Адм. 6, поэтом Володей Хананом? (295-63-61) Мы когда-то дружили, но с момента нашего отъезда он не дал о себе знать ни разу. Передай ему привет от нас — если захочется. Что у Саши Кобака? С ним мы расстались почти врагами (помню, как он грозно пожелал мне всего хорошего

на прощанье [то есть перед эмиграцией; в ту пору люди уезжали навсегда]), потому и приветов не передаю, но новости из его окружения меня очень занимают. Пусть Митя [Волчек] подробно напишет мне о Клубе [Клуб-81], он ведь теперь там членствует.

Пишу тебе, можно сказать, из армии: непобедимая к легендарная [ЦАХАЛЬ, Армия обороны Израиля, где я проходил *тиронут* (курсы молодого бойца) с 8 февраля по 6 марта 1987 года] отпустила меня на выходной домой; еще же мне там быть неделю. Это под Хайфой. Природа сказочная: тысячелетние оливы; Кармель, вздымающийся над нашей базой (похожий на Крымские горы в районе Ай-Петри), в горах — шакалы, воющие по ночам: а мы в том направлении стреляем по два раза в сутки, днем (утром) и ночью: стрельбища упираются в горы; под оливами — зайцы, в оливах — совы, не говоря уже о птицах более заурядных; а на запад, в километре или около того, — необъятная водная пустыня, откуда некогда пришли сюда филистимляне, эллины и римляне: она все та же. Живем в палатках, учимся по 14 часов в день: стрельба, тушение пожаров, спасательные механизмы, лестницы, носилки, канаты, тренировочные башни, вязание узлов, оказание первой медицинской помощи: словом гражданская оборона. Кормят три раза в день, скромно (не как в 1970-х), но более чем достаточно, всегда можно попросить и получить добавку, в обед мясо или рыба с тремя видами гарнира, суп довольно примитивный, на третье — апельсины или бананы [в ту пору в России бананы были дефицитом и роскошью], по штуке, но тоже с добавкой, если хочешь; много зелени, куда я включаю и помидоры... и т. п..



В нашем отделении — уроженцы Эфиопии (черные, как сковородка), Англии, Аргентины, Марокко, Грузии и даже один местный: молодой рав из Хеврона: 34 года, семеро детей.

Иврита мне немножко недостает, но стреляю я лучше всех. Мешают несколько боли в спине, они вообще выдвигаются теперь на первое место в числе моих проблем, ибо мешают даже сидеть, но я делаю на занятиях то, что мне по силам, принуждения нет и в помине. Отношения товарищеские, без гадостей, командиры терпеливы и дружелюбны, дисциплины в привычном для нас понимании совсем нет, начальство одето точно так же, как мы, и ест вместе с нами. На днях зашел к нам в класс начальник военного округа (каковых в стране три) и представился: — Шалом, меня зовут Моти... Что тут скажешь? Генералу 35 лет, он знаменитый стратег, большой авторитет — т. е. талант, здесь это одно и то же, — в своей области. Как и вне армии, здесь все зовут друг друга по имени, я просто не знаю фамилий своих товарищей...

Тебя, конечно, интересует наша зарубежная поездка [13-31 января 1987 года]. Провели мы около недели, но в два приема, в Мюнхене, у [прозаика] Файбусовича, известного под псевдонимом Борис Хазанов. Он один из редакторов либерально-демократического политического (стало быть, не литературного) журнала *Страна и Мир*, где я иногда печатаюсь. Хазанову под 60. Человек он расчетливый и хитроватый, но в смысле ума и эрудиции — из числа самых редких в наши дни (он — давний друг и оппонент [Г. С.] Померанца), что же касается его прозы и эссеистики, то они выше всяких похвал, я всерьез считаю его лучшим стилистом современности. Значение его сознают немногие. Это немудрено: никто друг друга не читает; все разбиты на партии и идеологизированы до последней крайности, но всех или многих — чего греха таить — объединяют языческая любовь к России (к камням и деревьям) да сдерживаемая неприязнь к евреям. Немногие, кто этому не подвержены, обречены на одиночество — как Хазанов и я. В Мюнхене было очень холодно, от -6 до -20 (не улыбайся, пожалуйста, мы от такого отвыкли) и снег, которого Таня не видела три года. Из Мюнхена мы поехали во Фрайбург (юго-запад Германии), к моему коллеге и старшему товарищу (ещё по Ленинграду) [Леониду] Фук-

шанскому, с которым я всё пытаюсь установить научные и денежные контакты: денежные, потому что, как это ни дико для нас, но в принципе я могу получить деньги на мою научную работу в Израиле — из Германии. Впрочем, пока что ничего не выходит из этого. Фукшанскому и его жене — под пятьдесят. Это занятная пара. Он еврей, она русская — и не только по крови: она русская идеологически, и весьма правого толка. Вообрази, во время одного из наших долгих разговоров «обо всем и не о чем» она прямым текстом сказала: — Встречаясь с чехами или поляками, я испытываю стыд перед ними за то, что я русская, но будь я еврейка, я то же чувство испытывала бы перед русскими. — Т. е. Россию погубили жида. Это партия Солженицына. Классик стоит у них на полке в аккуратном энтээсовском исполнении [то есть изданный Народно-трудовым союзом (НТС)], и даже читается. Хозяйку зовут Нина, хозяина — Лёня. Она математик, он — физик, точнее: биофизик, один из самых знаменитых специалистов в своей области, человек феноменальной одаренности. Кажется, он не вполне разделяет взгляды своей жены, но видно, что и он излишней любви к нашей стране [то есть к Израилю] не питает. Во Фрайбурге мы провели всего два дня, у самого подножья знаменитого Шварцвальда. Природа там удивительно хороша. Помнишь у Гауфа: «Жил человек в Шварцвальде...»? Хорош и Фрайбург, небольшой университетский город, не пострадавший в войну. Забыл упомянуть: по дороге из Мюнхена во Фрайбург мы высаживались в Ульме и заглянули в тамошний собор, самый высокий в Европе. Ехали, понятно поездом, — тоже забытое развлечение: в Израиле железной дороги фактически нет. Т. е. она есть, но ею никто не пользуется; иногда возят школьников на экскурсии. Возможно, между Тель-Авивом и Хайфой она составляет какую-то конкуренцию автобусной компании Эгед, но в Иерусалиме вокзал весь в паутине, и я, например, дважды в день пересекая [переезжая на автобусе] ж.-д. ветку, ни разу за все это время не видел на ней поезда. Так вот, в Мюнхене мы взяли ж.-д. билеты во Флоренцию и назад, причем туда — через

Фрайбург и Швейцарию, а назад — через Австрию. Мюнхен — столица Баварии, а Фрайбург — в Баден-Вюртемберге. Эти два города — самые притягательные для немцев: опрос показал, что большинство хочет жить в Мюнхене (почему его и называют скрытой столицей Германии), а на втором месте Фрайбург. Немецкие земли, поименованные выше, отличаются одна от другой и природой, и архитектурой. Наблюдая из поезда баварские пейзажи, русский с удивлением обнаруживает, что эта земля усыпана церквами с луковками, правда всегда однокупольными. В Баден-Вюртемберге они пропадают. От Фукшанских мы уезжали ночью. Места у нас были спальные, мы отдали итальянцу-проводнику паспорта и билеты и не просыпаясь пересекли две границы. Утром мы обнаружили, что Северная Италия тоже вся в снегу, правда, тающим. Зато в Тоскане началась весна. Мы туда попали, проехав целую серию длинных туннелей. Признаюсь, я не сознавал прежде, что эта дивная страна так тщательно отгорожена со всех сторон горами. Или только с севера? Во Флоренции начались проблемы с жильем: его нужно было искать, а итальянцы по-английски понимают плохо или совсем не понимают. Гостиниц, конечно, сколько хочешь, но мы не могли найти подешевле. Тут есть своя символика: самые дешевые помечаются одной (пятиконечной) звездочкой, самые дорогие — пятью (потом, в Венеции, мы обнаружили локанды и альберго и вовсе без звездочек). Одна звезда обыкновенно означает, что это пансион, где за небольшую приплату получаешь и завтрак. У нас был адрес такого пансиона и карта, мы явились туда — и обнаружили, что он преобразован в отель с двумя звездами и что цены соответствующим образом возросли. Разочарование было так сильно, что я даже начал торговаться — и выторговал большую поблажку; но и с поблажкой это оказалось 32 доллара в сутки, т. е. ровно в 4 раза дороже, чем платили наши рекомендатели (правда, за пять лет до нас). Что делать, жизнь дорожает. Там мы провели три дня, а потом съехали в совсем уже дешевые номера, живо напомнившие нам известную тебе коммуналку на [ули-

це] Воинова [теперь Шпалерная]. При этом мы выиграли десятку — но уж дешевле не было ничего. Но все это мелочи. Едва бросив вещи, мы кинулись в город, ибо были голодны (в первой же забегаловке нас обсчитали; таков уж там стиль; в Германии такого в принципе не бывает), а затем — в Уффици. В этот город и в эту галерею я ехал [мечтал попасть] более двадцати лет, с тех пор как прочел *Образы Италии* П. Муратова или с еще более ранней поры, с 15 лет. Увы, когда чего-либо очень долго ждешь, впечатления меркнут, да и годы, когда явственно чувствуешь на себе перст Господень, прошли. Но все же, когда мы вышли на площадь Синьории, волосы у меня зашевелились: здесь началась современная Европа, эпоха гуманизма, — а завершилась она там, у вас (мысль, которую я через день или два облек в стихотворную форму [«Тот, кто Арно с Невою сравнил»]). Девять дней мы работали как проклятые: утром музеи; возвращение с заходом на рынок, еда в номере, сон (ибо уставали страшно), вечером церкви и прогулки по городу и вдоль Арно. Собор Санта-Мария дель-Фьоре строился шесть веков: его начал Джотто, а кончили в прошлом веке. Кажется, в этом деле и не нужно спешить: лишь тогда и получается храм. Почти ежедневно мы слушали там орган, были в баптистерии, где крестили Данта, но на брунеллескин купол и на кампаниллу (колокольню) не лазали. Все соборные ансамбли в Италии (которые мы видели) содержат баптистерий как отдельное здание: с него начинали строительство. В Пизе он даже прекраснее, чем сам храм. Обыкновенно и кампанилла стоит отдельно (именно ее во Флоренции выстроил Джотто); но в Сиене (куда Таня не поехала по нездоровью) она составляет с собором одно целое. Увы, в Уффициях нас ожидала обида: больше всего мы мечтали о Боттичелли, и вот представь: две из трех величайших картин, *Благовещение* и *Рождение Венеры* (!), оказались в реставрации. Но мы видели *Примаверу*. Танька, натурально, едва сдерживала слезы, я же, обыкновенно так болезненно реагирующий на всякие помехи, на несколько мгновений потерял слух. Второй раз за эти три года я почув-

ствовал, что если бы даже всё, решительно всё не удалось у меня по эту сторону границы, то все равно отъезд оправдан. Первый раз это было в декабре 1985, когда я летел над Эгейским морем, а подо мной — золото в лазури — как на ладони лежали Спорады и Киклады, точно чеканка тончайшей работы, и я говорил себе: вот Родос, вот Самос, вот Лесбос. Впрочем, Таня, кажется, писала тебе о нашей поездке, и я повторяюсь. Да и не передать всего. В Пизе я очень трусил, когда мы залезли на башню: галереи не огорожены; был ослепительно солнечный день...

[illegible][illegible][illegible]

[продолжение того же письма] 16.03.87... и трудности с сортиром: он почему-то был закрыт. Сортиры, кстати, почти всюду платные: «Если хочется в сортир, приготовьте триста лир» (т. е. 20 коп). Заканчиваю [это письмо] уже после армии и на сорок втором году жизни. Телеграмму [которой Р. З. поздравляла меня с днём рождения] принесли вовремя, спасибо большое, привет и спасибо Наташе, Рае и Сене. (Получили наташино письмо, полное надежд, оно шло всего 11 дней.)

Перечитываю еще раз твои письма от 25.12.86 и 6.02.87.

Прежде всего спасибо за цифры по кукурузе, они уже в работе [я состоял в Еврейском университете и пытался продолжить свои учёные труды по математическому описанию онтогенеза биологических сообществ]. ... В декабрьском письме ты поздравляешь Лизу с бар-мицвой в 13 лет — решаю тебя поправить: здесь у девочек отмечают бат-мицву в 12. Телефон Лёни Э. [поэта Леопольда Эпштейна, который тогда жил в Новочеркасске, а в конце 1987 года окажется в Бостоне] я нашел, позвонил ему, но не застал дома: говорил с сыном. Ни о лекарстве [для жены Эпштейна, Лизы Кваши; она болела раком; умерла в Бостоне], ни об издательских делах, т.е. вообще ни о чем, он мне не пишет. С Аликом [еврейским активистом, узником Сиона Роальдом Зеличонком, как раз вернувшимся из советского заключения] я говорил. Насчет таниной статьи об А. К. [об Александре Кушнере; Статья: Татьяна Костина. «Дивясь красе жестоковыйной...». К пятидесятилетию Александра Кушнера. *Русская мысль* (Париж) №3640, 26 сентября 1986, написана Таней в соавторстве со мною, но подписана только ее именем, потому что Кушнер просил меня за границей о нем не писать.]: конечно, нужно бы сообщить ему, добавив, что вышла она с досадными поправками [точнее, искажениями, сделанными в редакции *Русской мысли* Натальей Горбаневской, Кушнера не выносившей], но и в таком виде была замечена в Европе и здесь. Вообще, хорошо бы тебе с ним подружиться. Ему лучше звонить не прямо, а через его сына Женю, если контакт с ним еще не потерян, можно связаться с Хананом (см. выше). Ксерокопию твоих стихов [в *Континенте*] вышлю, а номер попробую послать через Митю [Волчека]. Пожалуйста, пиши, если найдешь силы, о ваших тамошних переменах, публикациях и народных движениях, а также народных откликах на них: это интересно не только нам. Твоя парадная фотография по-прежнему нужна [для последующих публикаций стихов Р. З.], потому что на достигнутом мы не остановимся [то есть я буду продолжать попытки публиковать стихи Р. З. в журналах и газетах]. О Мишином отказе знаем [Михаил Бей-

зер получил очередной отказ на прошение об эмиграции], и о забастовке [вероятно, о голодовке протеста Михаила Бейзера] тоже, я говорил о нем по радио [Коль-Израэль и (или) Свобода]. Да, ваши журналы в принципе тут доступны, но если бы ты прислала тот *Огонек* с Ходасевичем (и другие текущие диковинки, если только это тебе по средствам), я был бы очень обязан. Открыток с видами Л-да [Ленинграда] больше не просим. Чем кончился твой экзамен на оператора [газовой котельной; на истопника]? Я пока на прежнем месте [в лаборатории биофизики иерусалимского Еврейского университета], мне продлили договор на три месяца, т. е. до середины мая. Кажется, моя ученая статья будет принята в одном ученом журнале [Yuri Kolker. A piecewise-linear growth model: comparison with competing forms in batch culture. — *Journal of Mathematical Biology*, Vol. 25, No 5, November 1987, pp. 543-551], который много серьезнее журнала, мне отказавшего. Цифры по овощам [для моей математической модели роста сообщества растений] дадут мне возможность быстро написать еще одну: к ним подходят уже написанные мною программы. Еще три статьи — в стадии доведения. В ближайшее время должно решиться многое, а у меня на уме другое, начато полдюжины литературных работ, и мне от них не оторваться. Нет, стихи я тоже пишу и, наверно, не меньше (в количественном выражении), чем Лена П. [ленинградская поэтесса Елена Пудовкина] (ей и Славе [правозащитнику Вячеславу Долинину, мужу Пудовкиной; они поженились в 1983 году *уже после ареста Долинина, в тюрьме предварительного заключения*; в 1987 году Долинин был выпущен из лагеря по амнистии] привет). Но здесь [в Израиле] я жду новых звуков [в моих стихах], а в критике, которой увлечен до страсти, договариваю старые. Кстати, на меня тут восстал весь европейский истеблишмент за мою статью о мемуарах С. Липкина (*Страна и мир* 10, 1986). Сначала вякнул К. Любарский [редактор мюнхенского журнала *Страна и мир*], затем [Ефим] Эткинд [парижский, а до этого ленинградский литературовед] напечатал целую статью, несправедливую и

полную передергиваний. Любарскому Таня написала ответ (он будет в К-те), я же, по примеру Карамзина, никому никогда решил не возражать: я следую своей совести, мой мандат получен в самой высокой инстанции. Те же, кто напрягает гортань, выдают себя с головой. Тому, кто прав, нет нужды повышать голос. Публикация Эткинда только придала мне сил. Я вспомнил у Боратынского: «Спасибо злобе хлопотливой», и из Гитовича: «Где-то за пределами пустыни / Лают псы. А караван идет», — и не просто успокоился, а ощутил прилив совершенно небывалой свободы.

На этом прощаюсь, дорогая. Обнимаю тебя. Твой Ю. К.
